

Похождения Гофмана, следователя полиции, государственного советника, композитора, художника и писателя

Журнал "Самиздат": [\[Регистрация\]](#) [\[Найти\]](#) [\[Рейтинги\]](#) [\[Обсуждения\]](#) [\[Новинки\]](#) [\[Обзоры\]](#) [\[Помощь\]](#)

Реклама: [Конкурс 'Мир боевых искусств.Wuxia' Переводы на Amazon](#) [Конкурсы романов на Author.Today](#)

[Зимние Конкурсы на ПродаМан](#)

Реклама

LingvoAnalyse

- [Оставить комментарий](#)
- © Copyright [Ветчинов Константин Михайлович](#) (valentia56@hotmail.com)
- Размещен: 08/08/2011, изменен: 08/08/2011. 666k. [Статистика.](#)
- [Глава: Проза](#)
- [Иллюстрации/приложения: 1 шт.](#)

Ваша оценка:

Константин Ветчинов

Похождения Гофмана
следователя полиции, государственного советника, композитора, художника и писателя

Пушино-2009
УДК 882-32 ISBN 978-5-903789-15-3 ББК 84Р7

Ветчинов К.М. Похождения Гофмана - следователя полиции, государственного советника, композитора, художника и писателя. - Пушино, ООО 'Фотон-век', 2009, 288 с.

Эта иронично-феерическая книга представляет собой капитальное романтическое исследование жизни великого немецкого писателя Гофмана, полной приключениями и разнообразными занятиями.

Электронный адрес автора valentia56@hotmail.com

Издательство ООО 'Фотон-век' ИНН 5039008988
г. Пушино, Московская область Тел. (4967) 73-94-32
beornot@rambler.ru

Подписано в печать 2.11.2008.
Формат 60 x 90 / 16. Бумага офсетная.
Тираж 2000 экз. Заказ 5396.

Отпечатано в ОАО 'Можайский полиграфический комбинат'.
143200, г. Можайск, ул.Мира, 93.

Но ООО 'Фотон-век'
Но Ветчинов К.М., текст
Но Змеевская О.В., обложка

Глава первая
18 век

Открылась бездна, звезд полна.
Звездам числа нет, бездне дна.
Михаил Ломоносов

Век разума. Век крылатых белых парусов. Открывающихся далее. Век авторитета знания. Ясной мысли. В нем закладывались основы цивилизации.

Гофман принадлежал этому времени.

Он родился в Германии, изобретшей книгопечатанье, славной издательским делом, в год провозглашения независимости Североамериканских штатов, далеких заокеанских республик.

Европейские государства тогда представляли собой сословные абсолютистские монархии. В них привилегированным закрытым сословием была феодальная аристократия, наследовавшая политические права и земельную собственность, основу экономики.

Общество сохраняло феодальную форму, но его внутреннее содержание сильно изменилось. Государственный абсолютизм, и неразделимая с ним церковь в виде духовной полиции, не способны были задержать направление времени. Все более влияло просвещение, успехи естествознания, распространение грамотности, расширение книгопечатанья.

Науки получили признание, вытесняли невежество.

В отличие от средневековья, религиозная распушенность, иступления темной веры осуждались.

Нравы заметно смягчились. 18 столетие придерживалось разумной умеренности, скептического здравомыслия, в нем ценились изящество, вкус, логика, остроумие.

Средневековье стало историей даже в Испании, где нашли приют иезуиты, изгнанные отовсюду; даже в Испании было не средневековье, а позднее барокко.

Наиболее передовой страной была Англия. Здесь происходил промышленный переворот. Появились паровые машины – мельницы, молоты.

В Испании разложение феодальных форм приняло затяжной характер.

Но парадокс времени, ставшая оплотом католической реакции Испания явилась родиной классического романа Нового времени.

'Похождения славного Дон Кихота, идальго из Ламанчи' были гениальным художественным изобретением, прорывом в новые измерения реальности. Дон Мигель Сервантес де Сааведра проложил новые пути европейской прозе. Почти одновременно Дон Хуан вступил на романтическую сцену.

Хромой Бес из плутовского романа, выскочив из склянки, поскакал по черепичным крышам, чтобы показать ночной мир тайн и причудливостей человеческой природы, тысячу и одну ночь Европы.

Повсюду инерция сохраняла традиции. Но европеец изменился.

Транспорт примитивен, путешествия длительны, тяжелы и опасны. Но мир открыт пытливому уму и свободному непредвзятому взгляду.

Европеец не прикован к своему клочку земли, он может перебраться в город, наняться в солдаты, плыть за океан, получить хорошее образование в университете, писать книги, издавать газету, стать актером, композитором, журналистом, инженером, человеком свободной профессии: вне сословий, вне средневековых корпораций.

Стало общепризнанным: не одни заслуги предков, но и собственные способности, достижения дают право на положение в обществе, на признание, славу. Ренессанс выдвинул тому множество примеров. Эразм Роттердамский и Лютер были из мужицкого сословия. Король французский снимал шляпу перед великим Леонардо да Винчи, 'незаконнорожденным' крестьянином. Художники не приравнивались более к ремесленникам. Глюк и Гендель, создававшие божественную музыку, были властителями созвучий, повелителями особого, запредельного, неземного мира, они сами были как боги.

Но понять это способны были не грубые, неграмотные и немые разбойники в рыцарских доспехах, а благородные люди всех званий и сословий, наделенные вкусом и способностью суждений.

Печатный станок придал значимости и весомости литературному слову; множительные возможности печатной машины наделили мысль невиданным доселе влиянием. Смелые научные открытия, свободное литературное слово изменяли миропонимание.

Принципы естественного права доказывали серьезность и основательность доводов против наследственных привилегий. Набирала силу мысль о необходимости их отмены, разрушения сословных преград, равенства всех перед законом, честного соревнования способностей.

Логические элементы не соединились прочно в общественном мнении, не сплывались в четкую формулу внятного социального движения, своей монолитностью способную сокрушить старую государственную машину, однако исторический процесс неуклонно вел к тому результату, который определяется реальностью и внутренней логикой.

Особая роль в логической завершенности новой формы общества принадлежала Франции. В качестве великой военной державы страна доминировала на Европейском континенте, начиная с середины 17-го века. А ее мировое влияние распространялось гораздо далее военной сферы. Французский язык был международным, заменил латинский в сфере дипломатии и культурного общения, что знаменовало переход от средневековья к новому времени ранее всех политических переворотов.

Помимо моды и оружия побеждала французская мысль. Принципы здравого смысла и естественного права,

начатые в Англии, благодаря французскому складу ума приобрели теоретическую последовательность, логическую четкость, литературный блеск.

В аналитическом логическом строе французского языка рационализм нашел наиболее прочную опору. Мужественный стиль отточенной филигранной энергично выраженной мысли освобождал мышление в Европе скорее, чем общие рассуждения о пользе научных знаний и логики. Литература остроумия прокладывала дорогу математике и естествознанию.

Наука в этот исторический период достигла степени самосознания, самоопределения. Была сформулирована программа единства научного знания.

Единство науки необходимо было для фундаментального и систематического переустройства действительности на разумных началах.

В 18-м веке был сформулирован классический подход к этой задаче. Обществоведение и политика должны быть построены на принципах естествознания, поскольку человек, общество, история являются продолжением связей природы и вселенной. Сочинение Поля Гольбаха называлось 'Естественная политика'. Он был систематизатором политической мысли Просвещения и принципы природы и разума проводил наиболее глубоко и последовательно в применении к общественному управлению и политике.

Пожалуй, чтобы достигнуть подобной глубины понимания ключевых структурных проблем политики, современным теоретикам пришлось бы вернуться к тому состоянию абсолютной независимости и полной свободы в логическом исследовании, которая позволяет не бояться собственных выводов. Для чего нужно было бы писать книги так, как писали их политические писатели 18 века: без оглядки на позволение печатать то что пишется: на ограничения государства, условия рынка (кто хозяин издания), без скованности ложной вежливостью, когда стесняются высказаться по существу из опасения обидеть недомыслие и задеть авторитеты.

Логика и существо предмета. Более никаких авторитетов.

Выдающиеся умы века, в особенности такие, как Гольбах и Томас Джефферсон, додумывали мысли до конца, до самых непреложных выводов.

Но распространяясь, популяризируясь, теоретическая мысль испытывала упрощение.

Общепризнанным в просветительской политике было следующее. Достоинство человека должно определяться его способностями, опытным путем. Благородство, достоинства предков не должны автоматически создавать привилегированные права в виде наследования, человек должен проявить себя сам.

Из этого возникло широкое, но не вполне определенное стремление к свободе, направленное на разрушение феодальных сословных разграничений.

Какое общество получится, никто внятно не представлял.

Средневековый дух нашел свою опору в книге книг - Библии. Век разума и просвещения совершил грандиозное дело написания собственной Книги: 'Энциклопедия или Толковый словарь наук, искусств и ремесел', в нескольких десятках томов, которые издавались философом Дидро и математиком д'Аламбером в 1752 - 1780 годах. Свод знаний, который по количеству и по качеству намного превосходил схоластические 'Суммы'.

Из печати выходили последние тома 'Энциклопедии', а уже новым теориям и новейшему миропониманию находилось приложение в политике.

Началось за океаном, в Северной Америке, борьбой за независимость британских колоний. В 1776 году на континентальном конгрессе колоний было объявлено о создании конфедерации и выходе из подчинения британской короне.

'Декларация прав', написанная Джефферсоном, провозгласила республиканские принципы. Американские революционеры проводили смелую аналогию между новой республикой и республиканским величием Рима.

Предпосылкой событий было развитие политической свободы и гарантий прав личности в Англии.

Переселенцы в Америке были носителями того же британского духа свободы, пользовались теми же правами.

Повод для мятежа был незначительный. Сказалась значительная удаленность колоний. Чтобы пересечь океан на парусном бриге или шхуне нужно было не менее месяца.

Американцами управляли цивилизованно, а не с помощью насилия и принуждения, не как дикарями. И достаточно было появиться небольшому поводу для недовольства, как началось движение к формированию собственного государства, с патетическими возгласами о 'нестерпимой тирании'.

Дело шло о незначительных налогах и пошлинах. На Британских островах платили налоги больше, чем в Америке; здесь было вольнее, к чему привыкли как к должному, и не желали терпеть никаких, даже самых небольших притеснений; колонистам не было дела до сравнений.

Английский флот патрулировал восточное побережье. Контроль за контрабандной торговлей стал очень жестким, благодаря тому, что теперь таможенникам доставалась половина задержанной контрабанды.

Прежняя дружба таможенников с контрабандистами весьма омрачилась этим обстоятельством.

Лондон предписал местным властям разыскивать склады запрещенных товаров. И дал им право входить куда угодно, обыскивая любые помещения. Были задеты интересы многих.

Колониям запретили печатать собственные деньги. Платить за все надлежало звонкой монетой, серебром, которого здесь всегда не хватало.

Прошел слух о гербовом сборе - на юридические документы, печатную продукцию; даже на игральные карты. В Америке это вызвало большое раздражение.

Текст закона печатали с черепом вместо короны, колокола разносили погребальный звон, на виселицах раскачивались чучела королевских министров. В Массачусетсе разгромили дом губернатора.

Купцы сговаривались не покупать английских товаров.

В Англии забеспокоились и в 1766 году закон отменили.

Но вводились новые пошлины. Правительство потребовало, чтобы колонии оплачивали содержание королевских войск, которые защищают их от индейцев.

Бойкот товаров принял систематический характер.

И большинство налогов были отменены.

За исключением пошлины на чай, чисто символической, введенной в 1770 году. Но теперь уже дело шло о принципе.

Среди колонистов развернулась пропаганда против 'этой отравы, преподносимой Америке, этого вредного для здоровья чая'. Отношение к чаю стало пробой на патриотизм. На складах скопились огромные запасы чая. Ост-Индская компания оказалась на грани разорения. В 1773 году были доставлены крупные партии чая в Бостон, Нью-

Йорк, Чарлстон, Филадельфию. Сбыть их не удалось.

В Бостоне переодетые индейцами мятежники захватили груз на кораблях, выбросили в море 342 ящика 'вредного для здоровья чая'.

Славное деяние североамериканской свободы получило название Бостонского чаепития. Некто из Адамсов со всей возможной серьезностью и напыщенностью заметил, что событие 'отмечено печатью достоинства, возвышенности и величия' и, без всякого сомнения, знаменует собой 'новую эпоху во всемирной истории'.

Если позже французская революция из далека Америки казалась нереальной, то хулиганство и маскарад и подавно не открывали нового времени. 'Парламент имеет не больше права запустить руку в мой карман, чем я в его', вот и все, как заметил Вашингтон.

Постепенно конфронтация втягивала стороны в войну. Была создана континентальная наемная армия. Генерал Вашингтон партизанские действия против англичан пресекал. Среди американских поселенцев было много противников независимости; хуже всего была бы гражданская война.

Даже вооруженное сопротивление английскому правительству должно было происходить в цивилизованных пределах. Это дело армий, а не граждан. Ограниченная регулярная война была в стиле аристократических армий 18 века.

Генерал, будущий глава американской республики, не любил грубых толп и был невысокого мнения о нравственности народа. 'Такое отсутствие общественного долга и добродетелей, такое низкое торгашество и изобретательность по части подлых шуток, лишь бы что-нибудь урвать... такой грязный дух наемничества пронизывают всех, что меня не удивит никакая катастрофа', - делился он своими горькими размышлениями в начале великого предпрятия. Когда напившиеся виски ополченцы под градусом забористого фермерского самогона изъявили решительное намерение 'задать жару войскам министерства' (по делам колоний), он раздраженно написал: 'Это не выдающаяся удача, а скорее следствие необъяснимой глупости низших классов'.

Отважный и мужественный человек, он понимал, что ему не хватает военных знаний и опыта; и того, что могло бы возместить их отсутствие; он не был гениальным военачальником.

Великобритания была великой державой, морской империей, флоты которой покрывали океаны. Военное состояние американских колоний политически было фактором более символическим, продолжением упрямства, знаком для Европы: мы полны решимости, мы упорны, помогите нам.

Североамериканская свобода могла стать реальностью лишь как политический зигзаг, проскочив между внутренними и внешними противоречиями английской политики.

В Англии колониальная война против своих была непопулярна.

Но начались военные действия.

И командовать таким сборищем, каким была американская армия, для кого угодно было бы сущим наказанием. Абсолютно не выдерживала натиска профессиональных войск. Американцы полагали, что их армия не разбита потому, что английский генерал Хоу сочувствовал колонистам.

Во время одного из отступающих 'маневров' без приказа, Вашингтон хотел стрелять в бегущих солдат, выхватив два пистолета, но даже разъяренный передумал и набросился с плеткой на двух полковников; избил бригадного генерала.

Покуда герои из Конгресса грели задy возле камина, рассуждая о правовых принципах власти, на него взвали самое трудное. Как человек долга и чести он не мог выбирать. Джентльмен сохранял выдержку. Он деликатно разъяснял Конгрессу: из-за низких боевых качеств армии нельзя вступать в решительные сражения с врагом даже в укреплениях, ибо во вверенных войсках, 'признаюсь, я не обнаружил готовности защищать их любой ценой'.

Из Европы приплывали добровольцы помогать американцам, в основном французские дворяне. Особенно отличился немецкий капитан фон Штебен, произведенный здесь в генералы; руганью на немецком, французском и английском он научил войска согласованному маневрированию в строю.

Историки называли события Американской революцией, некоторые находили в ней величие. Но война за независимость по многим важным признакам не дотягивала до революции. Революционны были лишь теории. В действительности все было гораздо прозаичней. Слишком буржуазный, расчетливый дух заправлял этой революционностью.

Армия тяжело зимовала в 1777 - 1778 годах; 2,5 тысячи солдат умерли от болезней и голодного истощения.

А вокруг было изобилие. Население предпочитало продавать продукты питания англичанам, которые платили дороже, а не армии свободы. Позже, когда прибыли французские войска, союзники снабжали по немислимым ценам. '...Нас обдирают беспощадно, все безумно дорого, во всех сделках они относятся к нам скорее как к врагам, а не как к друзьям. Их жадность невероятна, их бог - деньги'. Американский обыватель не находил противоречия, что право собственности для него важнее самого дела свободы. Европа, симпатизировавшая американским колонистам издалека, познакомившись поближе, разочаровалась. Французский посол в США писал министру иностранных дел: 'Личное бескорыстие и неподкупность отсутствуют в картине рождения Американской республики... Дух торгашеской алчности составляет, пожалуй, одну из отличительных черт американцев'. Подмеченная аристократом особенность плебейской массы.

Пожалеть пришлось и фон Штебену, который считается одним из основателей американской армии: 'Я всегда буду сожалеть, что обстоятельства заставили меня принять защиту страны, где Ганнибал и Цезарь загубили бы свою репутацию, и где каждый фермер - генерал, но никто не хочет быть солдатом'. В завершении войны он получил лишь часть денег в твердой валюте. На значительную сумму с ним расплатились местными бумажными сертификатами, которые он с трудом сбыв в Америке за гроши.

Некоторые успехи были: генерал Вашингтон заставил говорить о себе в Европе в 1777 году, а осенью того же года генерал Грин окружил и заставил сдать дивизию генерала Бергойна в крепости Саратога.

Франция решила вступить в войну. Как только генерал Хоу узнал об этом, он сразу попросил кабинет министров уволить его от 'очень тягостной службы' и отплыл в Англию.

На стороне Франции выступили Испания и Голландия. В Вест-Индию направился французский флот.

Но стало намного труднее добиваться денег от Конгресса на армию. Ведь законодательные ассамблеи штатов неохотно выделяли средства. Распространилось настроение переложить тяготы войны на союзников. Армия сократилась в несколько раз.

Стратегические планы разрабатывали французы. Было принято решение осадить Йорктаун.

В гавани Йорктауна на флагманском стодесятипушечном корабле Джордж Вашингтон встретился с командиром французской эскадры де Грассом. Громадного роста толстяк адмирал схватил в объятия немаленького

американского генерала: 'Вот и ты, мой дорогой крошка генерал!', - радостно захохотал француз, он был навеселе и в добродушном настроении. Джентльмен сильно побледнел: какая бестактность, легкомысленные французы!

Осада продолжалась недолго, на девятый день крепость сдалась. Война фактически закончилась. Ситуация была неясной, но английское правительство заранее смирилось с мыслью, что если колонисты проявят упорство, их придется отпустить.

Американцы тоже не чувствовали себя уверенно. Свобода оказалась делом гораздо более трудным, чем предполагали. Затянувшаяся война вызвала ропот и недовольство: бытовые тяготы, непредвиденные убытки. Появились признаки неверной уклончивости, похожей на измену. Американские политики поговаривали о необходимости уступок Англии.

Но Британский парламент в ноябре 1781 года постановил прекратить финансирование войны. В Америке возникла республика, наподобие той, что была в Риме, знаменитом гордой свободой и доблестью своих воинов. События в Америке, новости откуда попадали скорее в портовые таверны, чем в газеты, будоражили умы. Америка была хорошим поводом поразмыслить о собственных европейских делах.

В это время Гофман пошел в школу в Кенигсберге.

Когда же поступил в университет, на Рейне начиналась неограниченная революционная война.

Революция выдвинула немало способных военачальников; на порядок способней их всех оказался Бонапарт. Легионы французской Республики стальными лавинами прошли по Европе.

Глава вторая Кенигсберг

Гофман не ходил на лекции Канта.
Он признался, что ничего в них не понимает.
Теодор фон Хиппель

Герой нашего повествования происходил из прибалтийских немцев, в роду его были также венгры и поляки. Родился он в Кенигсберге 24 января 1776 года. Полное имя великого романтика Эрнст-Теодор-Вильгельм Амадеус, вместо Вильгельм, появилось позже, в двадцать девять лет.

Был старший брат Ганс (1768), которого он почти не знал. Когда Эрни исполнилось три года, родители развелись. В 1797 году братья встретились по поводу наследства и познакомились. Спустя много лет, набрасывая план автобиографического романа, Гофман записал: 'Необычным характером мог бы быть брат' - по воспоминаниям - переписки не было.

Кристоф-Людвиг Гофман, папа писателя, служил в прусском верховном суде Кенигсберга. Был необычайно способным адвокатом, с художественными наклонностями, но подверженный перепадам настроения. Незаметно, как водится, он пристрастился к спиртным напиткам, чтобы прогонять плохое настроение. По немецким меркам он был 'горьким пьяницей'.

Сказалось несходство характеров с женой Альбертиной; она была робкой, печальной, ей нужен был прочный семейный очаг; Кристоф был сама ненадежность. Альбертина возвратилась в родительский дом с младшим ребенком. Господин Гофман уехал в Инстербург, вблизи Кенигсберга, с подрастающим и не нуждающимся в особой заботе Гансом.

Кенигсберг, столица Восточной Пруссии, находился далеко от главных событий конца 18-го века, на границах Восточной Европы; соседями были Польша, Россия, Скандинавия.

Немцы появились в Прибалтике в XIII веке. Вели завоевателей Ливонский и Тевтонский рыцарские ордена. В результате ряда войн им удалось утвердиться здесь.

Кенигсберг был построен в 1255 году. Рыцарская крепость на землях истребленного литовского племени пруссов. Исчезнув, они дали название немецкому герцогству. Великий курфюрст Бранденбургский стал в силу

обстоятельств и герцогом Прусским.

Бранденбург входил в состав Германской империи, политически бесформенной конфедерации.

Курфюрсты, владетельные князья, светские и духовные феодалы, избирали императора, или кайзера.

Императорами были австрийские Габсбурги. Бранденбургские Гогенцоллерны стремились к полной независимости.

Феодальная политика была сложной и запутанной. Поляки, которые столетиями воевали с немецкими рыцарскими орденами, не смогли взять крепости в Пруссии, но заставили немцев признать зависимость от Польского королевства. В 1660 году Бранденбургу, однако, удалось по мирному договору в Оливе добиться для балтийского герцогства освобождения от нее. Спустя сорок лет Фридрих III Бранденбургский провел давно задуманную феодальную махинацию. В начале 1701 года он короновался в Кенигсберге королем Пруссии, и в качестве такового назвался Фридрихом I.

Фокус был в том, что балтийское герцогство не входило в состав Германской империи. Кайзер не мог запретить господину сих владений повысить государственный статус. Но Фридрих I распространил новый статус на свои Бранденбургские владения.

Король Фридриха подданные прозвали Фельдфебелем.

Более всего он занимался армией. Военным строем и железной дисциплиной.

Был сверхметодической энергичной посредственностью, полной неимоверного честолюбия и алчности.

Фельдфебель полагался на то, что абсолютное подчинение и жестокость превращают солдат в послушные механизмы. Ничего более не нужно. Согласованное действие послушных механизмов производит маневр военной машины. Давите на рычаг - и машина пойдет напролом. Для большей силы удара - больше солдат. Вот и вся военная наука.

Фридрих мыслил механически-поступательно, в духе времени. 18 век был веком механических наук и рассудочности. При подобном устройстве головы он в любое историческое время мыслил бы механически и проявлял бы прямолинейную алчность крокодила, инстинкты которого тоже довольно механичны. У рептилий никудышный головной мозг. Вся 'духовность' сосредоточена в спинном мозге.

Надо воздать ему должное, его государство было наиболее сильным из 38 германских государств; не уступало Австрии.

Его наследник Фридрих-Вильгельм I упорчил достигнутое состояние. Король понял силу знания. Создал много новых школ; государству нужны были грамотные подданные. Экономические нововведения были несколько страны. Чтобы из страны не уходило золото, он запретил внешнюю торговлю (насчет чего Гофман сатирически писал в 'Эликсирах сатаны').

Гофман застал правление великого короля Фридриха II (1712 - 1786).

Славный король в самом деле был незаурядной личностью, умен, хорошо образован, прослыл философом. Он тянулся к французской культуре, приглашал в гости мыслителей, но однажды дал пинка Вольтеру: дотянулся...

Абсолютная, ничем не ограниченная власть, портит характер. К тому же он был прямым потомком Фельдфебеля.

Один способ, каким он дотянулся до Вольтера, мог бы обеспечить ему место в истории. Но Фридрих II, как философ, помимо того, отменил пытки в судебном делопроизводстве. А в качестве военачальника захватил горную Силезию у Австрии.

В деле величия главное вера в себя. А также передаточные рычаги власти, многократно увеличивающие впечатление, производимое личностью, в особенности незаурядной.

Вера короля в себя была подвергнута серьезному испытанию в ходе Семилетней войны 1756 -1763, когда русские войска взяли Берлин. Король был на грани самоубийства. Но произошло невероятное.

Когда военная кампания казалась совсем проигранной, в России скончалась государыня Елизавета I.

Императором стал ее немецкий племянник Питер, который восхищался прусским военным духом и Фридрихом II. В его петербургском кабинете был огромный портрет короля, перед коим он в буквальном смысле преклонялся.

Племянник, который заставлял свою жену Екатерину до изнеможения стоять на часах с ружьем или вытягиваться перед ним во фронт, руки по бедрам, не мигая смотреть ему прямо в глаза, еще обожал смотреть на пожары.

Государь Питер немедленно произвел распоряжение: все отдать, словно не Россия победила Бранденбургское королевство, а наоборот.

Русские подданные так опешили, что не сразу своего государя удавили за это. Но было поздно.

Войска отовсюду были выведены. В том числе из Кенигсберга, где четыре года стоял русский гарнизон.

В середине столетия население Кенигсберга составляло 60 тысяч. Это был важный порт. Процветала торговля с Россией и транзитная с Южной Европой.

В порту высились лес мачт, слышалась иностранная речь; его продували сырые морские ветры; северное небо лило дожди и засыпало мокрым снегом.

Немцы, однако, всегда умели устроить быт. Бюргерская жизнь проходила размеренно и упорядоченно. В Кенигсберге был театр, университет, издавалось несколько журналов, известных в Германии. Соблюдались европейский политес: балы-маскарады, чаепития, концерты.

Здесь почти весь век жил знаменитый Иммануил Кант.

Философ никогда не покидал родного города. Не стоило совершать небезопасные далекие путешествия, чтобы убедиться в том, что и так хорошо известно: человеческая природа везде одинакова.

Кант вел размеренный образ жизни, соблюдал строгий распорядок, чтобы поддерживать внутренний механизм здоровья в исправном состоянии.

Каждое доброе утро, с точностью, по которой бюргеры сверяли часы, ровно в 6 господин Кант выходил на прогулку. Никогда не брал с собой никого, кроме слуги: чтобы держать зонтик во время дождя. Со слугой можно не разговаривать. С образованным же спутником из вежливости нужно вести беседу, что не очень удобно в сыром климате. Разговаривая, приходится раскрывать рот, из-за чего можно застудить горло. Совершенно ни к чему.

Неподалеку жил известный сатирический писатель, директор полиции, тайный советник фон Хиппель.

Племянник влиятельного советника Теодор Хиппель был другом Гофмана. Наследник дядюшкиного титула и поместий, он неизменно приходил на выручку беспокойному порывистому неосмотрительному Гофману, художнику-романтику.

В доме бабушки воспитанием Гофмана занимался дядя Отто-Вильгельм, отставной советник юстиции. Отто смотрел на это просто: мальчишка под надежным кровом, обут, одет, накормлен. Проверить его уроки и заняться

садом и грядками овощей на огороде. Агрономическое увлечение составляло основное содержание его жизни; чтение, вкусно поесть и музицирование. В ненастное холодное время он брэнчал на старом клавесине.

Дядя устраивал дома концерты, приглашал друзей и знакомых. Гофман, которому некуда было деться, скучал на этих вечерах, на которых собирались исполнять или репетировать 'все, что только мог гудеть и пилить', где звучали 'гениальные произведения Эммануила Баха, Вольфа, Бенды'. Время тянулось невыносимо медленно. Развлечение он находил, наблюдая странные гримасы и смешные движения музыкантов. 'Такие концерты были смехотворны и нелепы, это уж я понял позднее. ...Акцизный чиновник играл на флейте, дыша так свирепо, что обе свечи на его пулте то и дело гасли и их приходилось снова и снова зажигать'. Особенно обращал на себя внимание старый адвокат, который играл на скрипке и сидел всегда рядом с дядей. '...Говорили, что он необычайный энтузиаст; что музыка доводит его до умопомешательства; что гениальные произведения... (помянутых Баха, Вольфа, Бенды) вызывают у него безумную экзальтацию и потому он не попадает в тон и не держит такта. Он носил сюртук цвета сливы с золочеными пуговицами, маленькую серебряную шляпу и рыжеватый, слегка напудренный парик, на конце которого болтался маленький кошелек. Адвокат все делал с неопишуемой комической серьезностью. Ad opus! (за дело! - лат.), любил он восклицать, когда расставлялись на пюпитре ноты. Потом брал скрипку правой рукой, левой снимал парик и вешал его на гвоздь. Играя, он все ниже и ниже склонялся к нотам; красные глаза его сверкали и выкатывались из орбит, на лбу выступали капли пота. Случалось, что он заканчивал играть раньше остальных, чему крайне удивлялся и очень злобно на всех поглядывал. ... Однажды он произвел настоящий переполох. Все бросились к нему, дядя высочил из-за рояля; думали, что с адвокатом страшный припадок; дело в том, что он сначала стал слегка трясти головой, потом в нарастающем crescendo (возрастая. - итал.) продолжал дергать ею все сильнее и сильнее, и при этом, водя смычком по струнам, произволил неприятнейшие звуки, щелкал языком и топал ногами. Оказалось, что виною была маленькая назойливая муха: жужжа и кружась на одном месте с невозмутимой настойчивостью, она садилась на нос адвокату, хотя он и отгонял ее тысячу раз. Это и привело его в дикое бешенство'.

Но как ни были несовершенны любительские концерты, Гофман открыл мир звуков и созвучий. Предоставленный себе, в одиночестве, не замечая времени, подбирая на благозвучные аккорды. Нажимая обеими руками несколько клавиш сразу, клал голову на крышку рояля, закрывал глаза и с наслаждением предавался слуху. Тайна звучаний завораживала его. Незаметно подкрадывался он на музыкальных вечерах и наблюдал, как быстро опускались, поднимались молоточки, ударяя по струнам рояля, как пробегал по ним резвый огонь.

'Что я теперь разделался со всем, все забросил и занялся одной лишь музыкой, искусством благородным... этому пусть никто не удивляется, - писал он в 'Фермате', - я ведь и ребенком ничем другим не желал заниматься; только день и ночь стучал по клавишам дядиного клавира, совсем древнего, скрипучего, гудящего'.

Фортепьяно его обучал Христиан Подбельский. '...Был один старик-органист, упрямый чудак, словно совсем неживой, музыкальный бухгалтер, он долго мучил меня мрачными токкатами и фугами, которые звучали преотвратительно'.

Фортепьянную технику Гофман освоил великолепно. Занятия фугами продолжались и в университет, но музыкальное сотрудничество с соборным органистом прервалось однажды после того, как Гофман услышал итальянское пение... 'Вернувшись домой, я в ярости собрал все свои токкаты и фуги, которые изготовлялись мною с такой терпеливостью, не пощадил и чистой копии посвященных мне органистом сорока пяти вариаций на каноническую тему и нагло хохотал, слыша, как трещит и дымит двойной контрапункт'. Потом он пытался спеть сам слышанное на итальянском. 'Наконец, в полночь дядя не выдержал и крикнул мне: 'Не визжать так страшно! И пора уже в постель, чин по чину', - потом затушил обе мои свечи и вернулся в спальню, из которой ради этого выбрался. Не оставалось ничего иного, как послушаться его'.

Незаурядные дарования Гофмана были замечены ректором школы Стефаном Ванновским, '...который нередко, - вспоминал Хиппель, - полусерьезно, полусуто шутливо советовался с ним по вопросам искусства. Одноклассники не любили его, поскольку нередко попадались ему на острый язык'.

Едва научившись читать, Гофман повадился вытаскивать из дядиного шкафа взрослые книги. 'Исповедь' Руссо, 'Жизнь и мнения Шенди, джентльмена' Стерна. Чего стоила хотя бы история с горячим каштаном, скатившимся в расстегнутые штаны с обеденного стола или осада вдовы Вудмен..!

Подобное чтение весьма обогащает и необычайно полезно для пытливого ума. Словарный запас его быстро расширялся. И вот уже дядюшка Отто стал 'пошлый педант и прозаический тип'.

Отто не хватал звезд с неба и не надеялся, что золотые звезды посыпятся ему на огород; он выращивал всякие полезные овощи и ухаживал за растениями; ему нравилось наблюдать, как пробиваются ростки, как все цветет и зеленеет; в этом душа обретала равновесие, а вселенная порядок.

Племянник слышал историю отставки дяди. Бабушка называла его Отхен. Несколько поколений Дерферов были юристами. Отто-Вильгельму тоже предназначалось последовать по этому пути. Но на первом судебном заседании в прениях сторон румяного увальня постигла конфузия. Отто совершенно не ожидал, что более опытный коллега поведет себя с надменным коварством, станет задавать провокационные вопросы, как змея подстергала его простоватые ответы, чтобы с каким-то торжествующим ядовитым ехидством издеваться над ним, выставяя Отто неумехой, недотепой, недоучкой, болваном. Коллега ошельмовал, сокрушил 'советника Дерфера', который пребывал в искреннем недоумении, чего плохого сделал он коллеге; он был растерян, подавлен. Все произвело на него такое тягостное впечатление, что он малодушно отказался от карьеры. Отто был расстроен, в глазах у него стояли слезы, он не мог внятно объяснить, почему не способен заниматься хлебной профессией юриста. Но интуитивно постиг: ему не хватает страсти и казуистической изобретательности, чтобы схватываться, гремя доспехами, с такими вот 'коллегами'. Бабушка пожалела Отхен. У них были средства.

Отто-Вильгельм благополучно вышел в отставку, чтобы по примеру философа Эпикура возделывать свой сад. 'Предаться диетически размеренному прозябанию', прокомментировал деятельный Хиппель. Гофман рано понял, что дядя, напущавший на себя педантическую строгость, простодушен и доверчив. Пользуясь этим, он разыгрывал его, нередко вводил в заблуждение.

Гофман отставал по классическим языкам, латинскому и греческому. Хиппель же успевал по ним. Ректор Ванновский посоветовал дядя Отто-Вильгельму предложить племяннику приглашать друга в дом в качестве репетитора и наставника, если тот согласится помогать. 'То, о чем давно уже условились оба подростка, было теперь торжественно решено семейным советом. Днем занятий была определена среда, когда дядя делал визиты'. Занятия происходили в послеобеденное время; сигналом их окончания было появление тети Софи с чашками ароматного горячего чая и печеньем. После начиналась буйная музыка, переодевания, беготня. Гофман показывал всякие

интересные места в книгах, которые прочитал тайком. Апулей, чем не замечательная книга? ...

Настало лето, в глухих местах сада приятели вели рыцарские сражения; добыть копье было нетрудно, достаточно выдернуть из грядки подпорку для фасоли; боевые щиты заимствовали у деревянных истуканов Марса и Минервы.

Рыцарь невозможен без любви. Приятелям пришла в голову мысль прорыть подземный ход под стеной сада, там находилась женская реформатская школа. Хиппель: '...чтобы незаметно наблюдать за прелестными девушками... Зоркость дяди Отто, который много гулял и работал в саду, чтобы улучшить пищеварение, положила конец гигантскому предприятию. Гофман сумел убедить его, будто вырытая яма предназначена для неведомого американского растения, и добрый старик заплатил двум работникам, чтобы те ее закопали. От великолепного плана, ради которого было пролито столько пота, друзьям пришлось отказаться'.

Хиппель и Гофман решили улететь на воздушном шаре. Вероятно, в Америку. Пробная модель, сшитая Софи, когда напускали дыма, сдулась под общий хохот с шипением и свистом.

Наверху дерферовского дома жил Цахес (Захария), никому неведомым способом, но связанный невидимыми нитями с Гофмановой сказкой, министром Циннобером, словно в театре теней или марионеток...

Хиппель писал: 'Повод для развлечения друзьям нередко давала несчастная мать З.Вернера; безумная до самой смерти верила, что произвела на свет мессию. Часто слышались жалобы этой несчастной... Поэт, ее сын, был старше обоих друзей лет на пять. Его странности вызывали у них удивление и насмешку, но поэт даже не подозревал об этом, вечно витая в облаках'.

Позднее Вернер прославился романтическими драмами рока, ныне совершенно забытыми. В критических обстоятельствах он высказался в адрес Гофмана довольно подло. И потому вполне заслужил, чтобы сказочный паукообразный министр получил его имя в гофманической фантастической повести.

Немного повзрослев, Гофман влюбился в девушку из французской реформатской школы. Когда-то он хотел прорыть туда подземный ход; возможно, уже тогда из-за нее подбил он на это Хиппеля.

Погруженный в себя и печальный, он тянул Хиппеля на прогулку, и верный друг, понимая, что ему нужна поддержка, дотемна бродил с ним по городу. 'Вечерами он украдкой бродил возле ее дома, часами простаивал в мрачной тени старой ратуши, чтобы только узнать ее среди силуэтов, двигавшихся в освещенном окне'. Расположение дома означает, что она принадлежала к патрицианской семье потомков французских протестантов. Пытаться преодолеть сословные преграды значило бы держать наготове заряженный пистолет, как гетевский Вертер. Вот тогда Гофман высказал мысль, которая поразила Хиппеля и заставила задуматься: 'Уж если я не смог заинтересовать ее своим внешним видом, пусть я буду самым безобразным (ему нравилось рисовать в своем воображении такой образ), лишь бы она заметила меня, лишь бы удостоила хоть единым взглядом'.

Гофманическая фраза могла дать импульс замысла роману Виктора Хьюго 'Нотр Дам'. Мемуары Хиппеля были напечатаны прежде, чем появился роман. 'Безобразный Гофман' слишком напоминает готического паука горбуна Квазимодо. Быть может, Хьюго видел, как Гофман отбрасывал паучью тень, как она ползла за ним по кенигсбергской мостовой, выползала из тени ратуши...

Влюбленность сказочно преобразилась в дрезденской повести 'Золотой горшок'. Вероника, 'хорошенькая цветущая девушка 16-ти лет', хочет заморозить Ансельма и соединиться с ним, но непременно, чтобы он был надворным советником. За помощью прелестная храбрая девушка отправляется к старой ведьме, бывшей няне, которая ей рассказывает: 'Я, бывало, пугала тебя букой, чтобы ты поскорее засыпала, а ты только пуще раскрывала глаза, чтобы увидеть, где бука'. Бука - 'безобразный Гофман'.

Студент Ансельм стеснительный и неловкий молодой человек. Вот он является к некоему тайному советнику. Внезапно из чернильницы выпрыгнул черный кот, брызжа огнем, чернильница, песочница, чашки, тарелки со звоном попадали на столе, за которым он завтракал, и поток шоколада и чернил вылился на только что оконченное донесение. 'Вы, сударь, взбесились!', - зарычал (на меня!) тайный советник, хватая за шиворот и выталкивая за дверь'.

Это не тайный советник выталкивал некоего студента; поздний Гофман хватал за шиворот Гофмана раннего. Самоопределение художника выразилось в формах грубых в отношении ближнего нехудожника, толстого сэра, горе-дяди, прозаического обывателя. Вот что запечатлелось в письме Хиппелю. '...Поскольку благочестие и набожность всегда царили в нашей семье, где полагалось сожалеть о содеянных грехах и ходить к причастию, вот почему толстый сэр, желая появиться в церкви в пристойном виде, накануне, в пятницу, весьма тщательно смыл пятна помаета бесстыжей ласточки и следы жирного соуса от вкусного рагу со своих черных брюк, развесил их на солнышке под окном и потащился к другу, такому же ипохондрику'. Разразился ливень. Огромные необъятные черные парадные штаны, как шкура бегемота в потоках дождя, были полны болотно-африканского величия, разбирал смех. Бюргерские нелепые штаны напоминали ШТАНДАРТ ПОШЛОСТИ; в одну минуту превратились в тоскливо свисавшую тряпку. Ненастье прошло, но Гофману показалось этого мало: обильно полил их из лейки; все же он испытывал некоторую неудовлетворенность; интуиция художника подсказывала, здесь чего-то не хватает для завершенности замысла... некоей детали... эдакой маленькой изящной черты... гениальной изобретательности... завершенной простоты... того смелого штриха, который великолепный замысел осеняет печатью двусмысленности и мелкую бесовскую пакость превращает в шедевр дьявольского злодейства..! ЭВРИКА! Гофман принес из дома три полных ночных горшка!!!!. ВСЕ ЭТО ПРЕКРАСНО ВПИТАЛОСЬ!!! Бюргерское знамя сделалось таким тяжелым, что его едва могла выдержать веревка. Вот теперь, наконец, романтическое презрение к пошлой стандартности штанов было исчерпано... Ночными горшками!!! 'Как только сэр Отт вернулся домой, он немедленно направился за брюками'. Бегемот такого не ожидал. Чего угодно, но не такой вони... 'Правда, прозрачные слезы не потекли тут же по красно-коричневым щекам, однако, жалобные вздохи выдавали смятение, охватившее его душу, а капли пота, выступившие, словно жемчужины, на багровом лбу, свидетельствовали о раздиравших его душу сомнениях'. Потрясенный, сокрушенный, поверженный в полное недоумение, вытирал он носовым платком выступившие на лбу крупные капли пота, по-бегемотски вздыхая: 'Майн гот!', в глубоко душевном смятении... ТРИ ЧАСА ОТЖИМАЛ ОН СВОИ ПАРАДНЫЕ БРЮКИ!!!! ...Вечером за ужином он поведал семейству о бедствии, '...заметив... что ливень содержал какие-то отвратительные примеси и вредные испарения, что неизбежно скажется на урожае, ведь целое ведро воды, выжатое из брюк, имело совершенно скотский запах. По поводу столь ужасающего бедствия скорбело все семейство, за исключением разве тетушки, которая расхохоталась и тихонько заметила, что вонь, по всей видимости, происходила от растворения в воде вышеупомянутых примесей...'. Гофман горячо разделял версию насчет катаклизма и подтвердил: такое всегда бывает, когда грозовые облака на небе зеленоватого оттенка. 'Дядя с жаром защищал чистоту своих брюк, заявив, что они столь же непорочны, как его вера в святого духа'.

Простофиля дядя поделился невероятной историей со знакомыми. Испытав недоуменные взгляды и усмешки, припомнил, что сад после ливня благоухал свежестью, и грядки были в образцовом состоянии... И тогда ему в душу закралось сомнение: как могло случиться, что ненастье прицельно разверзлось над штанами и с каким-то непостижимым сладострастием испражнилось на них..?

В зрелом возрасте, Гофман смячился и пожалел старика. Прodelка была гадостная и пакостная.

Первоначальный замысел 'Золотого горшка' имел в основе самоосуждение. Злой волшебник Линдгорст дарит Ансельму в качестве приданого золотой ночной горшок, обделанный драгоценными камнями. Использовав предмет по назначению в брачную ночь, супруг превращается в мартышку... Некоторая вина и за слишком раннее чтение Апулея.

Надо признать, 18 столетие отличалось простодушным грубым юмором. Что там противоречия художника с бюргерством! В борьбе литературных партий перья выводили такую словесность, что позавидовали бы знаменитые ругатели пираты. Не зря улицу в Лондоне, где жили и строчили писаки, назвали 'Граб стрит': помойная.

Гофман был не первым, кто придумал подобный гротеск. Все эти события стали достоянием истории литературы, а не полицейского протокола лишь потому, что те, кого они задели, сами находили их, хотя и скотскими, но шутками, так сказать, издержками жанра, гиперболой юмора; происходящее воспринималось ими хотя как выражение напряженных отношений, но по-своейски: это же не покушение на убийство; полицию здесь не вызывают; точно так же, как и в случае супружеской измены: тоже своего рода критика...

Подобно студенту Ансельму, вне домашнего круга студент Гофман был стеснителен, неловок и способен был впасть в совершенно необъяснимое смятение. Сцена с тайным советником, фантастически переписанная в повести, в самом деле произошла месяца два спустя после веселой бесовской пакости со штандартными штанами.

Осенью 1794 года произошел случай, ошеломляющее действие которого произвело на Гофмана впечатление комически зловещее и одновременно загадочное.

Студент навистил тайного советника Хиппеля в его доме и имел с ним довольно странный разговор.

Советник Хиппель слыл знатоком искусств. У него было неплохое собрание картин, рисунков, обломков античных статуй.

С племянником советника Гофман однажды побывал здесь и посмотрел коллекцию известного писателя, директора кенигсбергской полиции.

Гофман работал над двумя акварелями. Получилось неплохо. Он, собственно, и задумал их, имея в виду представить на суд тайному советнику; замысел он скрывал; суждение знатока должно было быть беспристрастным. Акварели были посланы инкогнито, с дедушкиным слугой, с приложением элегантного письма.

Получив посылку, тайный советник велел слуге передать, что работы ему понравились, и он желал бы познакомиться с автором.

Гофман возликовал: начало карьеры! Влиятельный старик, несомненно, захотел приобрести его первые опыты.

'Так оно, в общем-то, и было, - ухмыльнулся бы здесь Стерн и, вероятно, подмигнул бы. - Но старый вольтерьянец стал с некоторых пор немного чудаковат, знаете ли... Кхе, кхе...'

Незадача была в том, что господин советник был погружен в себя, сдал, ему немного оставалось, он путал и забывал. Что и повело к фантазмагорическому фарсу, который нарочно не придумаешь, отчасти в духе того самого Стерна.

Перед тем, как отправиться с визитом, Гофман тщательно и долго готовился: вертелся перед зеркалом. Он старался придать себе внешность заправского художника.

И явился а la Гамлет, без приличествующего парика, с расстегнутым отложным воротником.

В мастерстве переодевания, столь восхваляемом его соотечественником и почитателем Ницше, Гофман явно перестарался.

Результатом маскарада было то, что фон Хиппель просто не узнал его, во-первых...

Но прояснилось это не сразу.

Заправскому художнику был оказан учтивейший, радушный прием. Он был приглашен в библиотеку. Ему предложили кресло у жарко пылавшего камина, принесли кофе.

Прихлебывая темно-коричневое густое варево, дурманяще пахнущее горелым орехом, желудями, фон Хиппель повел предупредительный, обходительный разговор, поглядывая из своей мудрой глубины: благожелательно, добродушно, насмешливо, покровительственно, нежно-лукаво...

Плясал и плясал огонь.

Но что-то такое вкралось в приятные минуты гостеприимства, что-то смущало в душевном тепле, что-то такое мерцало, настораживало...

Во временном отдалении, позже, впечатление той еле проступившей черточки загорелось ярко.

Из засады, из господина тайного советника... выглядывал веселый черт забавник..!

Опять последовали похвалы двум его наброскам... К слову - фон Хиппель позвал слугу... Показать господину... молодому человеку... пастельный портрет Руссо... Спросил, не доводилось ли ему прежде видеть его собрание?

'В ответ на что я неосторожно ответил 'Да!', что его, видимо, удивило'.

Гофман понял неладное.

Это мешало навести разговор на покупку его акварелей.

'Наконец загадка разрешилась. Он даже несколько раз повторил это. Он решил, что я послал ему эти наброски в подарок'.

На фоне советниковой погруженности в себя Гофман вдруг ощутил у него момент отключенности, автоматизма, невменяемости, раздвоения...

И жуть, словно чернильное пятно каракатицы выплеснулась и, медленно растекаясь, наполнила библиотеку. Было явное ощущение присутствия кого-то третьего, пакостного; произведшего каверзный подвох.

В некоем помрачении, внезапном затмении, не понимая, что делает, Гофман заметил себя с нарастающим паникой, заметил себя машинально двинувшимся к дверям, раскрыв их, выбегаящим на улицу...

Что же это со мной - черт дернул..?!! Интуитивное ощущение, что черт действительно просунул хвост в библиотеку, когда они разговаривали, тихо приоткрыв дверь, или даже, говоря на добром старонемецком языке, свою задницу... ощущение вернулось и со временем превратилось в уверенность.

Присутствие старого вольнодумца, насмешника над церковным ханжеством и глупыми суевериями могло навести на подобные ощущения...

Но может быть виной адского наваждения был ПОРТРЕТ..?

Портреты, дядюшки, тайные советники постоянные элементы романтических сюжетов...

Ведь на нем был изображен некий фальшивый сентименталист, изящно запутывавшийся в притязательной филосифичности.

Начал он сенсационным рассуждением, что искусства и науки не просто вредны, но опасны..!

Поразив всех и прославившись, затем старательно писал книгу за книгой, сентиментальные романы, путанные нелогичные трактаты, наслаждаясь манерной изысканностью письма.

'Душа законодателя - подлинное чудо', восторженно постиг он в писании 'Общественного договора, или Принципов политического права'. В потугах законодательного глубокомыслия трактат написан в нелепые выверты ничтожной зауми. Граждане обязаны договориться голосовать не так, как хочет каждый сам по себе, а как желает общая воля, которая есть их воля.

Бесполезно распутывать эту бессмыслицу. В попытках изящно сплутовать законодатель запутался сам.

Надобно быть или изящным, или внятным.

Сентиментальный писатель пустился в смехотворные обоснования. Народ плохо понимает, в чем благо, и как достичь его... но воля его направлена верно и прямо.

Посему, воле 'общей' следует полностью подчиниться, голосовать не так, как хочет каждый сам по себе, но согласно народной прямоте: желая блага, но не зная, как достичь его... Математично...

Парадокс доказательства противного желаемому...

Но, слава богу, мало кто заметил. И написали портрет.

Вот откуда проник в библиотеку запах смысловой фальши, разложения, гниения смысла, расползания его...

Мистически деформировалось пространство, и помрачение накрыло тайного советника вместе с Гофманом...

Богатый виноторговец Хатт по рекомендации Христиана Подбельского пригласил Гофмана давать уроки на фортепьяно своей молодой супруге Доротее; занятия сблизили их, пока приятельские, ей было двадцать семь. Видно, Хатту не хватало ума, во всяком случае, он был человеком без воображения. В городе пошли пересуды. Под благовидным предлогом (изучение юридических наук) занятия прекратились. Но не дружба. Приближение желаемого опыта Гофман передал в письме. Он немного важничал и преувеличивал. Хиппелю, 12 декабря 1794: '...В такой изоляции, в такой оторванности от мира я еще не был со студенческих времен. Со мной общаются лишь те, кто сами упорно этого ищут; им я уделяю минут десять, и баста. Думаю, что человек, плохо разбирающийся в людях, углядел бы в этом признак нелюдимости, однако то была бы ошибка. Я по-прежнему люблю людей, и если вновь и вновь начинаю ненавидеть тех, кто ненавидит меня, если при случае с удовольствием даю тумака тем, кто не отказался бы проделать то же со мной, если потешаюсь над теми, кто и в самом деле смешон, - все это вряд ли можно назвать человеконенавистничеством. Знакомства мои с дамами сводятся к нескольким фразам в общем разговоре (за исключением одной из них), и ни с кем я не желал бы продолжить беседу; уроки прошлого сделали меня умным и предусмотрительным; былой опыт научил, что множество разговоров при отсутствии конкретных дел - признак слабости. В этом меня трудно упрекнуть, к подобной категории я не принадлежу. Я редко бываю среди людей; избегаю, насколько возможно, глупых остряков и болтунов и в конце концов надеюсь добиться, чтобы меня оставили в покое. Даже появление на балах, как теперь, так и в будущем, en masque (в маске. - франц.), подчиняется данным правилам. Настроение неопределенное; лишь один-единственный человек мог бы его понять, но он отнял у меня, по крайней мере, на какое-то время. Итак, я постигаю искусство находить все в себе самом и надеюсь со временем отыскать, опять же в себе, нечто полезное... Однако вряд ли сердце мое утратит со временем чрезмерную восприимчивость... У Райденица нынче не принимают; занимаюсь, чем угодно, и дни бегут быстрее. ... Очень сомневаюсь, что люблю свою Inamorata (возлюбленная. - итал.) со всей полнотой чувства, на какую способен, однако я не желал бы обрести предмет, способный пробудить дремлющие чувства, - это нарушило бы мой уютный покой, вырвало бы меня из состояния, быть может, кажущегося блаженства; я заранее пугаюсь, воображая множество неудобств, сопутствующих подобному чувству. Придут вздохи, тревожная неуверенность, беспокойство, меланхолические мечты, отчаяние pp. (латинское perge, perge - тому подобное). Поэтому я избегаю всего, что могло бы повлечь за собой нечто в этом роде. Любому проявлению чувства к Коре (Гофман называет Доротеею именем героини оперы И.-Г.Наумана) у меня неизбежно сопутствует заготовленная исподволь какая-нибудь комическая выходка, и струны любви приглушаются так, что уже почти не слышно их звучания'.

Сентиментальное самолюбование, взвинченность... Его предупреждали, Хиппель, двоюродный дед Фетери. Но велико было обаяние сближения. Видимо, Гофман решил, будь что будет. Надеяться, что внучатый племянник устоит перед соблазном, было маловероятно; старик Фетери понимал это, и, чтобы отвлечь, взял его с собой в поездку в один замок, куда его постоянно приглашали в качествестряпчего, нотариуса. На каникулах ему нашлось дело. 'Каким бы бодрым и свежим он себя не чувствовал, однако ж полагал, что в 70 лет не худо заручиться помощником. Словно в шутку он однажды сказал мне: '...Я думаю, что ты не прочь немного проветриться у моря и прокатиться со мной в Р...зиттен. Ты мне славно пособишь в некоторых весьма хлопотливых делах, а кроме того, хоть раз испытаешь себя и присмотришься к дикой охотничьей жизни, когда, утречком написав аккуратно протокол, потом покажешь, что ты способен заглянуть в сверкающие очи непокорному зверю, к примеру, длинношерстному свирепому волку или клыкастому кабану, а не то и уложить его метким выстрелом из ружья'. Я столько наслышался всяких чудес о веселой охоте в Р...зиттене и всей душой был предан добрейшему старому деду, и потому известие, что он на сей раз берет меня с собой, обрадовало меня чрезвычайно. Порядком понаторев в делах, которые ему предстояли, я обещал употребить все старание, чтобы избавить его от всех трудов и забот'.

Поездка развлекала его как приключение; в воспоминаниях же соединилась с последующими событиями, полными мечтательного порыва, напряжения, внутреннего разлада, мрачных предчувствий.

Поехали они в метель, завернувшись в теплые шубы, в санях. Прибалтийские немцы переняли этот обычай в соседних Польше и России; в Европе во всякое время ездили на колесах.

Ехать было недалеко, но из-за метели путь оказался трудным. К воротам замка прибыли поздней ночью; им пришлось долго стучать, пока их услышали. Покои были уже приготовлены и натоплены. Проходили по длинным сводчатым коридорам; зыбкий пламень свечи в руке слуги бросал неверный свет в густую темноту... 'Колонны, капители, арки словно висели в воздухе; рядом с ними шагали наши исполинские тени, а дикийинные изображения на стенах, по которым они скользили, казались, вздрагивали и трепетали, и к гулкому эху наших шагов примешивался их шепот: 'Не будите нас, не будите! Мы безрассудный волшебный народец, спящий здесь, в этих камнях'. Наконец, когда мы прошли длинный ряд холодных мрачных покоев, Франц отворил дверь в залу, где ярко

пылающий камин радушно приветствовал нас веселым треском. ... Скоро перед камином появился накрытый стол; старик подал отлично приготовленные блюда; за сим последовала добрая чаша пунша, как только умеют варить на севере, что пришлось весьма по душе нам обоим, мне и деду'. Замерзли и выпили не одну чашу. Последовало замечание деда: 'Не пей так много, ты еще слишком молод. Это нежеже'.

Рокот и грохот морского прибора, дикие крики чаек, носившихся взад-вперед и бившихся в окна, вой ветра в печных трубах и в узких переходах, дребезжащие стекла... Ночами эти звуки не давали уснуть и сон был тревожным. Гофман проваливался в него как в подземелье и плутал в нем, не находя выхода...

Старик пытался предостеречь и сделать внушение внуку. 'Прошу тебя, тезка, противься глупости, обуревающей тебя с такой силой. Знай, что твое предприятие, как бы ни казалось оно невинным, может иметь последствия ужасающие: в беспечном безумии ты стоишь на тоненьком льду, который под тобой подломится, прежде чем успеешь заметить, и ты бухнешься в воду. А я остерегусь удерживать тебя за полу, ибо знаю: ты выкарабкаешься сам и скажешь, будучи болен и находясь в критическом состоянии: 'Я схватил во сне небольшой насморк'; а на самом деле злая лихорадка иссушит твой мозг, и пройдут годы, прежде чем ты оправишься. Черт побери твою музыку, коли ты не можешь употребить ее ни на что лучшее, кроме как будоражить и смущать мирный покой чувствительной женщины!'. Не обощлось без замечания, что вообще нежеже заниматься расслабляющим томным бренчанием на клавикордах, занятие недостойное мужчины; и дед не понимает, куда смотрит болван Хатт, а на его бы месте, мол, я выбросил бы тебя в окно, а вслед за тобой и чертов клавицимбал, чтобы вы с ним вместе не докучали серьезным бюргерам.

Гофман молчал; деду возражать он не смел; деда он любил, хотя ему и было обидно: в словах старика была извечная правда. Приниженный и подавленный подобными разговорами, он впрямь увидел себя сумасбродным мальчишкой, не более...

Старый Фетери разговоров этих не возобновлял. На следующее утро, входя в судейскую залу, он промолвил: 'Дай бог каждому надлежащий разум и старание соблюсти его. Худо, когда ни с того ни с сего человек становится трусом'. Потом он сел за большой стол и сказал: 'Пиши четко, любезный тезка, чтобы я мог прочесть без запинки'.

В феврале Гофман опять писал Хиппелю: 'Должен сказать, что я становлюсь другим. Душа моя вновь окрылена; я способен к действиям, не зависящим от жалких мелочей. У меня много планов, твердые непреложные решения зреют в моей душе...'

Сам запутался в любовных сетях.

В качестве художника он был никто. Все его попытки были лишь попытками вхождения в роль художника. В театре искусства он не добрался ни до кулис, ни менее до сцены; он застрял в гардеробе, в костюмерной, примеривая фрак капельмейстера, расстегнутый отложной воротник заправского художника, дымящую табакот трубку писателя.

Переживания были сильные, но ими он не владел; не было внутреннего равновесия, опоры; они владели им прихотливо. Раздражение из-за неприятных разговоров, замечаний; отовсюду он ждал агрессивных выпадов. Мрачная подавленность, ее слезы, муки совести, смятение. Переутомление, недомогание, мнительность. '...Меня доводят до отчаяния глупые ужимки подлой, ротозействующей черни - я хватаюсь за палку! Подумай, беды наши противоположны: у тебя избыток фантазии, меня же захлестывает действительность... Ты представить себе не можешь, как меня все это мучает - и моя судьба, мое призвание. Учение подвигается медленно и уныло, через силу делаюсь я юристом'.

Осенью все удачно сложилось для ночных свиданий. Хатт поехал закупать продукцию винодельческих областей. Но интригу и авантюру заметили. Неминуемый скандал. Безумие, позор rrr.

И первую скрипку в этих концертах играл Отто-Вильгельм.

Хиппелю, 22 сентября 1795. '...И вот! ...Позволь мне позаимствовать сейчас сравнение у моей возлюбленной музыки. Представь себе симфонию, СЫГРАННУЮ ВЫСОЧАЙШИМИ ВИРТУОЗАМИ, НА САМЫХ СОВЕРШЕННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ, представь себе самое проникновенное место - адажио, исполненное пианиссимо. Твои чувства напряжены до предела - а тут выходит жалкий человечек и начинает на трактирной скрипке пикиать куплет из ничтожной уличной песенки. Скажи, разве ты не возмутился бы до глубины души? Тебя жестоко вырвали из сладостного, блаженного забвения, вызванного нежно-убаюкивающим адажио. Гнев, подогреваемый буйным темпераментом, немедленно заглушил бы все нежное в твоей душе, ты бросился бы на скрипача и в порыве ярости разбил бы его инструмент... (обломил бы ему скрипку об голову. - авт.). Да что толку? Музыканты сбились с такта, мгновенья теплого чувства, которое одно делает исполнение прекрасным, улетели, и вот уже все - брошенные в кучу ноты, расстроенные инструменты - говорит тебе: это прошло! Такова общая картина, такова первопричина моей тоски, источник бессонных ночей и бледности на лице! Где веселость, свойственная моему духу? Скажи, мой друг, что это - судьба или просто стечение обстоятельств, которые, как мы знаем, субъективны; отчего передышки выпадают на мою долю, лишь чтобы смениться еще более горькими мучениями? Будто все объединились, чтобы сделать дни мои невыносимыми. Пошла уже десятая неделя с тех пор, как я сдал экзамен, но из Берлина нет никаких новостей, и я все еще не приведен к присяге. Только бы начать работать. Я многого хочу добиться; и приложу все мои силы. Если бы мне удалось все, что задумано, иные были бы весьма удивлены. Но об этом мне совсем не хочется сейчас говорить, потому что окружающие откровенно смеются мне в лицо. Вообще, бог знает, какая случайность, или какой странный каприз судьбы забросил меня в этот дом. Черное и белое не столь противоположны друг другу, как я и мои родственники. Боже мой, что это за люди! Я, впрочем, признаю, что порою бываю весьма эксцентричным; но ведь и с их стороны ни грама терпимости. Толстый сэр, будучи для моей насмешки предметом давно истощенным, а для презрения слишком жалким, начинает выражать по моему адресу возмущение, которого я, право же, не заслуживаю'.

Чем было исчерпано презрение, читатель помнит... И он предъявлял права на терпимое отношение!

Эксцентричность такая штука, кою или полностью принимают или решительно не признают. Середины, то есть терпимости, здесь не может быть по определению. Особенно если эксцентричность проявляет себя на чужом супружеском ложе.

Забавно, что он не заметил двусмысленной комичности рассуждения о симфонии, сыгранной на самых совершенных инструментах.

Гофман страдал, был несчастен, нелеп и смешон вместе.

На пределе напряжения жизнь начинает двоиться, рождая парадоксы, разного рода двусмысленности. Человек не владеет ни собой, ни ситуацией. Погружение в стихию женственной чувствительности слишком

подвергало мышление наваждению призрачных смыслов и малодушию перед признанием смыслов реальных...

Им овладела ненасытность, а ему пиликают...

В октябре началась служба. Гофман был принят в полицейское управление на должность следователя.

Профессиональная надежность Гофмана подтверждена многими свидетельствами; относительно нее читателя не должна смущать ни малейшая тень сомнений. Это немецкая надежность. Никто не потерпит расслабленности, рассеянности; домашние заботы, сентиментальность остаются за порогом службы; работы всегда много, работать нужно честно и четко. Исполнив службу, отправляйтесь, куда хотите: в трактир, к подруге, но не пейте слишком много, а если ваша подруга чужая жена, исполняйте свой долг любовника незаметно для посторонних: мужа и прочих.

Служба действовала на Гофмана благотворно на первых порах. Ему показалось, что страсть превратилась в спокойное пламя глубокого чувства.

Проходит месяц, и оказывается, что все, в чем он был абсолютно уверен, ему померещилось. Доротея начала упрекать его в недостаточной внимательности к ней; по мере развития отношений с женщиной, непременно оказывается, что мужчина недостаточно внимателен, а она слишком капризна.

'По сути дела, здесь оказываешься довольно жалким существом: мнишь себя свободным и счастливым, но более, чем когда-либо зависишь от условностей и капризов. Горько признаться, что я иногда переживаю здесь гнусные дни. Если б я мог делать, что хочу, я уж не торчал бы тут, но приказал бы выводку Мелузины (змеям. - авт.) и Аполлону прохрипеть мне двойную сонату из пивной бочки!'

Доверчивый, верный, отзывчивый Хиппель, полагая в написанном хороший знак, предлагал ему помочь выбраться из Кенигсберга.

Не успели высохнуть чернила на письме Хиппеля, а Гофман опять запутался в тенетах, длинных волосах Доротеи...

Признавался Хиппелю, что ему совестно писать... но насчет Хатта прошелся: трусливо охраняет свою жену...

Поскольку трусость Хатта все возрастала, симфонии пришлось прекратить и заняться сочинительством...

'...Вечерами и допоздна я превращаюсь в весьма остроумного автора'. Надо сказать, даже в более остроумного, чем ему хотелось бы...

'Ты представить себе не можешь, как сейчас взялась за меня фурия композиции, как в музыке, так и в писании романов pp. Самое лучшее бросить в огонь все, что покажется плохим'. Он слышал, что настоящие авторы бывают недовольны и бросают написанное в огонь...

Надо бы. Так полагается. Но нечего.

Все, выходявшее из-под его пера, казалось ему хорошим. Как настоящему заправскому графоману.

Что же заставляла его выводить на бумаге фурия писания романов pp?

Начал Гофман лихо, принялся писать сразу два романа: 'Корнаро. Мемуары графа Юлиуса фон С.' и 'Таинственный'.

Название первого напоминало Шиллера: 'Духовидец. Из записок графа фон О.'. И потом, в неполных двадцать лет самое время заняться мемуарами. Поделиться опытом и мудростью...

Непорочной белизны бумага усердно заполнялась графоманским манерным, ходульным многословием следователя кенигсбергской полиции.

Поспешно стремясь к самовыражению, он не имел глубокого замысла, слишком полагаясь на пламенность порыва, а в технике письма на манерную изысканность изящных сантиментов.

Писатель находит жанр и форму выражения, когда слово становится похоже на жест. Когда сила внутреннего содержания выражается непосредственно, как движение. Но чтобы свободно и естественно двигаться, нужно очистить чердак от хлама.

Гофман приобрел некоторый опыт. Но в его чернильнице были штампы сентиментализма и позерства. Он был героем романа художественных НАМЕРЕНИЙ.

Романтический герой весь заполнен ощущением своей необычности. Ничего более внятного добиться от него невозможно. Далее этого он двинуться не в силах. В это он вкладывает душу, этим томится, мается, разладом с тусклой повседневностью себя изводит...

Письмо Хиппелю в конце января 1796: 'Мелкий сброд, что порой окружает меня, считает меня глупым... А между тем я еще ни разу не метал бисер перед свиньями и чувствую, что сам по себе кое-что стою'. И вслед: '...Как бы хотелось мне пробиться - пусть даже силой - сквозь строй ничтожных мошек, сквозь строй людей-машин, что окружают меня пошлыми банальностями'.

Семья решила выслать его из Кенигсберга под опеку дяди Иоганна-Людвига, тайного советника, в горную Силезию. Пришлось ждать несколько месяцев.

Но раньше внезапная смерть вырвала из их круга Альбертину Гофман.

Непрочность и зыбкость существования...

Он жаловался Хиппелю: '...до полночи меня истязают длинными нравоучениями'.

Наконец, час расставания настал. Гофман раскланивался соседям. Почувствовав, что еще немного - и он разрыдается, выставив себя на посмеище, юноша поспешно сел в карету.

Когда проезжали мимо ее окон, он махнул ей рукой...

Глава третья

Семейная ссылка

Монах, мятежный езуит...

А.С. Пушкин

Крестный, дядюшка Иоганн-Людвиг, неплохо относился к Гофману. Племянник кинулся к нему на шею, вспомнив о своих бедствиях - после того, как забыл о них, выпив много вина и вкусно поев в придорожных трактирах с добрым малым попутчиком пуговичником ('Пуговицы важная часть одежды, молодой человек. Без пуговиц никто не смог бы застегнуть штаны, даже король').

Сцена поразительно напоминала аналогичную из романа Ивана Гончарова 'Обыкновенная история'. Сквозной темой романа были романтизм, дядюшки и тайные советники.

И так же, как демонический дядюшка в очень умном и глубоком романе, дядя Ганс отстранился, избегая нежных сентиментальных объятий, и спокойно вылил племяннику на голову ушат ледяной воды в виде четких разумных советов. Прежде всего, больше никогда не писать ей, дабы письма нельзя было приобщить ad acta (к делу. - лат.).

Гофман неосновательно полагал, что сочувствие дяди Ганса, распространяется и на его безумства.

В слезливом письме он пожаловался на это Хиппелю, не понимая, что Хиппель сочувствует ему с каменным лицом. '...Кто мог бы сделать меня счастливым, стал мне отныне чужим!'

Комнату делили вместе с кузеном Эрнстом-Людвигом-Гартманом. Здесь были две кухни, одна из них Минна, с весьма неплохой фигурой.

Госпожа советница была к нему добра.

Глогау (Глогув) глухая провинция; ни театра, ни маскарадов. Польский горный край.

Первое время на него напали вялость и сонливость. Нелегко сразу приспособиться к перемене климата, из равнины попасть на высоты в горы. Надо же еще и служить. Скучно. Завалы документов.

Но Гофман помнил о призвании. Он сам сшил себе тетрадь и назвал 'Бессвязные мысли'. Пригодятся, когда в голове прояснится. Некоторые время погодя, рукой кузена было приписано: 'Крайне...'. Сначала он обиделся. Перечитал. Верно: крайне бессвязные, бессвязные мысли...

Познакомился с Иоганном-Самуэлем Хампе, таможенным чиновником несколько старше него, замечательным человеком, композитором.

20 июля, спустя месяц после приезда, поздно вечером после дождя Гофман пошел в церковь иезуитов; там писал фрески итальянский художник...

Хиппелю: 'Я только что вернулся из церкви Иезуитов. Ее заново расписывают, и мне пришла в голову сумасбродная идея предложить свою помощь; юристы на меня, возможно, обидятся!'

Несколько часов по вечерам он проводил теперь там, помогал и охотно учился.

Когда служба мешала пойти в храм иезуитов, он опять сникал. В сентябре: '...Вечерами мной овладевает духовное бессилие; фантазия же неустанно следит за моими веками, чтобы, едва они опустятся, в ярких красках воспроизвести все неприятности, когда-либо случившиеся со мной, и показать будущее, которое вполне достойно моего прошлого'.

Молиари восхищал его. 'Человек, коего я видел в своих мечтах, явился, словно призрак, он пролетел надо мною, будто добрый гений, разбрасывая в воздухе лепестки роз. Он пользуется здесь дурной славой... В его красивых глазах временами мелькает злорадство. ... Огненным духом проникнуты все его произведения... Все было бы неплохо, если бы увлечение у меня, как всегда, не превратилось в страсть. Моя горячность, да, мое неистовство во всем, что дарует подобные ощущения, убивает во мне все хорошее. К черту летит жизнерадостность, разрушены мечты о счастье, в этом мы с Молиари похожи. Оба дети несчастья, оба испорчены судьбою и самими собой!'

Весной скончался Кристоф Гофман; пришлось ехать в Кенигсберг, там он пробыл месяц, разговаривал со старшим братом, не избегал Доротеи, завел тайную переписку; ими был затеян развод...

Подкоп под бюргерский дом Хаттов был показан, найден, засыпан. Крестный все узнал.

Хуже всего были не жесткие короткие фразы, но то, как мрачно сверкнули орлиные глаза Иоганна-Людвига...

Холодная осень и ясный горный воздух отрезвили его. Спустя некоторое время Гофман помолвлен с Минной.

Наконец все начало складываться неплохо. Наметился перевод дяди в Берлин старшим советником верховного трибунала. Гофмана он забирал с собой: ему нашлось место в апелляционном суде.

В Берлин! В столицу! В центр искусств и изящных наук! Никаких планов! Наслаждаться жизнью!

Не написав Хиппелю, стремительно Гофман направился в путешествие в Саксонское королевство горными дорогами, проехал Богемию, достиг Дрездена. В пути писал письма Минне, вел дневник познавательного путешествия, питая надежду написать на основе заметок небольшую книгу.

В начале осени он в Берлине. Письмо Хиппелю 15 октября 1798. 'Мой дневник лежит не оконченным. ... Я вспоминал тебя, стоя у скалистой пропасти меж огромными отвесными стенами, громоздившимися с обеих сторон; ели выше самых высоких мачт казались мне сверху низким кустарником, проросшим, будто мох среди камней. Прямо передо мной со страшным громовым ревом с высоты двести футов срывался вниз Цакен. ...Неподалеку от Вармбрунна, мы отправились лесом, который постепенно поднимался в гору в направлении Цакена. После двух часов пути я услышал вдруг необычайный шум, то был водопад. Все сильнее звучал он в расселинах скал, по мере того как мы приближались к нему. ... Огромный водяной столб, казалось, падал в бездонную пропасть. Теперь предстояло спуститься, чтобы снизу увидеть водопад во всем его гигантском величии. Но так как скалы поросли гладким мхом, земля ослизла из-за дождя, да и сам по себе спуск был небезопасен, из всей компании я один решился последовать за нашим проводником, маленьким мальчиком. С трудом спустился я с приличной высоты, и тут обнаружил вертикально висящую лестницу, ею пользуются при сплавке леса. Наконец я оказался в ущелье, неподалеку от Цакена, примерно футах в двенадцати над водой тянулась узкая тропа. Я пошел по ней, чтобы приблизиться к той части скалы, что нависла над серединой реки, и уселся здесь. Величие, благородство, не могу описать тебе ужасающей красоты открывшегося передо мной зрелища. Солнце искрилось в водопаде, похожем сейчас на расплавленное серебро. В водяной пыли, коей пронизан был воздух вокруг скального водоема, сияли тысячи разноцветных радуг'.

Книгу он не написал. Водоворот берлинской жизни закружил его. Предлинное письмо другу заканчивалось: 'Прости, дорогой, мою болтливость, это ведь моя любимая материя! Если мне вновь посчастливится увидеть тебя, как много надо будет тебе рассказать! Спешу, спешу как можно скорее в мои объятия. Король собирается устроить блестящий карнавал. Дают двенадцать итальянских опер. Как ты смотришь на то, чтобы приехать на карнавал?!'

Невероятно, но за два года в Берлине он умудрился не жениться на Минне. В принципе, все зависело от дяди

Иоганна-Людвига, стоило ему намекнуть... но тайный советник подозрительно посматривал на самостоятельную жизнь племянника. Похоже, он ветрогон, пустейший человек, ведь его папаша промотал-прокутил жизнь. Вот почему, видимо, он не позаботился, чтобы племянника оставили в Берлине после очередного экзамена на чин. Выдержав испытание на звание ассессора, Гофман получил назначение в польские провинции.

Глава четвертая Раскочегаренный самовар

Мы метали молнии.
Гофман

В 1772 Польшу оккупировали и разделили соседние государства. Пруссия, Австрия, Россия полагали, будто польский вопрос решен. Но сами надолго создали напряженную политическую проблему. Поляки не смирились с потерей независимости.

В Познани, куда приехал служить Гофман, главная улица называлась Вильгельмштрассе и постепенно перестраивалась, приобретая вид берлинской Линден. На ней, в наиболее престижной части города, использовав повышение жалованья, стремительный артистичный ассессор снял квартиру в доме придворного типографа Якоба Декера.

Развлечения были не столь изысканны и разнообразны, как хотелось. Однако, перенесенный в незнакомую обстановку, негерманскую среду, Гофман в привычном ритме, но усиленном ощущением новизны, со рвением ненасытной молодости принялся предаваться рассеяням и забавам.

Клуб образованных господ 'Ресурса', в который он был немедленно радушно принят, забавлял юмористическими наблюдениями. Клуб предназначался для восстановления ресурсов, отдыха в приличной обстановке. Сюда приходили сыграть в шашки или шахматы, выкурить трубку 'пользительного голландского табака', доставленного прямо с острова Ява, почитать газеты, поговорить о политике, 'этом дьяволе Бонапарте', выпить, закусить. На Гофмановский острый глаз и карандаш попадались занятные портреты.

Общение с сослуживцами, приятелями происходило в основном в трактирах, ресторациях. Гофман с присущим ему гурманством принялся распробовать изобильную польскую кухню: со сметаной, блинами, пирогами, таящими во рту жирными вкусными колбасами, ветчиной, жареной печенью, со всякими подливками, запивая наливками, настойками, водками всех сортов... в силу увлекающегося темперамента не мог остановиться, объелся... и заболел. Слишком сочно, желчный пузырь не справился...

На время болезни его приютил старший приятель Иоганн-Людвиг Шварц, государственный советник. Веселостью и добродушием он составлял полную противоположность берлинскому И.-Л. Надобно заметить: две стороны архивариуса Линдгорста...

В 1800 году Гофман писал Хиппелю в Данциг, Гданьск. 'Я страдаю уплотнением печени и, будучи убежденным противником любых лекарств и врачей, вынужден все же прибегнуть к помощи доктора, который, желая помочь мне встать на ноги, сочиняет ежедневно за моим письменным столом пространнейшие рецепты. В остальном жизнью вполне доволен, ибо, слава богу, уже наступил октябрь, и я семимильными шагами приближаюсь к поездке в Берлин. Поскольку все неприятности не без основания я приписываю нынешнему моему переводу сюда, то и болезнь отношу исключительно на счет здешнего образа жизни, к которому черт знает как привыкнуть. Перегруженность работой, польская кухня, не перевариваемая для немецкого желудка, отсутствие развлечений, призванных беречь наши природные силы и сообщать духу бодрость и выдержку, – все это в течение длительного времени способно расшатать самое крепкое здоровье. ... Теперь я уже лучше приспособился к болезни, даже в доме обо мне заботятся, поскольку я сумел в какой-то мере расположить к себе жену государственного советника Шварца; она печет вкусный пирог со сливами, а еще рецензирует в литературной газете романы. Он... человек далеко не глупый, написал весьма остроумную книгу 'Принципы неразумного надзора' и тоже сотрудничает в литературной газете. Кроме того, Шварц один из членов разогнанного ныне веселого кружка, собиравшегося в 1779 - 1780 в Хальберштадте. Общение с ним, как ты догадываешься, дарит мне немало приятных часов'.

Шварц был сатирическим писателем, вольномыслящим рационалистом; в качестве вольнодумца удостоился косога взгляда начальства, вероятно также и тайного надзора полиции. Позже написал интересные 'Записки из жизни делового человека, поэта и юриста'.

Гофман попробовал карты и рулетку. Кто ищет в ощущениях упоений, беззаветной всепоглощенности, захватывающего, соблазн неотразимый... Диковинное сплетение случайностей заставляет стремиться духом в темное царство загадочного предопределения... Фараон, шtos – простая игра... заставила его провести напряженную бессонную ночь за картами...

Наутро, бледный, разбитый неизвестно зачем потерянным бессмысленно временем выпытывания воли фатума в пустяке расклада карт, Гофман дал себе слово не ставить более денег и не проводить ночей за зеленым сукном. И слово сдержал...

В столицу его тоже не тянуло. Появилась она. Михали тростинка, Тшцинска, ясноокая полька.

Волосы были длинные темные с блеском.

Настоящий знаток архитектор отозвался бы с похвалой о чистых пропорциях ее стана. Плечи и грудь

говорили о хрупкости и изяществе. Держалась просто, доверчивая, рассудительная, немногословная.

Весь ее прелестный облик был пленительно милым.

Светлые улыбающиеся глаза...

С чудесной девушкой познакомился он в приветливом доме советника Шварца. Старина Шварц обладал притягательным неотразимым обаянием, мужчина в самом расцвете сил, душою был молод, и друзья его были молоды. Дом государственного советника был настоящим клубом веселья, шуток, забав, вина, чая, пирогов, подающих надежды талантов; ресурсы здесь сверкали, искрились мощным фонтаном.

Гофману везло. Написал водевиль 'Шутка, хитрость и месть', и немецкий заезжий театр немедленно принял его, открыв им гастроли на местной сцене.

19 век встретили подобающим шумом, пальбой из пушек, фейерверком, хлопаньем пробок шампанского.

Новогодние карнавалы плавно перешли в масленичные.

Пришла весна в дымке свежей зелени.

Дикий парк, погруженный в густые заросли кустов роз, шиповника... здесь находились укромные уголки, жасминовые беседки... Миша...

На ней он женился бы не раздумывая. Но он был помолвлен. Надо было расторгнуть помолвку.

Неслыханное, скандальное затевалось им предприятие. Представляя, что придется перетерпеть, он медлил...

Поехал в Данциг в гости к Хиппелю. Встретились радушно, но Гофман был задумчив. В разговоре сквозила пустотами рассеянность, отвлеченность.

Прощаясь с Гофманом, Хиппель был грустен. Наверно, с их дружбой происходило то же, что со всем остальным в этом мире.

Не зная, что сказать и находя слова бессмысленными, Хиппель протянул руку. Гофман крепко пожал ее; он понял, холодный, невозмутимый, рассудительный Хиппель предан ему, он верный друг. Он знал, что непременно напишет Хиппелю, но не сейчас. Проблема мучила его.

В Познань прибыл новый командир пехотного полка генерал Вильгельм фон Цастров. Карнавал, на котором веселилось пестрое общество всех сословий и званий, не понравился ему. На его балы приказано было пускать лишь дворян, военных и чиновников рангом не ниже государственных советников. Генерал предпочитал веселиться величественно. В 'Записках' Шварц иронизировал над педантической спесивой ограниченностью генерала. 'Это весьма не понравилось судейским комиссарам, у которых были самые красивые жены, а также молодым неженатым советникам, влюбленным, как правило, в этих жен. Поскольку принципы французской революции уже пустили корни в Германии, то все, притязавшее на аристократизм, было ненавистно молодежи'. Чванный вояка вызывал острые насмешки.

Фонгенерал был раздутым фельдфебелем. Мелкий деспот в больших чинах. Рыча, командовать и подавлять. В этом заключался весь его кругозор. Генерал гордился, что двадцатилетним солдафоном предложил великому королю Фридриху II plan de campagne (план кампании. - франц.), за что был награжден орденом pour le mérit (за заслуги. - франц.).

Без сомнения, это была одна из таких 'диспозишен', какую составили союзники в декабре 1805 под Аустерлицем. Стоило двинуться вперед дивизии Фриана, как вся позиция была раздавлена словно песочная крепость.

Познаньская молодежь находила, что 'женераль' (франц.) совершенно напрасно надувается надменностью и спокойно может потерпеть своим Le Plan.

В кружке Шварца состоялся заговор. Характер Гофмана всегда порывался проявить себя в анархическом бунте, стихийном восстании, сатирическом штурме - при первом же подвернувшемся поводе - с первым же попавшимся под руку предметом... Ах, дразните штандартом бюргерства - штанами?! Вот вам...! Ночным горшком! Получайте! ...На сей раз ему попался генерал. ...Генерал?! Пусть будет генерал! Вручить ему полковой самовар!

В карнавальную толпу запустили карикатуры.

'Когда кто-нибудь в одном углу смеялся и разъяснял смысл рисунка окружающим, он и не подозревал, чтобы в другом углу точно так же смеялись над ним самим'. Парадокс всеобщего смеха. Всемирной комедии.

'Один вполне достойный человек, которому местные сплетни приписывали противоестественную привязанность к своему егерю, был изображен с удивительным сходством, в натуральную величину, целующим ему руку. Двое молодых поляков, ведущих довольно разгульный образ жизни, мчались наперегонки, как на скачках, к конечной цели, тюрьме; толпа евреев, стоявших возле тюрьмы, кричала: 'Оны вже едуты!'. ...Господин, сразу узнаваемый благодаря сходству, изображен был в момент, когда пытался натянуть парик на свою лысую голову. Лысый череп был разделен на несколько участков, где обозначены были самые гнусные пороки. Подпись гласила: 'Newton couvrant ces plattitudes'. ...Сам генерал в мундире изображен был полковым барабанщиком; только вместо барабана на нем висел самовар, по которому генерал барабанил двумя чайными ложками: 'К чаю! К чаю!'. ...Двое помещиков, не имевших средств оплатить наемный экипаж, но желавших с шиком появиться на балу, наняли инвалида, который тащил их на плечах в корзине. Некий лейтенант, известный всем как заядлый картежник, представлен был в виде пикового валета, да еще с такой достоверностью, что тут же стал всеобщим посмешищем. Горняк, держа перед собой раскрытый нотный лист, вел под руку жену; в корзине у него сидел петух, который клевал жену в нарядный гребень; все в этой картине жило и не требовало пояснений'.

Корзины, петухи, шпоры... Все это должно было произвести переполох в курятнике! И произвело!!! Да какой!..

Багровый генерал смял карикатуру с самоваром... Потребовал поймать!!!

Поймать на маскараде...!!! На завтра розыгрыш продолжался.

Смутяны расклеили афиши, что смутьянов разыскивает полиция. Генерал кипел. Карнавал продолжался.

Раскипавшийся генерал предчувствовал, если... (взорвется...). Вновь появились художники. Их заметили.

Но они нырнули в круговорот, затерялись в толпе со своими папками... Генерал не выдержал... Его превосходительство было поражено в самых драгоценных чувствах, в самую середину! Карикатуристы издевательски сатирически смеялись, а он не мог выстрелить в них из пушки! Свирепый кабан не может уснуть, генерал тоже. Разъяренный, за полночь влетел он в кабинет, сел и настроил рапорт в Берлин. Немедленно со срочной депешью во тьме во весь опор поскакал гонец. Бунт! У пехотного генерала на карнавале разразился мятеж! Карнавал грозил перейти в революцию, выйти из берегов, затопить все! Захватить пушки!

Фонгенерал указывал в донесении на государственного советника Шварца: несомненно, повинен в причастности к заговору, ежели не в самом прямом подстрекательстве на подрыв авторитета властей и крайне невернопопданное ехидство.

Самое поразительное, в Берлине эту взревшую спесивую глупость приняли всерьез.

Иоганн-Готфрид Гердер за несколько десятилетий до этого написал: 'Государство - машина, а машина лишена разума'.

Над карнавалом учинили следствие, хотя никто не был убит, побит и даже помят.

Следствие по всем правилам, но без пыток. Великий король Фридрих II, хотя слыл философом, отменил... несколько поспешно и опрометчиво.

Свидетельские показания. Допросы подозреваемых в ваянии дурака.

Сатирический бунт был подавлен.

Последовали административные взыскания по службе.

Назначение Гофмана в окружное управление было отменено. Его перевели государственным советником в маленький Плоцк среди болот и лесов.

Словно он совершил должностное преступление.

О скандальном происшествии кудяхтала вся благонамеренная Германия.

Гофманова родня с прискорбием вынуждена была признать, что в почтенном роду юристов завелся сатир.

Клоун в мундире государственного советника.

Гофман написал дяде Иоганну-Людвигу смиренное, почтительное, рассудительное, основательное письмо, излагая убедительные доводы, принуждавшие его расторгнуть помолвку; доводов было много, и все были поданы в пристойной форме. Старинная дилемма долга и нежного чувства разрешилась не в классической манере, а в романтической. Наступили иные времена.

Миша переехала к нему жить. НАЧАЛСЯ ПРЕДСВАДЕБНЫЙ МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ ЯКОБУСА ШНЕЛЬПФЕЙФЕРА; как хотел он назвать свой роман о веселой жизни с Мишей.

Гофман принял католичество. В июле, повенчавшись в католическом храме (хоть в магометанском! Мише пошли бы шальвары!) Гофманы поехали в ссылку...

Глава пятая

Административная ссылка

Не выходите ночью на болота...

Артур Конан Дойл

...Хорошо, что с ним была Миша. Страшно было попасть в такую глушь одному.

Страх превратился в напряженную тревогу, навязчивую заботу, как выбраться из болотистого непролазного глухого лесного края; здесь были дебри и топи... На краю света...

Ощущалась такая заброшенность, что ночами охватывало уныние и жуть; ночь казалась первобытной, беспредельной, поглощающей даже искру... Объятия Миши тоже были первобытны и дики... но давали забвение...

В Берлине есть достойные, умные, вполне порядочные, приличные люди. Они способны правильно понять ситуацию, им чужда верноподданническая низменность убогих подлых душ, которые готовы затравить, изничтожить беззащитного человека. Должны помочь...

Надо написать Хиппелю, попытаться... молчание затянулось... У него есть связи...

Да, да! Необходимо действовать по всем направлениям: писать, напоминать, просить!

Хотя очень неприятно. Виноватый на ломаный грош должен выкладывать оправданий на сто рейхсталеров, доказывая необходимость помилования.

Помимо того, ведь это испытание на прочность отношений; самой веры в человеческую порядочность. Не побоится ли человек вступить за беднягу, оказавшегося в немилости у властей? Достанет ли на это смелости, самоуважения, благородства у его знакомых?

Не махнет ли на него рукой Хиппель? Во мнении родственников Эрнст докатился... А Хиппель признает и разделяет бюргерскую мораль...

Гофман хорошо знал бюргерские нравы: нарушен долг благодарности... Кто-то нравится ему больше... Но семейный очаг можно завести с любой хорошей женщиной, а если у тебя долг, здесь уже не к чему рассуждать; главное, чтобы она знала свой долг супруги и матери.

Судили его наверно и похуже, будучи неспособными представить и попытаться вникнуть в то, что есть более сложные, непрозаические люди, внутренняя суть которых не приемлет тусклый, размеренно однообразный быт.

Едва приехал, и взывать о помощи? Он не мог. Но неудобно было также после долгого молчания подавать знать о себе, словно ему лишь в тяжелой ситуации понадобился Хиппель. Ведь он собирался написать независимо ни от чего. Необходимо было выдержать время и такт. После нового года написал в виде осторожного вопроса: мол, как ты там? Ничего не сообщая... И только когда получил дружественное письмо, расписался подробно.

25 января 1803. 'Я хотел забыться и стал одним из тех, кого директора школ, проповедники, дядюшки и тетушки называют непутевыми. ...Я жил... среди чрезвычайно веселого братства; последние сверкающие молнии, которые мы метали, оказались столь гениальными придумками, что опалили волосы и бороды обидчивым людям, коих мы напрасно сочли безобидными. Они взъярились и позаимствовали на берлинском Олимпе такие ответные молнии, что ныне и зашвырнули меня сюда. Здесь умирает всякая радость, здесь я погребен заживо'.

Гофман круто заварил кашу. Хиппель взял большую ложку и провернул эту арестантскую 'керзу'. Принялся помогать расхлебывать...

Веселья здесь было мало. Сослуживцы дюжинные незамысловатые люди, 'погрязшие в тине пошлости', не помышлявшие об ином, не придававшие особенного значения 'глуши, исподволь опустошающей душу'.

Но Плоцк был древен, со значением. Здесь находился епископский дворец. В нем заседали судебные палаты. Сюда Гофман ходил на службу.

Некий немецкий чиновник в описании Плоцка выражал здоровый оптимизм. Несмотря на неудобства, местность эту следует осваивать. '...Здесь должна быть резиденция обеих судебных палат, здесь много богатых доходных мест и расквартирован также стрелковый батальон Хинрихса, на строительство гарнизона которого израсходованы немалые суммы'.

Гофман, как человек более изысканного духовного склада, вовсе не испытывал административного восторга оттого, что ему придется осваивать эту местность, из-за немалых израсходованных сумм на немецкие судебные палаты и славный батальон Хинрихса: чтобы из-за этакого вздора здесь была загублена его молодость...

В повадке судьбы появились приятные обнадеживающие признаки. Родственники не отреклись от него даже в сомнительной неловкой ситуации. Ему написал кузен Эрнст-Людвиг-Гартман. В дальнейшем он стал снабжать его новейшими журналами, пересылая их из Берлина ему на болота.

Из журнала он узнал о конкурсе на лучшую пьесу, что подвигло его на сочинение комедии 'Награда'. В сентябре 1803 он послал ее жюри, возглавляемому известным драматургом Августом фон Коцебу. Ее нашли остроумной, но денежной награды она не получила.

Стиль Гофмана к тому времени стал сильнее, прямее, мужественнее, свободнее; элегантно - не значит извилисто, витиевато...

В письме на конкурс он писал: 'Автор прилагаемой комедии 'Награда' выбрал среди множества сюжетов, являвшихся ему, простейший; его разработка и обусловила изначально несложные характеры персонажей. Удалось ли автору, тем не менее, сделать целое интересным, сей вопрос предстоит решить ареопагу... Если же все произведение сочтут орфографической ошибкой, автор посвящает его тому из членов ареопага, кто носит локоны или завивает волосы - бумага для этого достаточно хороша и мягка'.

Гофман начал делать записи ночами, завел дневник... дневник? ... Поразительные ноктюрны: ничего подобного по духовной подлинности, огненности, немецкая литература не знала...

Началу ноктюрнов предшествовали таинственные обстоятельства. Незадолго перед тем их с Мишей разбудил грохот: громкий требовательный стук в дверь... Они замерли, стук не повторился. Стало тихо. Наверно заблудившийся пьяный бродяга перепутал...

Спустя несколько дней из Берлина пришло письмо с черной сургучной печатью. Кузен сообщал, что дядюшка Иоганн-Людвиг скончался от воспаления легких в ночь на 25 сентября, как раз тогда...

Доконал!!!!

Вместе с горечью и сожалением мистический страх охватил Гофмана. Миша высказала совершенно естественную мысль, что той ночью дядюшка приходил проститься...

Гофман решил проявить мужество и не поддаваться малодушию; начал записи, как наметил, 1 октября. 'Слезы не хлынули у меня из глаз, я не кричал от ужаса и боли, однако облик человека, которого я почитал и любил, неотступно стоит перед моим внутренним взором, и видение не покидает меня. Целый день душа моя в смятении, нервы настолько напряжены, что я при малейшем шорохе вздрагиваю'. Ночь. Вот он один за письменным столом. Миша спит. Со всех сторон обступает мрак...

'Боже милостивый, почему именно дядюшка должен был умереть в Берлине, почему не...'. Сэр? Никемный горе-дядя!..

Дядюшка приходил проститься...

Грохнул как следует в дверь, от души... Чтобы напомнить кое-то дорогому племянничку...

'Впрочем, дела мои, кажется, устраиваются неплохо. Шметтау очень обнадежил меня насчет возможного перевода'.

Невзирая, что ходят здесь всякие и грохают в двери...

'Мало радости, однако, видел старик; трудами он довел себя до смерти; такова была расплата за долголетнюю службу; о, ремесло юриста сопряжено с большими неприятностями: чем старше становишься, тем больше появляется работы, совсем как у Уленшпигеля'.

Назавтра, раздраженно взвинченный, озабоченный сверх необыкновенного, Гофман кинулся тормошить причастных, введенных в курс его дела...

'Днем у Гильтебрандта (Иоганн-Фердинанд, старший советник юстиции - авт.), много говорили о переводе - он настаивает, что это нужно держать в тайне!'

Гофман впрямь как ребенок: ну, конечно же в тайне! Гильтебрандт видит, как он мается, не находит себе места, ищет спасения в разговорах, надеясь успокоиться, ослабить напряжение... Нельзя поддаваться малодушию. Надо взять себя в руки: вот так! Вот так взять себя в руки! 'После обеда написал кузену и Фоке (Иоганн-Дитрих, советник канцлера - авт.) грустное и смиренное письмо...'

Гофману приходит в голову сделать автомат и странные мысли по этому поводу... автоматизм и легкость переключения в разные состояния: художника и рассудочного чиновника... словно в нем сосуществуют два совершенно разных существа... независимые...

'Еще одна отличная мысль! С моими музыкальными идеями обстоит так же, как с идеями флорентийского мученика Савонароллы, историю которого я читаю... Сначала в голове творится нечто невообразимое, затем я принимаюсь поститься и молиться, значит, оказываюсь за роялем, закрываю глаза, отгоняю от себя все пустые мысли и пытаюсь воспроизвести музыкальные фразы, звучащие в сознании; вскоре тема звучит отлично, я подхватываю и записываю ее, словно Савонаролла свои проповеди. Неужели другие композиторы творят так же? Вот чего никогда не узнает государственный советник в Плоцке!'. Ночное полное переключение; он словно призрак...

Написал Хиппелю. 'Ты пишешь, что бродишь среди низкорослого кустарника, так что приходится склоняться к нему; я здесь брожу по болоту среди низких колючих кустов, до крови терзающих ноги. В приличном обществе я не могу появиться, пока не отмоюсь основательно после болота, в котором даже брюки промокают - это отвратительно! Можешь представить, каких усилий стоит не провалиться туда совсем!'

После письма Хиппелю запись поздно ночью. 'Жалкий во всех отношениях день... Работал как лошадь, рылся в пыльных актах... Когда я вновь увижу Тебя, Твое бледное лицо? Когда я буду снова слушать, как Ты играешь с глубоким чувством, добряк Хампе!? Клянусь небом, я так утомлен! Стал таким прозаичным из-за проклятых актов! Я не смог бы сегодня набросать и вальса!'

Гофман каждый день ждал почту... 'Снова почтовый день и снова - ничего! Ничего! ... Я сегодня так не в духе,

так раздосадован, что мне ничего не удастся!'.
9.10. вс 'Черный день. Работал до 12 часов ночи'.

17.10. 'Работал целый день. Увы! Я все более превращаюсь в истинного государственного советника. Кто мог предположить это три года назад? Муза ускользает; архивная пыль застит взгляд на мир, делает его мрачным и пасмурным! ...Дневник становится любопытным, ибо он свидетельствует жалкого состояния, в которое я здесь погружаюсь. Где мои высокие намерения! Где мои прекрасные идеи в искусстве?'

Гофман настолько подавлен, что не в силах писать. 18 - 25 помечено латинским *Dies tristes et miserabiles*, печальные и скорбные дни...

Но затем внезапно Гофман получил журнал Коцебу 'Независимый', редактор напечатал его опыт, безымянную статью 'Письмо монаха своему столичному другу'.

'...Раз двадцать окидывал листок умиленным полным отцовской любви и гордости взглядом. Славное начало литературной карьеры! Теперь нужно создать что-нибудь очень остроумное!'.
Но вновь длинной вереницей проходили ничтожные дни бумажного человека, изводящего чернила на юридической каторге...

18.10. 'Я остаюсь прозябать... я забыть'.

Ночные записи были надолго заброшены. Но в декабре появилось продвижение в его деле, предлагали Варшаву.

Последняя запись в прерванных ноктурнах была 'А теперь я хочу написать книгу!'; возобновил спустя полтора месяца продолжением этой фразы: '...о пестром мире, заключенном в моей черепной коробке... ...Кирхгейм, Гильдебрандт и Ланге были здесь. Все трое готовы были ринуться в огненную печь попойки в Редутном зале! Они звали меня с собой! Боже сохрани и помилуй! Мои способности саламандры имеют пределы'. Огненной саламандры...

Но после он все же изрядно выпил, шесть часов просидев '...в 'Новой Ресурсе' - с Бахманом и Ланге распили епископского (Вильгельм-Людвиг фон Бахман, правительственный советник, старше на десять лет, и Генрих-Фридрих Ланге, правительственный советник, ровесник. - авт.). Ужасное напряжение вечера; накатывает страх смерти... двойник...'. В воображении разверзалась бездна...

Оправился и - снова в 'Ресурсе' ...и снова пил... 'Вечером в 'Ресурсе' с Бахманом и Гильдебрандтом ел икру, а с Ланге пил епископское. Очень смешно было слушать проекты законов. Большой медведь (председатель палаты Бейер, по-немецки фамилия созвучна слову медведь. - авт.) высказывал свои пожелания с таким выражением лица и таким тоном, что смысл слова 'пожелание' сразу был ясен: 'Я большой медведь, и кто не хочет испытать на себе, сколь тяжелы мои лапы, пусть спешит выполнить мои приказания' '.

Гофман не очень был доволен сослуживцами. А 'дюжинные люди', надо сказать, его уважали: то и дело был приглашаем ими на обед... пожилые уважаемые чиновники, военный советник Хакебек, правительственный советник Рейхенберг...

По поводу наследства тетушки он поехал в Кенигсберг.

Он редко вспоминал Доротеею, и был в неведении... подруга его юности умерла молодой в 1803 году... Гофман пошел на заснеженное кладбище...

В вопросе наследства ничего переменить было нельзя; деньги были завещаны ему, но он не имел права пользоваться ими; с этой суммы дяде Отто до конца жизни полагалась рента.

В Плоцк он не спешил, проводил время в театре. Однажды вечером распили бутылку липари с дядюшкой и были в хорошем настроении.

Спектакли были скучны; рисовал карикатуры.

11 февраля записал: 'Dito (то же. - лат.) - Чертовская Еппи! (скука, досада. - франц.). Сражаться весь вечер с проповедницей Олех! С ума можно сойти от досады!'. Знаменательный диспут по трансцендентным вопросам...

Назавтра стало известно, что умер профессор Кант.

Гофман вскоре покинул Кенигсберг, выяснилось - навсегда...

На какой-то станции очень рано утром, в темноте, его ждали лошади Хиппеля и доставили в поместье Лейстенау; покуда он там гостил, король подписал приказ о переводе...

Мелочи куда-то отделились; вокруг мерцал и сверкал мир, полный магических явлений...

Глава шестая

Романтическое время

Из Варшавы Гофман прислал Хиппелю великолепный литературный набросок, эссе, в мае 1804 года, начало описывало март.

'Я прибыл... поднялся на третий этаж палатки на Фретагассе, 278, обнаружил там любезного начальника председателя, который задирает нос всего на 1/8 дюйма над горизонтом и имеет три ордена, и еще целую свору коллег; так что нынче я корплю над докладами и донесениями.

В Варшаве необычайно многолюдно, особенно на Фретагассе, где всюду процветает торговля мукой, крупами, хлебом и овощами.

Вчера, на Вознесение, я собрался было сделать что-нибудь для души, отбросил прочь бумаги, уселся за фортепьяно, чтобы сочинить сонату, но вскоре оказался в положении 'Взбешенного музыканта' Хогарта!

Прямо под моим окном возник какой-то спор между тремя продавцами муки, двумя ломовыми извозчиками и слугой лодочника; все спорщики произносили свои тирады на редкость ожесточенно, вызывая к справедливому суду мелочного торговца, лавка которого располагалась тут же внизу, в подвале. В это время как раз ударили колокола приходской церкви, затем в церкви беннонитов, потом у доминиканцев - все поблизости от дома. На кладбище у доминиканцев... ...Какие-то исполненные надежд конфирматы изо всех сил колотили в литавры, отчего по зову могучего инстинкта залаляли и завывали собаки во всей округе; в это время весело подъехал вольтижер Вамбах в сопровождении янычарской музыки, а ему навстречу с другой стороны устремилось стадо свиней. Невероятная кутерьма посреди улицы - семерых свиней переехали! Сплошной визг! О! О! Кто придумал это tutti для мучения нас,

проклятых! Отбросив бумагу и перо, я натянул сапоги и кинулся прочь из безумного хаоса - через Краковское предместье...

Как мне живется в Варшаве, спрашиваешь ты, дорогой друг? Пестрый мир! Чересчур шумный, сумасбродный, нелепый - и все вперемешку'.

Гофман не стремился на службе ни с кем сблизиться. Историю с карикатурами помнили. Если бы кто-нибудь и захотел с ним поговорить, препятствием тому были его колючие глаза и резкие черты лица. Хотя он выглядел вполне по-свойски, по-немецки, в нем было нечто трудноопределимое, заставлявшее думать об эксцентричности, особенной внутренней жизни. Месяца через два он заметил появление в управлении нового лица: некто Хитциг, берлинец, образованный молодой еврей. Хитцигу нравились люди вроде Гофмана, он интересовался литературой. Необычность, явная одаренность Гофмана привлекли его внимание. Однажды после заседания они вышли вместе. Гофман был устал и мрачен, но чтобы поддержать разговор, спросил мнение Юлиуса об одном из коллег. Хитциг сказал: 'Скучен, как мерный аршин'. Позже он писал: '...И едва я произнес эти слова, как мрачное... лицо Гофмана оживилось, а сухие односложные реплики превратились в весьма добродушный диалог'.

Хитциг был в курсе нового романтического течения в литературе; слушал лекции Августа Шлегеля, теоретика 'школы'; познакомил Гофмана с опытами Вакенродера, пьесами Людвиг Тика, переводами Кальдерона, сделанными Фридрихом Шлегелем.

Гофман не был охотник до отвлеченных рассуждений туманного теоретизирования, но романтическое направление ставило художника главным героем на сцене искусств...

Внутренний мир гения в столкновении с прозаической реальностью пошлой пользы самоутверждался на превосходстве мечты, таинственности, дерзания мысли...

Романтизм сложился из противоречивых сложных влияний и стремлений.

Вначале просвещение и революции дали импульс великим надеждам. Началом независимой индивидуальности.

Произошло... неимоверное...

...Независимая индивидуальность размножилась, как мыши, и кишела серостью.

Поверхностность, пошлость, невзыскательные вкусы подняли невероятную возню.

Художественный и интеллектуальный уровень понизился. Вместо истинного призвания - позывы выплеснуть из глубин души бесформенную кляксу.

Если в 1750 году в Германии было напечатано 28 романов, то с 1790 до конца столетия... 2500!!! Причем, из всей литературной продукции достойно внимания было лишь одно произведение: написанный в Голландии и России по-французски роман, впервые напечатанный именно в немецком переводе... 'Жак фаталист', 1792. Дени Дидро. Тот самый великий энциклопедист. Старая гвардия.

Было от чего впасть в уныние интеллектуалам не только в Германии.

Истинный художник, в принципе, всякий интеллектуал, должен был искать внутреннюю опору в верности великим задачам, а не в свободе печати, принявшей весьма нелепые формы.

Общество представлялось налетом условностей, едва скрывая мутное брожение инстинктов. Человеческая среда обитания с ее посредственным обиходом была лишь досадной помехой и заслуживала лишь презрения.

Романтизм есть самосознание осажденной крепости. В этой основной форме настроение начало складываться прежде революции. Вот записки некоего романтика из Франции, совершенно не ведавшего, что он романтик.

'Всегда одинокий среди людей, я возвращаюсь к своим мечтам только наедине с самим собой. ...Что делать в этом мире? Если я должен умереть, то не лучше ли самому убить себя? Если бы я уже перешагнул за 60 лет, я бы уважал предрассудки людей и терпеливо предоставил все естественному ходу. Но так как я только начинаю постигать несчастье, и ничто не приносит мне радости, зачем переносить мне долгие годы, не сулящие ничего доброго? О, как люди далеки от природы! Как они трусливы, подлы, раболепны! ... Жизнь для меня лишь груз, потому что ничто не доставляет радости и все мне в тягость. Она для меня ноша, потому что люди, с которыми я живу, и с которыми, вероятно, должен жить всегда, нравственно столь же далеки от меня, как свет луны от света солнца'.

Автор? Наполеоне ди Буонапарте, из бедной дворянской семьи, лейтенант артиллерии.

Разумеется, он несколько преувеличивал, сгущал краски. Командир артиллерийского полка и начальник артиллерийской школы барон Жан-Пьер дю Тейль очень ценил молодого офицера. Как выяснилось, не напрасно.

В период распада феодального строя появилось немало хорошо образованных, одаренных молодых людей, без привилегий и наследственных имений, не имевших возможности проявить себя.

Вот источник тоски, питавшей романтизм. Не признанная гениальность.

В сословно разграниченном обществе единственный путь открывался в литературу.

Буонапарт хотел стать писателем. Если бы не революция... И революция, и естествознание, философский рационализм, и романтизм - все было следствием, производными единой исторической ситуации; направления освобождения разума, способностей, всякой изобретательности из сковывающих сословных ограничений и диктата религиозной догматики.

Вначале философский рационализм добился независимости. В борьбе против навязываемой ему власти богословия. На основе понятия 'двух истин'. Невмешательства словесного риторического мышления в строгую и точную логику науки. Была проведена разделяющая граница. Заговаривание, заклинание непонятого неспособными логически мыслить, но желающими повелевать науками, было признано глупостью.

Естествознание само себе философия. Некомпетентные командиры, несведущие, с сумасбродными притязаниями, пусть не беспокоятся. Разум, составляющий достоинство человека, способность, выделяющая его из животных, получил возможность развертывания смысла на своей собственной основе: логике.

Настало время искусства заявить то же самое. Прочно утвердиться на независимой собственной основе, воображаемой сцене.

Сущность искусства - театр.

Предоставьте гения абсолютно свободной игре художественных стихий в его внутреннем мире, драматических масок, разыгрывающих спектакль бытия.

Единственные законы искусства - интуиция формы, стремление к прекрасному, тоска по бесконечному, порыв к великому, таинственному.

Попыткой самоутверждения искусства в виде права гения на художественную игру, заявлением серьезности этой игры и был романтизм.

Противоречивость, разорванность, метания романтиков запечатали сложность задачи.

Поскольку теоретические попытки были невняты, единственным способом заставить серьезно относиться к гению мечтателю мог быть только гениальный спектакль. И наш герой создал наиболее впечатляющий спектакль в 'Фантастических пьесах'.

Логичный и закономерный результат. Искусство могло самоутвердиться на своей собственной основе только средствами искусства; не позаимствованными в иных областях способами постижения смысла бытия.

Пытаясь сопротивляться неприятным впечатлениям внешней реальности, романтики перенесли мечту в ретро, придали таинственному средневековые, готические черты. Программы ретро быстро себя исчерпывают...

Времена обывательской пользы значительно проигрывали в сравнении со взлетами готического искусства. Генрих Гейне писал: 'Когда смотришь на эти готические соборы с внешней стороны, на эти громадные сооружения, такие воздушные, такие легкие, изящные, прозрачные, будто вырезанные из бумаги, будто какие-то брабантские кружева из мрамора, тогда еще сильнее ощущаешь всю мощь этого времени, сумевшего даже камнем овладеть настолько, что он является нам почти в призрачном одухотворении...'

Но сведение романтизма к ретро-готике породило нелепости. В статье 1836 'Романтическая школа' Гейне подверг попытки романтической ностальгии сокрушительному разгрому. Гейне забил сатирические гвозди в черный гроб романтизма и с издевательским хохотом его закопал.

Романтизм к тому времени достиг такого состояния, что вполне заслуживал 'хорохор...'

Романтические витии оказались не на высоте задачи; чем они гордились, позировали - отрешенная высокопарная философичность, отвлеченное расплывчатое теоретизирование выразились лишь в бессвязной риторике, в беспомощных притязаниях сказать нечто значительное. Публику томили и не высказывали ничего внятного; так что публика пришла к справедливому выводу, что в текстах есть лишь некое томление мыслью, но не мысль.

Витии не имели достаточной интеллектуальной силы. Задача была им непосильной. Йенские теоретики, за ними Гейдельбергские и прочие не были в состоянии достойно ответить на вызов времени, завели литературу в мистические лабиринты. Достойное истинного художника решение должно было быть гениальным и сильным. Им не хватало ни характера, ни интуитивной проницательности.

Нужен был шедевр, гениальное представление художественной силы. Яркое доказательство автономности искусства, несводимости его иным формам понимания. Самоутверждение в независимости, смелое, новаторское.

Но никак не томление мысли, позерство намерениями, ретро-стилизация готики, погружение в меланхолию, мистицизм. Решающее значение имела мера одаренности: интеллектом, логической проницательностью, художественными способностями, темпераментом, страстью. Здесь по всем параметрам наблюдался минор.

Фоном всему были политико-экономические порядки Германии, затхлая феодальная атмосфера, в коей мысль была скована религиозно-схоластической ученостью, традициями темнословия, враждебными логической ясности, познавательной смелости. Рассуждения вязли в многосмысленной недосказанности словно в болоте.

Немецкие романтики скрылись в себе, как улитка. Их интересовал лишь их внутренний мир. Смысл жизни сводился к исканиям индивидуальности в собственных глубинах. В ней 'весь пафос земного', вся 'острота жизни', писал романтический философ Шеллинг. Новалис: 'Мы не знаем глубин нашего духа. Именно туда ведет таинственный путь. В нас самих или нигде заключена вечность с ее мирами... Внешний мир есть мир теней'.

Вполне в немецком духе, который в тот исторический момент не мог быть ничем иным, как философскими туманностями идеализма, на достаточном мечтательно меланхолически музыкальном основании.

Разлагающиеся формы старого феодального строя принимали призрачные очертания, переходя временами в фантазмагорию, стиравшую грань возможного и невозможного, делавшую неразличимыми бредовую бессмысленность и естественный порядок; что заставляло в самом деле усомниться, не иллюзия ли мир, не сновидение ли сумасшедшего...? Старая идея, знакомая со времен кризисной эпохи барокко, политической реакции, разлагающейся схоластики, когда человек тоже почувствовал себя игрушкой социального хаоса, смысловых наваждений, а естественный порядок вещей безосновательным и страшным...

Искали опору в абстрактных рассудочных построениях. По поводу чего Гейне остроумно заметил: '...На пути философии господин Шеллинг не мог продвинуться дальше Спинозы... Но здесь господин Шеллинг расстается с философским путем и стремится посредством некоей мистической интуиции достигнуть созерцания самого абсолюта; он стремится созерцать его в его средоточии, в его существе, где нет ничего идеального и нет ничего реального - ни мысли, ни протяженности, ни субъекта, ни объекта, ни духа, ни материи, а есть... кто его знает что! Здесь кончается у господина Шеллинга философия и начинается поэзия, я хочу сказать - глупость. Но здесь-то он и встречает наиболее громкий отклик у толпы пустомель...'

В туманной философической мечтательности, отвлеченной витийствующей идеалистичности, питаемой вдохновенной экзатичностью, Гейне видел источник немецкого идеализма. Мы, немцы, писал он, слишком серьезны, '...даже черви, пожирающие нас, впадают в меланхолию'.

Слишком серьезно относились немецкие романтики к расплывчатому вдохновению смысловыми туманностями, энтузиазму одухотворенности, высшему духовному избранничеству, владея лишь химерами смысла...

Романтический натурфилософ Шеллинг, некоторое время друживший с Гегелем, делившийся с ним духовностью, в один прекрасный момент вдруг обнаружил, что этот выпивоха Гегель, темный теолог, построил из этого систему абсолютного духа.

Выразив протест, он оказался в нелепом положении человека, который понял, что он хотел сказать, лишь когда это сказал другой.

Как же так, ведь он чувствовал внутри себя такое избранничество, такую духовную исключительность, до которой Гегелю куда как далеко! И вот, поди ж ты!... какой-то Гегель... всеевропейское влияние...

'Нет ничего смешнее прав собственности на идеи. - острил Гейне. - Конечно, Гегель воспользовался очень многими шеллинговскими идеями для своей философии; но господин Шеллинг никогда не знал бы, что с ними делать, с этими идеями. Он всегда только философствовал, но никогда не мог создать философию'.

Йенские романтики были не столь глубоки, как Шеллинг. Потуги на духовное избранничество порождали нередко плоскоумие и банальности, выраженные притязательно. Многозначительными метафорами и раздутыми аллегориями наполнялась пустота. Некоторые из них притязали на глубину, коей безусловно не чувствовали.

Людвиг Тик принимал растроганность за вдохновение. С подобными подходами вполне можно было спутать меланхолию и мистицизм.

Фридрих Шлегель торжественно провозглашал революцию духа, но величие позы немедленно портил несколько инфантильный жест, хватающийся за 'волшебную палочку философии', прикосновением коей естествознание должно было бы проникнуться идеализмом (и что с ним тогда делать..?), то есть квазинаучной заумью...

Жаркие лучи политической революции и острый галльский смысл преломились в немецком тумане в сумбурные порывы и смутные сияния.

Немецкое бунтарство выразилось в том, что некоторые из романтиков перешли из протестантизма в католицизм; он более располагал к мистическому воспарению духа. Форма бунтарства была призрачной, в ней не было главного элемента – свободы. В пределах политической отсталости Германии, не имея возможности совершить реальную политическую революцию, немецкая свобода замкнулась в сфере идеологической и здесь стала пленницей реакционных отсталых представлений, религиозного невнятного смысла.

Немецкий интеллектуальный индивидуализм, не понятый никем в своих возвышенных стремлениях, постиг трагическую обреченность художника на одиночество. И замкнулся в мире собственной фантазии. Погрузился внутрь себя. В глубины своей ночи. Несчастный, полный мятежной тоски, побрел в подземельях мрачного замка. Отвергнув пошлый мир бюргерской пользы и расчета, предался мистическому порыву, бесконечности, возвышенному, небывалому, странным болезненным мечтаниям, героизму отчаяния, надрыву...

Гейне писал: '...И вот в Германии начался расцвет этих крикливо набожных, глуповато глубокомысленных драм, где мистически влюблялись, как в 'Поклонении кресту', или сражались во славу богоматери, как в 'Стойком принце'. Захария Вернер зашел в этом деле так далеко, как только можно, не подвергаясь опасности угодить по приказу начальства в сумасшедший дом'.

Романтикам удалось создать моду на 'бредовые бездны средневековой мистики'.

Настоящая глубина, прозрачная, здесь не просматривалась.

Слишком много было именно внешнего, признаков моды: манерности, самолюбования, позы, напыщенного пустозвонства. Нагромождались безвкусные нелепости ради того, чтобы поразить и потрясти публику.

Болезненная реакция разрыва с реальностью могла породить лишь болезненные кризисные явления.

Революционный индивидуализм выражается в анархизме. Романтизм выразился в инфантильном бунте против науки и рационализма.

В запальчивости было заявлено: истинный поэт всеведущ, ничего не изучая; знает о вселенной более, чем научный разум. Как возможно такое? Благодаря экстазису... Боговдохновенный энтузиаст. На него нисходят наития. Откровения. Все как бы в беспамятстве... И вот он уже все постиг...

Романтики представляли все это невнятно, но сомнений не испытывали в верности наитий насчет истоков художественной силы. Восторженность заведет куда надо! Главное верить сокровенному чувству, как верит в истинность сокровенного невежественный дикарь.

Хуже всего, йенские теоретики полагали экстатические состояния практически единственными необходимыми художнику. Неверные представление определили бедность эстетической программы, задание сводилось к изображению возвышенного. 'В романе... каждое слово непременно должно быть поэтическим. Никакой низкой природы...'

Проза должна была быть, согласно их мысли, настолько прекрасной, настолько избавленной от всего низкого, что ей дозволялось принять лишь форму сказки. В добавление ко всему, 'сказка подобна сновидению, она бессвязна'. Надо полагать потому что истинно возвышенный художник творит в беспамятстве...

Не надо напрягаться даже насчет связанности произведения... Решительно, это была программа двоечников, завязятых дилетантов, прикрывавших прекрасными намерениями нежелание сосредоточиться...

В результате из эдакой установки следовали прекрасные бессвязные грезы. И если не совсем бессвязные, то настолько 'прекрасные', что возникало впечатление надуманности, натянутости, искусственности, эфемерности, бледности, блеклости, вялости. Нечто едва живое, готовое превратиться в призрак, в сказку.

Иоганн-Пауль Рихтер в своей 'Эстетике' сказал по этому поводу: 'художник, не знающий правил, рисующий эфир эфиром по эфиру'.

В это время немецкий романтизм клонился уже к упадку, Гофман только начинал...

Гофмана из йенских мыслей заинтересовала 'романтическая ирония'.

'Самая свободная из всех вольностей'; яснее Фридрих Шлегель выразиться не смог.

Интуитивно здесь схвачена игровая природа искусства. Но, видимо, лишь Новалис приблизился к пониманию, из чего возникает игровой импульс. Из реакции художника на бесконечность смыслов. На невозможность рассудочно охватить вселенную во всех подробностях. Любое понятие - 'иррациональная величина, не поддающаяся фиксации; несоизмеримая'.

Но художник ощущает в собственной душе полноту бытия и невыразимость одновременно. И предается игре полноты с невыразимостью. В этой игре смыслы сами раскрываются, и эти открытия похожи на приключения.

Интуитивно это постигал и Гофман на основе собственного опыта, но по характеру он был склонен к едкой романтической иронии. В ней парадоксально сочетался порыв возвышенной мечтательности и издевательский сарказм над извечной пошлостью естественного хода вещей, заведенным 'мировым порядком'.

Осенью того года, когда Гофман приехал в Варшаву в 'Журнале новых немецких оригинальных романов' была напечатана повесть 'Ночные бдения Бонавентуры'.

Повесть была превосходная, но кто был автор? Есть серьезные основания предполагать, что именно Гофман и был им.

Есть разные мнения на сей счет. На поверхностный взгляд, написал ее Шеллинг. Некоторые свои стихи того периода он подписывал 'Бонавентура'. Филологи, однако, находят, что повесть написана иной рукой.

Остались три наиболее вероятных автора: Клеменс Брентано, Фридрих-Готлоб Ветцель, умерший в Бамберге сорока лет в 1819 г., и Э.-Т.-А.Гофман. Все они замечены в писании сатирических произведений.

В немецком романтизме наполеоновского времени 'Ночные бдения Бонавентуры' самое остроумное.

Логично предполагать: кто наиболее интенсивно проявил себя в этом плане, тот с наибольшей вероятностью и автор.

Все же более надежно предпочесть Гофмана, чем Брентано, написавшего пьесу 'Веселые музыканты' и сатиру 'Филистер в доисторическую, постисторическую и историческую эпохи', и чем Ветцеля, писавшего юмористические стихи; их трудно уравнивать в правах с несравненно более интенсивным в сатирическом плане Гофманом.

В его произведениях юмористическое остроумие, сатира, гипербола, фарс проявляют себя в изобилии, мощно, следовательно и вероятность повторения художественной модели более вероятна.

Если игнорировать Гофмана, то почему к Брентано и Ветцелю не добавить В. Фон Бломберга, напечатавшего пародию на романтизм 'Новейшая комедия небесного посланца Фосфорауса Карбункулуса Соляриса, которую он сам произвел на свет, играл и смотрел'? Более ничем особенным не известен.

Помимо вероятности, есть и содержательные доводы: стилистика, приемы, образный строй. Слишком многое повторяется в позднейших Гофмановых произведениях. Влияние? Подобное бывает. Но заимствований немало. Пожалуй, Гофман заимствовал у самого себя.

Гофман провел в глуши немало долгих месяцев, в переживаниях, напряжении, тревоге... В ночных раздумьях над тетрадью записей, ноктюрнов...

Наконец он в Варшаве, приходит в себя; оживает присущая ему остроумная веселость, насмешливость, склонность подмечать несообразности и парадоксы, находить радость в комических изобретениях, иронических гротесках, фарсовых гиперболах, юмористической пряности, остроте.

Сейчас, когда не гнетет тревога, Гофман вздохнул свободно. Не превратить ли громадную энергию, державшую его в напряжении минора, в извержение изнутри минора вырвавшейся силы? В игру остроумной фантазии...

Бонавентура известный мистик XIII века; выбор персонажа пародийный, направленный против религиозно-мистической направленности романтизма.

Ситуация, в которую поставлен персонаж, тоже пародийная, комически снижающая романтически возвышенного гения. Низвергнут с поэтических высот вниз. Бонавентура служит ночным сторожем. В ночной ситуации есть романтическая последовательность. Ночь объемлет раздробленный и пошлый дневной мир тайной, раздумчивостью, духовной свободой.

Свобода здесь с примесью горечи. Показывает реальное место художника в так называемом миропорядке. Независимость за чертой бедности. Кусок хлеба, чтобы поддерживать существование и мыслить.

Сарказм: человечество позволяет независимому индивиду быть свободным, когда оно спит. И не может презирать и унижать мечтателя, призванного создавать художественные и логические модели, по мнению мещанина, бесполезные. Поскольку не имеют отношения к единственной известной ему реальности пользы и расчета - во мнении романтика, недалекого просчета мимо настоящей реальности...

Повесть состояла из шестнадцати глав, видимо, действительно написанных за столько же ночей...

Не единственно его опыт ночной жизни... В 'Хромом бесе' Луиса Велеса де Гевары, пересказанном по-французски Лесажем, черт поднимает крыши ночью, показывая тайны города. И повествование делится не на главы, а на Скачки беса.

Прием использовался и после. 'Золотой горшок', фантастическая повесть, делилась на вигилии, смены римской ночной стражи.

В письме Хиппелю из ссылки Гофман характеризовал себя тем, кого дядюшки, тетушки, директора школ называют непутевыми. Бонавентура признавался в неисправимой непутевости. С этой позиции он атакует божественный миропорядок, издеваясь над ограниченностью понятий обывателя: 'Если другие прилежные мальчики и многообещающие юноши стараются с возрастом уменеть и просвещаться, я, напротив, питал особое пристрастие к безумию и стремился довести его до абсолютной путаницы, именно для того, чтобы подобно господу Богу нашему сперва довершить добротный полный хаос, из которого при случае, коли мне заблагорассудится, мог бы образоваться сносный мир. Да, мне представляется даже порой в головокружительные мгновения, будто род человеческий не преминул испортить самый хаос, наводя порядок чересчур поспешно, и потому ничто в мире не находит себе настоящего места, так что и Творцу придется по возможности скорее перечеркнуть и уничтожить мир как неудавшуюся систему'.

Сходное истолкование Бога - в новелле Гофмана 'Дон-Жуан': '...Злорадное чудовище, ведущее жестокую игру с жалкими порождениями своей насмешливой прихоти'. Неведомая, непостижимая НЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ сила, наделенная лишь неким подобием воли, смысла, судьбы. 'Глумливый призрак' из романа Гофмана 'Житейские воззрения'.

Автор желал пронять современников. Бонавентура наделен мощными легкими, он трубит Страшный Суд. '...Вместо времени возвестил вечность, вследствие чего многие духовные и светские господа скатились в ужасе со своих пуховиков и совсем растерялись, не будучи подготовленными к подобной неожиданности'.

Внезапная встряска помогает заметить и понять не замечаемые в самодовольстве смыслы. Критическая ситуация есть ситуация, которая позволяет навести критику на привычное недомыслие.

Бонавентура показывает ничтожность и фальшь привычного хода вещей. Философы несостоятельны в истолковании бытия. '...Вы, философы, разве сказали до сих пор что-нибудь существеннее того, что вам нечего сказать? Вот подлиннейший, очевиднейший итог всего предшествующего философствования!'

В ночных видениях шекспировское - весь мир театр, а люди в нем актеры - плавно переходит в сцену сумасшедшего дома, где маньяки разыгрывают роли тех, кто якобы в здравом уме.

Безумие здесь остроумно. Начинает стираться грань между ним и разумностью. Прием, позволяющий под маской сумасшествия показать абсурдность привычной скудоумной пошлости. Наподобие имитирующего помешательство Гамлета высказывать дерзости и парадоксы, комические гиперболы.

Позже этот прием использовался в 'Фантастических пьесах', 'Эликсирах сатаны'. Гамлетизм Крейсlera и Белькампо в них несомненны.

В продолжение темы о мнимой учености, коей Гофман не переваривал. Сумасшедшие: '...Мы, правда, все страдаем более или менее различными маниями, не только отдельные индивиды, но целые сообщества и факультеты...'

И, заметим, в изображении мании буйная фантазия автора не обошла ночной горшок... '...В противоположность плохим поэтам, он задерживал в самом себе все жидкости, опасаясь, будто их свободное излияние вызовет всемирный потоп. Глядя на него, я частенько злюсь, что не обладаю на деле его воображаемым достоянием, - право, я так и поступил бы, использовал бы землю, как мой ночной горшок, чтобы все доктора сгинули и только шляпы плавали бы на поверхности в большом количестве. ...Радикально излечил бы его Дантов ад,

через который я веду его теперь ежедневно и погасить который он вознамерился вполне серьезно. В прошлом он, вероятно, был поэтом, только ему не удалось излиться в какую-нибудь книжную лавку'.

Вероятно, Гофман пародировал излюбленное у романтиков 'свободное излияние' вдохновения...

В истории литературы никто не высказывал предложение затушить ад столь радикальным способом: тушить его любым способом было бы крамолью, а не то что издевательски – над открывшим это заведение Господом.

Один из сумасшедших вообразил себя Богом демиургом и обрушился на философов. '...Пылинка возомнила божеством самое себя и нагромодила целые системы самолюбования! К дьяволу!'. Остальные сумасшедшие недовольны, что он зашел в фантазии так далеко, что сошел с ума гениально. Они интригуют, готовые изгнать его 'из избранного круга'. '...Не опасно ли нам, другим полоумным, терпеть в своем кругу титана, ведь у него тоже есть своя система, по своей последовательности не уступающая системе Фихте...'. Философ Фихте, с его глубокомысленным размышлением 'Я – Не Я', был излюбленным предметом Гофмановых шуток; ведь можно запутаться...

Философская позиция Бонавентуры – философский пессимизм в отношении философского познания.

'Я вообще закоренел в своем пристрастии находить разумное пошлым и наоборот (по-латински)'. Пародия на Гегеля...

'Не скрою, я не раз пытался притянуть к себе за волосы мудрость и ради этого имел приватум (доверительно. – лат.) известные отношения со всеми тремя хлебными факультетами (юридический, медицинский, теологический. – авт.), дабы впоследствии, после ускоренного академического бракосочетания с музами, сподобиться публичного благословения во имя человечества, как един в трех лицах (богохульство!.. – авт.) и щеголять в трех докторских шляпах, нахлובченных одна на другую. ...А какое изобилие мудрости и денег, высшая идеализация кентавра и человека, когда под высочайшим всадником упитанное животное, позволяющее ему лихо гарцевать'.

Хотя не в трех, но в двух шляпах исчез в 'Фантастических пьесах' Иоганнес Крейслер, видимо, поскольку он един в двух лицах – композитор и писатель.

Притягивание за волосы мудрости породило сыплющего парадоксами как из рога изобилия парикмахера Белькампо в 'Эликсирах сатаны'. Понятно, есть связь и с севильским цирюльником острошловом Фигаро.

Волосы продолжение мыслей. Белькампо горячими парикмахерскими щипцами завивал мысли, причудливости называл: 'предаваться распутству с прекраснейшими девственными мыслями'.

Все слишком интимно... непрерывно по смыслу...

Перескакивание из одной черепной коробки в другую..? Было бы слишком большим распутством этих самых мыслей!.. Ведь потому они весело скачут и кувыркаются, что чувствуют себя свободно и раскованно в одной черепной коробке, весьма наклонной к буйной вакханалии, карнавалу...

А по поводу лечения безумия... 'Дело это важное, потому что, сами посудите, как можно ополчиться против болезней, когда, согласитесь, не очень-то ясна сама система, когда болезнью слывет едва ли ни высшее здоровье, и наоборот'.

Возвышенная болезнь, испытывающая потребность в здоровой реальности, есть гениальность. А болезнь, слышущая здоровьем, есть просто-напросто примитивная ограниченная обывательская рассудительность, приспособленческое скудоумие.

Более развернуто это в 'Эликсирах'. Монах Медардус говорит Белькампо, что исцелился от помешательства...

'Эх, ваше преподобие! ...Много ль вы от этого выиграли!? Я имею в виду известное духовное состояние, именуемое сознанием; его можно уподобить зловредной суетне проклятого сборщика пошлин, акцизного чиновника, оберконтролера, который открыл свою контору на чердаке и при виде любого товара, предназначенного на вывоз, заявляет: 'Стой... Стой!.. вывоз запрещается... остается у нас в стране... в нашей стране'. И алмазы чистейшей воды зарываются в землю, словно обыкновенные семена, и из них вырастает разве что свекла, а ее требуется уйма, чтобы добыть всего лишь несколько золотников отвратительного на вкус сахара... Ай-ай-ай! А между тем, если бы товар вывозить за границу, то можно было бы завязать сношения с градом господним, где все так величественно и великолепно... Всю мою так дорого обошедшуюся мне пудру... я швырнул бы в глубокий омут, если бы благодаря транзитной торговле мог получить с неба, ну, хотя бы пригоршню солнечной пыли, чтобы пудрить парики высокопросвещенных профессоров и академиков, но прежде всего свой собственный парик!'

Похоже, Бонавентура всегда так мыслил... 'И какой инстанции решать, кто заблуждается научнее: мы, дураки, здесь в сумасшедшем доме, или факультеты в своих аудиториях?'. Действительно, какая инстанция – таможня..?

'Что если заблуждение – истина, глупость – мудрость, смерть – жизнь, как все это теперь вполне разумно познается в противоположностях'. Здесь набросана схема парадоксов Белькампо. Прошло десять лет и она развернулась в 'Эликсирах'.

'Доктор Ольман после некоторого раздумья прописал мне максимум движенья и минимум размышленья...'

Припоминаете, дорогой читатель..? Из дневниковой записи в Кенигсберге 11 февраля 1804 г. 'Чертовская Ennui ! – Сражаться весь вечер с проповедницей Оллек! – С ума можно сойти от досады!'

Словесный корень этих фамилий один: масло растительное... С ума можно сойти!

Проповедница Оллек выступает здесь в качестве исцелительницы заблудшей души. Елейное масло здесь весьма кстати. Знала бы фрау Оллек, что Гофман в ад не верит... Ему вообще на ад на..... Извините, читатель. Могу бы затушить...

Минимум размышленья! Советовать такое столь изобретательному, изощренному, сверкающему уму, каков был Гофман..!

С ума можно сойти от досады! Чертова Ennui! В 'Эликсирах' разговор Медардуса с доктором. 'Мне кажется, – произнес он мягким тоном, но строго, – мне кажется, что вы действительно больны... Вы бледны, расстроены... Глаза у вас запали и горят каким-то странным красноватым огнем... Пульс у вас лихорадочный... голос звучит глухо... Не прописать ли вам чего-нибудь?

– Яду! – еле слышно промолвил я.

– Ого! – воскликнул лекарь, – вот до чего уже дошло? О нет, нет, вместо яду прописываю вам как отвлекающее средство приятное общество...'

Ночь XII. 'В эту ночь поднялся изрядный шум. Из дверей знаменитого поэта вылетел парик, за коим поспешил его обладатель'.

В 'Повелителе блох' Георг Пепуш поднимается к Повелителю. 'Еще на лестнице донеслась до него перебранка, которая становилась все громче и громче, пока не разразилась, наконец, дикими криками и беснованием. ...Глубокий ужас стал овладевать им, как вдруг что-то шершавое полетело ему в лицо и обдало целым

облаком густой мучной пыли'. Парик.

Ночь XIII. Незвестный, вылетев из дверей, рассказывает ночному сторожу: 'Ты сам знаешь, как трудно прославиться и насколько труднее просуществовать; во всех областях жалуются на конкуренцию - и в области славы, и в области существования положение не лучше; к тому же в обеих этих областях вызывают нарекания отдельные негодные субъекты, уже зачисленные в штат; и на слово больше никому не верят. А мне на моем пути встретились особые затруднения, так что я при всем желании не мог добиться ничего. ...Не знаю ничего нелепее в наше время, когда служебные посты, должности, орденские ленты и звезды заготавливаются еще прежде, чем родился тот, кому предстоит занимать или носить их'. Выпад против дворянских привилегий.

'Я на все лады пробовал пробиться, но успеха не имел никогда, пока наконец не обнаружил, что у меня нос Канта, глаза Гете, лоб Лессинга, рот Шиллера и зад нескольких знаменитостей сразу; внимание ко мне было привлечено, и я преуспел: мной начали восхищаться'.

В 'Фантастических пьесах' примерно таким же способом добилась восхищения обезьяна Мало.

Субъектом, спущенным с лестницы начали восхищаться; тогда он решил закрепить и развить успех... 'Но я не остановился на достигнутом; я написал великим людям, выпрашивая у них обноски, и теперь имею счастье обувать башмаки, в которых некогда ходил Кант, днем надевать шляпу Гете на парик Лессинга, а вечером нахлобучивать ночной колпак Шиллера. Да, я продвинулся еще дальше на этом поприще: у Коцебу перенял плач, а чихаю я как Тик; и ты не представляешь себе, какое впечатление произвожу иногда; в конце концов, тварь телесна, и телом интересуется больше, чем духом; я тебя не дурачу, ты не думай; мне случалось прохаживаться кое перед кем в подражание Гете, надев шляпу задом наперед, спрятав руки в складках сюртука, и этот некто заверил меня, что предпочитает подобное зрелище последним сочинениям Гете. С тех пор я вхож в изысканное общество, на званые обеды, словом, я благоденствую'.

Гофман скептически относился к благоговению по поводу последнего издания Гете. Здесь ирония устойчива. В 'Известиях о последних судьбах собаки Берганца' есть мысленное обращение к прелестной девушке у печки с чашкой кофе: 'Божественная! Чего стоит весь этот разговор и пение, и декламация... Один-единственный взгляд ваших божественных глаз дороже, чем весь Гете, последнее издание...'.

Не понятно, по какой прихоти затесался в представленное здесь сборище поэтом Кант, фигура абсолютно непоэтическая? Не потому ли, что он просто-напросто кенигсбержец? И позаимствованные у него башмаки намекают на его приземленность в вопросах искусства, а заодно и на то, что автор видел профессора лишь на прогулках. Наблюдения не вызывали у Гофмана почтения. Шествовал нос.

В 'Повелителе блох' карета с блохами на носу. И там же: 'Эти лица, считавшие бедного Перегринуса за помешанного, принадлежали по преимуществу к разряду людей, твердо убежденных, что на большой дороге жизни, которой велят держаться рассудок и благоразумие, нос - самый лучший путеводитель и указчик...'

В 'Выборе невесты' нос вообще выходит из-под контроля и начинает вести себя совершенно авантюристически... Недалеко до будущей повести Гоголя... А скатившийся с лестницы похож на Канта прежде всего носом...

'Какова цена всему этому бессмертию, друг, если после смерти парик бессмертнее человека, носившего его? О самой жизни я не говорю, ибо в роли гения весь век пыжится смертнейшее ничтожество, а гения прогоняют кулаками, едва он появится, вспомни только голову, носившую этот парик!'

Прихоть гофманической фантазии волосы связаны с умственностью; отсюда неувядающий интерес к парикмахерским изыскам, парикам. Вспомним из письма 22 сентября 1803 г. 'Коли же все произведение сочтут орфографической ошибкой, автор посвящает его тому из членов ареопага, кто носит локоны или завивает волосы, бумага для этого достаточно хороша и мягка'.

'Апология жизни', произносимая Бонавентурой на кладбище; в выборе места монолога проявился гамлетизм автора. 'Разве не все на Земле более или менее в порядке? Наука, культура, нравственность процветают и модернизируются. Все государство, подобно Голландии, пересечено каналами и канавами, так что человеческие дарования направлены и распределены....Человек существо заглатывающее, и если подбрасывать ему побольше, он в часы пищеварения не скупится на совершенство, и, питаясь, превращается в бессмертного... Какое мудрое государственное установление: периодически морить граждан голодом, как собак, когда хотят воспитать артистов! Ради сытного обеда заливаются соловьями поэты, философы измышляют системы, судьи судят, врачи исцеляют, попы воют, рабочие плотничают, столярничают, куют, пашут, и государство дожигается до высшей культуры'.

В 'Берганце' вечно голодная собака представляет культуру как кривляние. '...Ваше преимущество - ходить на двух ногах, носить штаны и беспрестанно болтать'. Пародия на аристократию. '...Нечто неудержимо толкает меня подняться в ярко освещенный зал. Здесь мне захотелось бы ходить распрямившись, поджав хвост, хотелось бы надуться, говорить по-французски, жрать мороженое, и чтобы каждый, пожимая мне лапу, говорил 'mon cher baron...' (дорогой барон. - франц.) и не чувствовал бы во мне ничего собачьего. И вот, восходя таким образом на высшую ступень, я замечаю, что мной овладевают отупение и глупость'.

Бонавентура: 'Друг мой, дух без желудка подобен медведю, сосущему лапу'.

Бонавентуру наполняет издательский сарказм над всей фальшью, изобретенной людьми. 'Казалось, я широко распростерся в ночи при занавешенной луне и на больших черных крыльях как дьявол парил над земным шаром. Я трясся от хохота; я хотел бы перетряхнуть разом всех спящих подо мной, увидеть весь род человеческий в неглиже и без всяких румян, без фальшивых зубов и косичек, без накладных бюстов и задов, чтобы злобно освидать это жалкое зрелище'.

Романтизм здесь достигает демонизма, как в 'Дон Жуане' и 'Эликсирах сатаны'.

Заканчиваются 'Ночные бдения Бонавентуры' ночью XVI там же, на кладбище. Ночные видения сливаются со сновидениями и привидениями. Таковы свойства ноктурнов.

'...Мне в ночи не хватает красок, и ничего, кроме теней и туманных образов, не летит на свет моего волшебного фонаря'.

'Во сне я услышал, как разразилась гроза... старался переложить на музыку раскаты грома и сочинить... слова, но тоны не согласовывались, слова как будто разрывались, проносясь хаотически отдельными невнятными слогами'. Повторная попытка в 'Житейских воззрениях', буря превращается в симфонию.

В великолепном завершающем монологе опять звучит гамлетовская тема черепов и могил.

Прямо напротив Гофмана дома в Варшаве находилось на возвышенности кладбище доминиканцев, напоминая о вечном: в ясную звездную ночь, в лунную, бурную, в тумане...

Бонавентура произносит монолог к червю...

'Король питается лучшими соками своей страны; ты питаешься самым королем, чтобы, словами Гамлета, препроводить после путешествия по трем-четырем желудкам обратно в лоно, или, допустим, в брюхо верноподданым. Мозгами скольких королей и князей полакомился ты, жирный приживальщик, чтобы достигнуть подобной упитанности? Идеализм скольких философов ты свел к своему реализму? Ты наглядно и неопровержимо подтверждаешь реальную пользу идей, поскольку ты откормлен мудростью стольких голов. Для тебя нет ничего святого, нет ни прекрасного, ни безобразного, ты все обвиваешь, Лаокоонова змея, знаменуя всю силу твоего превосходства над родом человеческим. Где глаза, чарующе улыбающиеся или грозно повелевающие? Ты, насмешник, один сидишь в пустой глазнице, оглядываешься дерзко и злобно, превращая в свое жилище и даже нечто худшее - голову, где прежде зарождались планы Цезаря или Александра. Что теперь этот дворец, вместивший весь мир и небо, этот замок фей со всеми своими любовными чарами и причудами, этот микрокосм, таящий зародыши всего великого и великолепного, ужасного и страшного, породивший богов и храмы, инквизицию и дьяволов, этот хвост создания, голова человеческая - обиталище червя!'. Отклик на шекспировское: 'Краса вселенной, венец творенья! А что мне эта квинтэссенция праха!?'.

Бонаventura деист, не вполне атеист, но бог для него не абсолютная индивидуальность, в соответствии с философской верой, лишь первый импульс движения, первотолчок, запустивший великую мельницу вселенной. '...Эти мириады миров проносятся в своих небесах, движимые одной лишь гигантской природной силой...'

В сказки о загробном существовании он не верит: никто оттуда не вернулся, чтобы подтвердить гипотезу. Но задает парадоксальный поворот этой мысли, новый повод для иронических сарказмов. 'От этой мысли меня почти бросает в жар! Только, по-моему, воскресать нужно не всем, нет, не всем! Что делать всем этим пигмеям и уродам в дивном и великом пантеоне, где должна царить лишь красота да боги! (весьма не ортодоксально: не бог, а боги! - авт.). И на земле уже стыдишься такого жалкого общества; не разделять же с ними небо!'

Гофман опять обнаруживает бунтарский демонизм не хуже байроновского. 'Павшие титаны больше стоят, чем целая планета, переполненная лицемерами, которые норовят проскользнуть в пантеон, прикрываясь убогой моралью и кое-какими добродетелями. Во всеоружии предстанем исполниту мира иного; ибо если мы не воздвигнем там нашего стяга, мы не достойны там обитать!'

Бессмертие надо завоевать. А примитивные ханжи хотели бы получить его лишь присоединяясь к общим предрассудкам и притворяясь добренькими...

Ему привиделся мертвец чернокожижник, предполагаемый предок. 'Я прикоснулся, и все рассыпается в прах, только на земле горстка пыли да парочка откормленных червей тайком ускользает, как высокоморальные проповедники, обьевшие на поминках'. Если бог есть, то такие посредники в сообщении с ним не нужны. В одном образе схвачена вся безмерная пошлость и лицемерие, заведенные в людском сообществе.

Книга заканчивалась трижды повторенным риторическим 'ничто'.

Никаких отзывов в печати не последовало... Восторженно рекомендовал повесть друзьям Иоганн-Пауль Рихтер, жадно читавший книги и понимавший в них.

Почему Гофман скрыл авторство? После ссылки заявить о себе как фактическом безбожнике..? Ну, нет! Ревнители нравственности могли оставить без средств к существованию. Подобные плоскоумные субъекты имеют своеобразное понятие о человечности и морали. Хотя Иммануил Кант доказал автономию морали относительно религии, они подгоняли незамысловатые представления под общепринятые предрассудки, а не логику и право.

Право быть логичным и разумным не настолько было признано. Несведущие головы продолжали считать нравственность частью религии, немислимой без нее, и свое недомыслие возводили в закон.

На службе Гофман был нагруженным ослом, но свободное время проходило приятно: несколько театров, образованное общество, незаурядные люди; польские маскарады происходили с выдумкой, пикники были веселы.

В Варшаве он встретил знакомого кенигсбержца Захарию Вернера; публичные чтения религиозно-мистических драм рока породили вокруг того сияние моды; словно проясненный потусторонним светом читал он их; ему внимали... Все напоминало таинства. В местах особенно напыщенно пошлых Гофмана подмывало на иронические замечания. Вернер напрягался. Непочтительное отношение к таинствам собственных сочинений никому бы он не простил. Гофману же казалось, общение не выходит из обычных приятельских отношений; он даже написал музыку к одной из его пьес.

В июле 1805 у Гофмана с Мишей родилась девочка.

Он не писал Хиппелю несколько долгих месяцев. Но опять портилась погода в политике.

Составилась новая коалиция против революционной Франции. Англия выложила деньги, поскольку Бонапарт готов был переправиться через пролив. Австрия выступила, на подмогу спешила русская армия. Император Республики осенью нанес Австрии ряд поражений, в ноябре французские войска вошли в Вену.

Гофман писал другу: 'В декабре прошлого года я сочинил музыку к поистине гениальной опере Клеменса Брентано 'Веселые музыканты', которая в апреле этого года была представлена в здешний немецкий театр. Текст не понравился; 'для большой публики это, что называется, не в коня корм', как говорил Гамлет. О музыке они отзывались более благосклонно, назвав ее страстной и в то же время продуманной, вот разве что слишком критичной и необузданной. В этой связи в 'Элегантейтайунг' меня назвали человеком, понимающим толк в искусстве! ...Прекрасно было принято даже и то неприятное обстоятельство, что там действуют итальянские комические маски - Труффальдино, Тарталья, Панталоне. ...Привлекательнейшие образы веселого озорства! ...Сейчас я как раз пишу оперу на французском матерьяле; здесь выражен свободный французский дух, их комический грациозный гений. ...Называется 'Непрошенные гости или Каноник из Милана'... Таков, единственный мой друг, образ жизни, кой я здесь принял; ты видишь, что музы покуда ведут меня по жизни как святые заступницы; им предаюсь целиком, и они не сердятся, если непреложные обстоятельства оставляют на их долю лишь отдельные блаженные мгновения... часто, слишком часто жизненный путь художника именно таков, что подавляет его, но не способен задавить... Ты уже читал 'Странствия Штернбальда' Тика? Если нет, то прочти поскорее книгу этого истинного художника!'

Надо сказать, Людвиг Тик был странным человеком. Он дописал 'Странствия Франца Штернбальда', не законченные рано умершим Вакенродером, и роман получил второго автора, вследствие чего все запуталось, и его начали считать первым автором.

Со сборником эссе Вакенродера, лишь подготовленным вторым автором к печати, проделал он то же самое. Поставил свое имя рядом с Вакенродеровым. Видимо, из соображений, что мысли были внушены Вакенродеру им, поскольку они беседовали и приятельствовали.

Но филологический анализ показал достоверно: мысли принадлежали исключительно Вакенродеру.

А кто кому внушил мысли, вопрос. Склонный к растроганности Тик мог и перепутать.

Романтическая практика, как все в лучшем из миров, оказалась несвободна некоторой суетности, хотя теория была несомненно прекрасна и вводила в растроганность...

Был ноябрь, холодный месяц дождей и туманов, по размытым дорогам французы преследовали отступавшую русскую армию, в арьергардных боях она потеряла 20 тысяч; возле Аустерлица она соединилась с подкреплением и остатками австрийской. 73 тысячам французских войск противостояли 70 тысяч русских и 15 австрийских.

В штабе союзников лишь Кутузов понимал опасность, французское командование превосходило их стратегически и тактически. Но по понятным причинам, сказать об этом было неудобно. Надо было понимать. Он предлагал отступать. Его слушали с пренебрежением и презрением.

2 декабря сражение началось. Весь день светило солнце, был легкий мороз. Французские войска произвели полный разгром.

В английском парламенте поднялась буря, обвиняли премьера Вильяма Питта. Он заболел и из-за расстройства спустя несколько месяцев умер.

В конце декабря было заключено перемирие. Надеялись, война не затронет Варшаву.

Музыкальное собрание купило дворец Мнишков, надо было его восстанавливать после пожара. Гофман, избранный вторым директором, принял на себя все дело. Им был составлен план расположения внутренних помещений и росписи фресками. Работа пошла полным ходом. Гофман полез на леса. Дома застать его было невозможно. Если его не было в управлении юстиции, значит, найти его можно было только во дворце. В рабочей одежде, заляпанной красками, посреди разных банок и горшочков, захватив бутылку венгерского или итальянского вина, пропадал он там допоздна. Сюда к нему заходили друзья. Хитциг писал: 'Нередко случалось, что торговцев, намеревавшихся заключить какой-нибудь контракт, направляли из его дома прямо во дворец Мнишков; те с трудом разыскивали его среди множества комнат, а потом не верили своим глазам, когда, предъявив распоряжение председателя, каковым поручалось ему вести данное дело, видели, как он быстро слезал с лесов, мыл руки, опережал их и, действуя пером столь же умело, как и кистью, за несколько часов набрасывал на бумаге судебный документ по самому запутанному делу, причем так, что даже самый строгий судья не нашел бы, к чему придраться'.

Гофман работал невероятно быстро; наиболее важные помещения расписал сам, в остальных поручил сделать фрески по его наброскам. Библиотеку по его замыслу украсили бронзовые горельефы. Кабинет директора выполнил он в египетском стиле. В превосходных изображениях древних богов замаскированы были хвостами, крыльями, клювами портреты приятелей и знакомых из состава музыкального собрания.

На этом превращения, стремительные переодевания, перемены ролей не закончились. И вот на первом концерте в великолепном двухъярусном зале перед публикой предстал Гофман в качестве ... дирижера!

'...Все поразились, как спокойно и достойно он при этом держался, будучи вообще подвижным как ртуть. Заданный им темп был быстр и страстен, но без нажима; позднее в городе говорили, что, будь у него лучше оркестр, он не знал бы себе равных по части интерпретации моцартовской музыки. ...Любимыми его мастерами были Глюк и Керубини, а в церковной музыке старые итальянцы и Гайдн. ... Тогда же он исполнил одну из симфоний Бетховена, которой восхищался'.

Осенью 1806 он переехал в прекрасную квартиру в аристократическом Краковском предместье и со вкусом, присущим ему, принялся обставлять ее.

Гофман связывал свое будущее с Варшавой.

Глава седьмая

Падение Бранденбурга

Вы хотите войну? Вы ее получите.

Бонапарт

Не всем доказательство 2 декабря показалось убедительным. Горячились те, кто не был близ Аустерлица. В Петербурге никак не могли понять, как возможно такое. В Берлине полагали: абсолютно невозможно!

Осанистая военная спесь сдержанно-значительно изображала выправку и решимость.

Военную партию возглавляли: принц Людвиг, 'с эксцентрическими речами метавшийся из одного будуара в другой', и красивая королева Луиза.

Благодаря их усилиям, мнение воевать и решимость побеждать крепили.

Взвинченность, патетика, позы.

Положение вне критики мешало актерам нелепого театра понять, их самомнение является лишь привычным заблуждением. Следствием привилегий. Их спесь и надменность не имели под собой никаких оснований; просто самодовольство привилегированной глупости, путающей привычность положения с правом.

Совершенно за пределами их понимания находилось, что в политическом отношении они дутые величины, а военном абсолютные нули.

Хвастливое легкомыслие достигло большого размаха. Военные обещали разнести французов в щепки.

Королева Луиза воодушевляла войска, принимая парады верхом; не на коне, что было бы почти неприлично, но, согласно этикету, на полагавшейся ей кобыле.

Фридриху-Вильгельму III приходилось терпеть подобные штуки.

Войска дружно кричали 'Хох!'.

Никому не приходило в голову, что Людвиг Шметтау звучит смешно, ведь шметтау есть немецкое искаженное славянского сметана, титул вроде "кот в сапогах". Он полагал, воевать с Бонапартом будет ему сметана.

Все дышало пафосом победного похода. Наглость доходила до распутившейся глупости - вояки ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА точили сабли о ступени французского посольства.

Был октябрь 1806 года.

Фридрих-Вильгельм, впадая в нерешительность, после принимая надменные позы, послал Бонапарту ультиматум: немедленно отвести войска за Рейн. На это он давал две недели.

Наполеон отшвырнул бумагу не дочитав.

Приехал в Баварию и из Бамберга объявил войну.

В Петербурге изничтожали супостата словесной бранью. С нетерпением ожидали первых сообщений о немецких победах. Боялись, чтобы король не заключил мира, не начавши военных действий. В театрах беспрерывно представляли 'Стан Валенштейна'. Публика пела: 'Зовет труба, развеваются знамена!'.

Но сообщений о победах не поступало. А пока пытались разобраться в глухих смутных слухах, стали приходить все новые подтверждения немислимого, не укладывающегося в сознании, не поддающегося никакому воображению разгрома.

В начале Шметтау был заколот штыком. Республиканского солдата не соблазнила мысль взять в плен эдакую птицу в расшитом золотом мундире: 'Насадить индюка на вертел!'.

Возле романтической Йены на рассвете 14 октября долго не рассеивался туман, а когда ветер разогнал его, открылась картина спускавшейся с холмов великой армии, которая сама была способна разнести в щепки кого угодно. Победило французское оружие, поражение и истребление противника было страшным. За шесть дней полный разгром.

Первоклассная военная немецкая держава перестала существовать.

Крепости сдавались без боя. В Магдебурге, принимая у коменданта шпагу, маршал Ней сказал адъютанту: 'Скорее забирайте у солдат ружья, их в два раза больше, чем нас!'. Лишь Данциг держался до 28 мая.

Бонапарт дал здоровенного пинка Гогенцоллернам, они прилетели в Лиепаю и забаррикадировались там венскими стульями. Вот как вернулся им пинок Вольтеру!

Европа была потрясена и напугана.

В ноябре русские заняли Варшаву. Но подступили войска Мюрата и Даву. Явились парламентареры. Русские должны были уйти. В городе наступила страшная тишина. 28 ноября в него вошли конные отряды генерала Мильо, начальника штаба Мюрата, храброго кавалериста и великого адмирала, который был с императором на ты; благо, что император был с юмором...

Поляки возлагали на Наполеона надежды на независимость, воспринимали как освободителя.

Судебная коллегия явилась на службу как обычно. Некоторые поляки надели белые кокарды. Прусское правление юстиции было распущено. Немцы покамест владели кассой, договорились разделить деньги между собой, чтобы они не достались врагу.

Хитциг вспоминал: 'Гофмана все эти перемены занимали весьма мало, хотя он принадлежал к числу тех немногих, кого новые обстоятельства затронули самым неприятным образом; он ведь не искал прибежища ни у кого из родственников'. На первое время деньги были. 'Кроме того, в его комнате наконец перестали скапливаться горы бумаг, которые постоянно росли, как ни прибирайся. И не было больше ни заседаний, ни сроков; целый день можно было бродить по улицам, смотреть, слушать. Был ли кто тогда счастливее, чем он! Едва распустили управление, как он потащил одного из друзей в городской суд, чтобы на сей раз зрителем присутствовать на заседании'. Перемена ролей полезна для кругозора...

'Отныне, каждое утро в десять часов он появлялся в одной из рестораций, дабы созерцать парад, который Наполеон устраивал ежедневно почти четыре недели кряду; потом шли слушать мессу в церковь бернардинцев, одну из самых красивых в Варшаве, где Гофман всегда был желанным гостем: он пел в хоре тенором, и после окончания мессы монахи имели обыкновение угощать завтраком всех участников. Вечера проводили в музыкальном собрании'.

Дворец пригласнул главному интенданту Великой армии Пьеру Дарю, писателю и маршалу, дяде Анри Бейля, классика мировой литературы, которого он считал тупым... хотя племянник перемножал в уме пятизначные числа... Многие из его подчиненных были любителями музыки. Но капитана Бейля, тоже страстного меломана, в Варшаве тогда не было.

'До тех пор все шло не так уж плохо. Но вскоре Гофману довелось испытать тяготы войны'. Значительно повысилась квартирная плата. Краковское предместье было дорогим. Настоящий удар по карману.

Гофману пришлось съезжать. Переехал на чердак музыкального собрания, первый директор коего предоставил ему помещение. 'Здесь он обитал со своей женой, с племянницей, которую воспитывал, и с дочкой... И хотя они жили довольно тесно, но, как ему казалось, вполне счастливо. Под крылышком Дарю, квартира которого считалась священной территорией французской армии, он свободен был от всевозможных общественных повинностей, от которых страдали другие'.

Нашлось место для фортепьяно. Под рукой была прекрасная библиотека Музыкального собрания. 'Большого и не требовалось; он вполне мог не думать о французах и о собственном будущем'. Вернее, не имея возможности влиять на ход событий, воспользовался периодом, когда думать, куда заведет их ход, было бы бесполезно, и он мысленно отодвигал момент, когда придется задуматься, подальше...

В Варшаве гремели балы, а тем временем, накануне нового года, возобновилась война, теперь с русскими.

Стояла сырая промозглая зима, туманы, оттепели, грязь. Были большие трудности с продовольствием. Французские войска непрерывно догоняли, настигали противника, сами отбивались, постоянно были на марше по распутице и холоду. Бонапарт ночевал то в избе, то в амбаре, и тогда из избы или амбара направлялись приказы в разные концы Европы. Население было разорено, обобрано, голодало. Крестьяне бродили вокруг французских военных лагерей, выпрашивая хлеб. С полей сражений на много миль вокруг разносился смрад тысяч разлагавшихся неубранных трупов погибших солдат...

Французы перевозили военные деньги в Познань. Надежной охраняемой оказией воспользовались многие немецкие чиновники, чтобы отправить жен и детей к родственникам. Гофман поступил так же.

'Гофман оставался в Варшаве в маленьком кругу друзей, среди которых... следует назвать... тогдашнего советника юстиции Леста, которому Гофман очень благоволил из-за его веселого нрава и особого таланта общения'.

Гофману приходилось экономить средства в ожидании благоприятных перемен. Ему неимоверно надоела

служба; в потере ее он видел поворот судьбы в сторону композиторского призвания.

Время было фоном артиллерийской канонады. И та же война освободила его из бумажных завалов.

Сослуживцы немцы разъезжались кто куда. Небольшой приятельский кружок пока сохранился. Деньги таяли.

Гофман заболел и слег. Была горячка с бредом. Друзья ночами дежурили возле его постели.

В невнятном полубессознательном состоянии Гофман проявлял повышенную чувствительность, раздражительность; ему трудно было угодить. Жаловался он на всех... деликатно... Деликатность приняла причудливую форму: в бреду ему пришло в голову, не называя прямо, намекать на тембры их голосов, называя людей музыкальными инструментами... 'Сегодня мне сильно досаждала флейта', - восклицал он, имея в виду некоего икс, который говорил тихо и как-то очень грустно. Или: 'После обеда меня все время мучил несносный фагот. Вечно он входил не вовремя или тащился следом', - тут он имел в виду игрока, говорившего грубым басом. 'Ведь они меня не понимают, - сказал он как-то ночью Кульмейеру; состояние его тогда было особенно тревожным, - мне приятно, что вы здесь; я уже давно хотел разобрать с вами красоты 'Волшебной флейты'. Сегодня после обеда, лежа в одиночестве, я прослушал всю оперу'. И с необычайным красноречием, не дав опомниться пораженному слушателю, он сначала и до конца в бреду проанализировал великое произведение'.

В жаркой топке горячки выжжены были все микробы и яды, наступила ясность и легкость. Гофман принялся писать оперу...

Последние из оставшихся друзей, Кульмейер и Лест, покинули польский город...

20 апреля 1807 Гофман писал Хитцигу: '...К тому же денег в кассе сильно поубавилось, так что я не могу решиться на поездку и вынужден просиживать здесь, будучи не в состоянии их раздобыть. ... С тех пор, как я сочиняю музыку, заботы нередко забываются сами собой, а с ними и весь мир; ведь тому миру, что рождается из множества гармоний в моей комнате, не нужен никакой мир вовне. В том внешнем мире сейчас идет такой страшный дождь, что мы здесь, в Варшаве, скоро будем ездить по улицам в гондолах, впрочем, на это никогда не решится протонотариус Краузе, не из страха утонуть, а из прирожденной боязни совершить нечто необычное...'.

Хитциг не советовал ехать в Берлин и прислал рекомендательные письма в Вену.

Гофман, 14 мая: '...В мечтах и стремлениях я был уже там; это особый вид вдохновения, во сне и наяву я переносился мыслями в Вену... Но, увы, теперь предстоит преодолеть главную трудность, которая в безотрадные часы кажется непреодолимой, и, должно быть, в конце концов, продержит меня в здешней трясине, покуда я в ней не утону. ...Мне необходимо, как вы и рекомендуете, занять хотя бы пятьсот талеров, пусть даже большей частью в ценных бумагах... но это дело почти неосуществимое. Кауш, единственный, кто в курсе моих кенигсбергских дел, хотя у меня нет документов на сей счет, так вот, он, сам не располагая наличными деньгами, вызвался подписать любое мое долговое обязательство, как если бы это был его собственный вексель. ... В Кенигсберг я писал трижды, но так и не получил ответа; должно быть мои письма не дошли. Второй раз уже в моей жизни случается так, что, едва я собираюсь войти, как мне указывают на дверь, и требуется истинное мужество, чтобы не пасть духом навсегда!... ...Мое положение в самом деле отчаянное'.

Французские власти потребовали, чтобы немцы присягнули императору или покинули пределы Польши.

Гофман рассудил, видимо, быть переметной сумой - слишком хороший совет. Тогда ему не дали паспорт в Вену. Нелепо было бы ожидать великодушия. Бранденбургский политический режим вызывал презрение. Ежели желаете быть пруссак, будьте им у себя дома. Логично.

Заехал в Познань и направился в Берлин.

Свобода есть риск и авантюра. Не хотите никому служить, господин художник? Будьте независимы.

Полагайтесь на самого себя, на случай, на судьбу. Приключения и невзгоды вам обеспечены.

Вы, конечно, добьетесь своего. Если проявите изрядную волю, характер.

Будьте здоровы, как говорится. Остальное приложится.

Если не погибнете, закалитесь.

В поверженном Берлине изящные науки и искусства были в жалком состоянии; вместо них пришлось заняться выживанием - похитили деньги... принялся писать прошения в разные инстанции, перебивался, занимал. Написал великому канцлеру Гольдбеку, моля о помощи, просил 100 рейхсталеров, 'из каких-нибудь фондов, в коих нет недостатка. ...Сумма... позволила бы смиренно ждать дальнейших распоряжений'. Если бы послание почитали, наверное, покровились бы из-за наглости винтика служебной машины: ишь ты, ему известно, что в фондах нет недостатка!

Фонды были - но предназначались для поддержания престижа величества проигравшихся банкротов и прочих политических индюков, думавших верноподданно о необходимости дорогостоящего престижа за счет общества позорно провалившейся привилегированной верхушки, схваченной, ощипанной, попавшей в походный котелок французского солдата.

Время было переменчиво, а власти неверны своим подданным.

Ничего не оставалось, как известить о своих дарованиях читателей газеты объявлений и ждать приглашений в какой-нибудь театр.

Разумеется, испробовав все, написал Хиппелю. 20 октября 1807. 'Уже много месяцев со времени страшной катастрофы, причинившей, должно быть, и тебе массу неприятностей, мы ничего не слышали друг о друге. ... Если можешь, помоги мне советом и делом, ибо, не вдаваясь в подробности нынешнего моего существования, могу тебя заверить, что требуется немалая стойкость, дабы не отчаяться совсем! ... Ответь мне, как только сможешь...'.

...Хотя почта была ненадежной, письмо нашло Хиппеля...

Писать объявления оказалось не так уж глупо. Поплавок, заброшенный в омут, глубоко нырнул. Звали в Бамберг в местный театр на должность капельмейстера. Место освободилось осенью. Надо было как-то продержаться в голодном пустынном Берлине. Гофман жаловался директору театра фон Содену на свое положение. Соден великодушно предлагал погостить в его имении в Баварии.

Хиппель пригласил в Лейстенау. Гофман, 12 апреля 1808 года: 'Ты утешил меня, вновь вселив мужество для борьбы с невзгодами, с жестоким гнетом обстоятельств. Ты еще убедишься в моем энтузиазме художника, который никогда не даст погаснуть мечте; я верю, что еще вырвусь из этой нищеты; а пока что ты представить не можешь, до какой степени бесчисленные мелкие материальные лишения вроде плохой еды, отказа от привычек, которые вырабатываются у тебя в хорошие времена, к примеру, стакан доброго рома поутру (!), влияют на душу, вызывая подавленность и уныние ... Ты можешь себе представить, как нуждаюсь я в помощи наличными деньгами; если бы

ты мог прислать... около 100 ртлр, я сумел бы выехать из Берлина. Ты избавил бы меня от забот гораздо более тяжелых, нежели тебе кажется'.

И вот, время проходило, сроки поджимали, а Хиппель молчал. Гофман тем временем дошел до крайности. Здесь он перепугался: что с ним будет? Почему молчит Хиппель? Написанное письмо было отчаянным... 7 мая 1808. 'Как случилось, что ты совсем не даешь о себе знать? Мне ничего не удается... Работаю до изнеможения; о здоровье уже и не думаю, а не зарабатываю ничего. Не стану тебе описывать свою нужду, она достигла крайней степени. Вот уже пять дней я ничего не ел, кроме хлеба; такого еще никогда не бывало. Сейчас с утра до ночи сижу и рисую иллюстрации к 'Атилле' Вернера, который будет издан в 'Реальбуххандлунг'. Еще неизвестно, поручат ли мне сделать все гравюры на меди... Если сможешь помочь, пришли Фридрихсдорф двадцать (1 фр был равен 20 рт. - авт.), а то бог знает, что со мной будет. ...Как только мне удастся заработать денег, я сразу же постараюсь хотя бы частями вернуть тебе мой большой долг. Не мог ли бы ты... одолжить мне еще двести талеров? В таком случае я не только избавился бы от нужды, но и имел бы возможность отправиться в Бамберг! Друг мой! Не покинь меня в беде! Бог свидетель, как тяжело я переживаю, что приходится обращаться к тебе с подобными просьбами!'

Письмо вослед предыдущему. 'Несколько дней назад я чуть было не сошел с ума из-за отсутствия самого необходимого; помню, что в этом состоянии я написал тебе! Хорошая еда и довольно спокойная ночь позволили мне прийти в себя и дали возможность еще горше осознать свое бедственное положение. Поистине требуется сила духа, граничащая с героизмом, чтобы сносить все те горькие беды, что не перестают преследовать меня. Вернер - и это мой друг! - заявил, что лучше для него будет делать рисунки некий Штуди, нежели я!'. Причем, Вернеру этого показалось мало. Он задал вопрос: 'А о боге вы иногда думаете?'

Что ж, не способный к человечности любит своего бога и доволен собой. А для бедняков зловещий Берлин превратился в яму, ловушку, западню. Гофман слышал о голодных смертях. Приходилось видеть голодные обмороки. Ослабевшие люди падали прямо на улице. Умирали, околевали в сточных канавах, как собаки, если никого не было поблизости, кто мог бы им помочь. Возможность такого исхода была велика: не было средств, не было способов их добыть...

Но каковы религиозные патетики, разводившие павлиньими перьями по бумаге растроганную мистику!..

Спасение пришло. Все объяснилось. Хиппель прислал письмо и деньги...

Гофман писал ему 25 мая 1808 года: 'Нет! Я не теряю присутствия духа, поскольку могу рассчитывать на тебя и твердо, искренне убежден, что как только Берлин останется у меня за спиной, все страдания мои кончатся, обратившись в радость и благополучие. В столь беспомощном положении... я еще никогда не был; случайно об этом догадался один мой знакомый, бывший государственный советник Фридрих, который встретил меня в совершенном отчаянии в Тиргартене; будучи сам в стесненных обстоятельствах, он все же разделил со мной последние свои деньги... .. Твое мнение о Вернере полностью совпадает с моим; и все же согласись, что в 'Атилле' есть великолепные сцены, хотя и в этой пьесе можно найти пошлость и безвкусицу. ... Ты лично знал Вернера? Я полагаю, да! О его гнусной жадности... Ифланд (директор имперских театров - авт.) рассказал весьма примечательный анекдот. Когда в Берлине должны были поставить 'Освящение силы', Вернер, за одну лишь передачу рукописи, которую он сразу же велел напечатать, получил из театральной кассы пятьсот талеров мелкой монетой; бесспорно огромный гонорар. Сгребая их в кучу, он с кисло-сладкой миной наклоняется к Ифланду и шепчет: 'А я-то полагал, что - золотом, господин директор!'.Здесь театр, куда... никто не ходит, ныне находится в столь плачевном состоянии, что актерам не платят жалованье... .. Из-за хлеба, цена коего теперь недоступна беднякам (а иногда его вовсе нет), в течение нескольких дней здесь были волнения, вскоре, однако, умирные конными и пешими патрулями!'

Хиппель был благородным человеком. Признавал, талант друга. Понимал и ценил гениальность. Но гений нередко бывает беспомощным фантазером. Нелегко быть нянькой и другом, то и дело спеша на помощь, сдерживая, покровительствуя безумствам, проявляя незаурядное терпение...

Тайный советник фон Хиппель позднее вспоминал: 'Достоин сожаления, что год праздного пребывания в Берлине столь отрицательным образом повлиял на его характер... Он привык ни во что не ставить свои дела, жить сегодняшним днем, строить воздушные замки и предаваться безмерному легкомыслию'.

Миша оставалась в Познани; их девочка умерла от тифа...

Гофман не поехал ни к Содену, ни к Хиппелю, а направился в горы к Иоганну Хампе; для него он не был эфемерным фантазером и легкомысленным авантюристом.

Несколько дней в пути... Кареты были неудобны, могли вытрясти душу...

'Упрятанный в жалкую колымагу, в которой даже моль не водилась, потому что инстинкт заставил ее спасаться отсюда бегством...!', карету монотонно трясло и подбрасывало, '...весь точно батогами избитый после костодобительной езды, я наконец въехал на площадь города Г. И остановился у дверей гостиницы'. Из сборника 'Ночных рассказов', новелла 'Церковь иезуитов в Г.'. Гофман называл себя странствующим энтузиастом, представляя состоятельным господином, наверное дворянином. 'Все уготованные мне несчастья обрушились на мою карету; поломанную, ее пришлось бросить у почтмейстера на последней станции. Спусти несколько часов четыре тощие заезженные клячи при поддержке моего слуги и нескольких мужиков притащились следом за мной с развалинами моего дорожного жилища; собрались умельцы, покачали головами и вынесли заключение, что здесь потребуются основательная починка, на которую уйдет два дня, а может и три. Город произвел на меня приятное впечатление; окрестности его были прелестны, и все же я не на шутку перепугался, узнав, что на некоторое время мне придется здесь застрять. Я ходил по своей комнате из угла в угол как неприкаянный, как вдруг вспомнил, что один из моих друзей жил прежде в этом городе; от этого приятеля мне не раз приходилось слышать об одном человеке выдающегося ума и учености, с которым они в те годы очень сошлись... И я решил наведаться к нему по знакомству'. Гофман побывал в гостях у Хампе, старины Хампе...

Горести, беды, страдания остались позади. Здесь в горах отдыхал он душевно. Их дружеское собеседование было роскошное; давний приятель, родственная душа, одаренный музыкант, умница, старина Хампе..!

Питались запросто: крестьянский салат из помидоров, огурцов, лука, петрушки, укропа, вкусный хлеб, простое вино... Ходили в заброшенный парк, расположенный возле пустого дома старой архитектуры в стиле барокко. 'Всякому путешественнику, который в хорошее время дня подъедет с южной стороны к городу Г., бросится в глаза стоящий направо от большой дороги красивый сад, дикийонные пестрые зубцы которого поднимаются над темными кустами. Кусты окаймляют обширный сад, на далеком пространстве идущий вниз долины'. За несколько медных монет садовник пускал двух образованных господ походить здесь и посмотреть имение.

Несколько раз Гофман приходил один, посреди тишины, заброшенности легко было перенестись в середину

18 века. Ему нравился старофранцузский сад, пышность, геометрическая правильность, широкие посыпанные песком дорожки, густые кусты и деревья, статуи, фонтаны. Мечта и реальность сливались... Возникло предчувствие встречи... На дорожке мог появиться не призрак, а настоящий кавалер Глюк... Если бы это и был призрак, то призрак веселый. В какой-то таверне Кристоф-Виллибальд Глюк вздумал разыгрывать публику, ругать самого себя: 'Глюк ничего не понимает в музыке. Его сонаты можно играть только на барабанах'. Собравшиеся вытолкали его из таверны кулаками и пинками. 'Но зачем вы сделали это?', - спросили его. 'О, эти пинки были мне слаще самых бурных рукоплесканий!'

Гофман, скрывшись от неприятной реальности в горах, блаженствовал в этом саду, настроенный грезить, сообщаться с вечными призраками, смешая время.

Скрытый зарослями в старинном парке дом внутренним расположением вызывал мистическое ощущение. В настороженной пустоте заброшенного жилища в холле затаились фрески. В высокой зале роспись являлась объемным повторением в виде статуй. Из галереи наверху со странными надписями можно было наблюдать всю залу, словно абсолютный наблюдатель неоплатоновский бог - вселенную из вечного места вне времени и пространства, мысленно постигающий и охватывающий все. Возникло ощущение путешествия во времени; странствия в вечности и во вселенной. Отсюда слова кавалера Глюка в Гофмановой новелле из 'Фантастических пьес'. 'Я обречен, себе на горе, блуждать здесь в пустоте, как душа, отторгнутая от тела'. Художник есть некая абсолютная форма из глубин вечности. Естественно тяготеющая к своей романтической родине беспредельности, вечному замыслу.

Здесь Гофман начал писать новеллу.

Смотрел фрески Молинари в церкви иезуитов, вспоминал...

Написал многоголосый католический гимн.

Наконец, поехал за Мишей. Ее родственникам не нравились театральные планы: пусть едет куда хочет один... Но Миша не оставила его. В Бамберге поехали вместе.

Глава восьмая

Бамберг

...Гофман начинал писательство в Кенигсберге романами 'Мемуары графа Юлиуса фон С.' и 'Таинственный'. Названия превратились в романную интригу. Ведь письмо из Бамберга прислал Юлиус фон Соден, франконский граф, директор театра, драматург, дипломат; причем, он оказался действительно таинственным. Гофманы приехали 1 сентября, как было договорено. Но им сообщили, что Соден отбыл в Вюрцбург. Сыграв темную загадочную роль судьбы, заманив обескураженного художника в славную Франконию.

Бамберг сделал Гофмана писателем.

Здесь он нашел издателя. Напечатал фантастические пьесы.

Господин фон Соден был настоящий аристократ, благородного мышления, смесь великодушия и беспечного незлого цинического здравомыслия. Он прекрасно понял ситуацию 'автора незаурядных сочинений, неизменно принимаемых аплодисментами'. Бамбергский театр был не бог весть что, но ничего! Пусть приезжает, решил он. Главное, жить в Южной Германии ему будет намного дешевле...

Театр постоянно находился на грани финансового краха, но не падал.

Гофман познакомился с бароном Штенгелем, баварским генеральным комиссаром юстиции, знатоком искусств, знаменитым коллекционером; в результате барон рекомендовал его в патрицианские дома Бамберга в качестве учителя пения, что обеспечило им с Мишей сносное безбедное существование в уютном изобильном крае.

Бамберг был старинным городом с замечательной архитектурой и прелестными окрестностями, пожалуй, он был романтичен. Своеобразное обаяние придавало ему нахождение князя Вильгельма Виттельсбаха с декоративным двором, гофмаршалом, министрами без портфелей - все напоминало занятное представление. Ведь князь не правил, просто находился здесь; город был его почетной резиденцией. Все было продолжением театра, а Бамберг большой декорацией.

Политика здесь казалась нереальной. Газеты Гофман не читал. Если начинали излагать мнения по поводу политических известий, он обычно прерывал: 'Давайте, лучше поговорим о чем-нибудь другом'. Примерно было понятно, что происходило.

Спротивление императору в Испании возрастало. Победы его не в состоянии были погасить лютую ненависть. Непрерывное испанское восстание затягивало его в нескончаемую войну; испанцы проигрывали сражения, но не сдавались.

Австрия готовилась к войне.

Европейский диктатор готов был доказывать свои львиные права повсюду: в Испании, Швеции, Германии. Хотел сломить Британскую империю континентальной блокадой.

Плохо было английской промышленности, терпевшей убытки, плохо было Европе без дешевых английских товаров, плохо было французам, которым надоело быть в постоянном походе: в распутицу, дождь, жару, пыль; по горным дорогам зимой, как в Испании...

Солдаты роптали: 'Дать бы ему из ружья!..'

...Накануне нового 1809 года в доме Ротенханов Гофман наткнулся на издание 'Атиллы'. Выражение лица у него было такое, что пришлось признаться: знал автора... Назавтра принес им рисунок: 'Вот так он выглядит'. Его

принялись перерисовывать...

Гофман стал вновь записывать в календаре ежедневные заметки. Он бегал по урокам, писал музыку для спектаклей, продолжал начатую в Берлине оперу 'Напиток бессмертия' по пьесе Содена и вел с ним переписку...

А из Испании император, бросив недобитого Веллингтона, помчался на зов из столиц: поступали донесения насчет Австрии. В Испании он оставил маршалов Сульта и Нея, не ладивших между собой.

Гофман жил тихо.

21.1. сб '...Я должен сочинить музыку к 'Привидению' Коцебу. Чего только я не должен и не хочу! Мужество и выдержка!'

Начался разлив реки Регниц.

28.1 '...Слушал мессу в соборе. Удивительная музыка. Искусные фанфары напомнили мне кое-что прочитанное о старых временах... Великолепная весенняя погода. ... Этой ночью во сне абсолютно явственно видел известие о смерти дяди'. Фанфары неким таинственным способом возвестили наследство...

Видимо, влияние неизвестных в то время геомагнитных бурь. Ведь в тот же самый день император страшно разругал на государственном совете Талейрана, который только тем и занимался, что 'во всю жизнь продавал тех, кто его покупал' (Евгений Тарле): искусного дипломата, агента нескольких разведок. Император грозил расстрелять его и повесить, но ограничился тем, что отобрал у него камергерский ключ. Гофман тоже в сущности был добрым человеком. Но провел некоторое время в ожидании, возмещенного фанфарами известия...

Фридрих Рохлиц, редактор 'Всеобщей музыкальной газеты' принял рукопись 'Кавалера Глюка', но попросил вычеркнуть выпад против Бернгарда-Ансельма Вебера, известного дирижера. Гофман оправдывался: 'Достойный осуждения выпад... вызвала у меня глубокая досада, которую я испытывал в Берлине, видя, как издеваются над возвышенными шедеврами Моцарта в театре...'. Прусская чиновничья выправка и выучка государственного советника Гофмана, под мундиром коего пылал огонь художественного дара, под маской Вильгельма скрывали Амадеуса. Признавая выпад, он подчеркивал, что над музыкой издеваются. А предлагая поискать невыплаченное жалованье в фондах, в коих нет недостатка, ждал дальнейших распоряжений.

В результате новелла была напечатана с достойными осуждения сокращениями.

1.2. 'Грустен, работал'.

3.2. 'Никакой охоты работать! ... Снова в театре'.

В газетах сообщали, что французы взяли Сарагосу. Выяснилось, что не совсем так, сражение идет в городе...

Из Лейпцига начали поступать регулярные заказы на рецензии. Необходимость везде поспеть, постоянная забота и напряжение провоцировали недомогание, вялость, безразличие, лень...

Стало известно, что Сарагоса пала лишь сейчас, спустя три недели после того, как французы вошли в город, после жестоких уличных боев. 20 тысяч гарнизона и несколько десятков тысяч населения были истреблены.

Гофман попросил владельца 'Всеобщей музыкальной газеты' Гертеля издать сочинения. Но вместо того издатель предложил войти в расходы: поскольку фирма респектабельная, рецензент должен купить у него фортепьяно; помимо того - приложил список партитур, посланных книготорговцу Гебхардту в Бамберг для Гофмана. Сочинения бамбергского капельмейстера заслуживали лишь любезности. Отзыв Гертеля был всего лишь похлопыванием по плечу.

На прогулке с Мишей в парке Буг познакомились с виноторговцем Карлом-Фридрихом Кунцем. У него была располагающая добродушная манера общения. К.-Ф.-К. Разбирался в литературе, был не дурак выпить, и самое главное, сразу же разглядел в капельмейстера маленького театра большого человека.

Гофман столько трудился ради постановки по пьесе Коцебу, и вот награда.

9 апреля. 'Исполнено 'Привидение'; во всех отношениях скверная постановка - почти ожившая!'.

12 апреля императору в театре сообщили, что австрийские войска входят в Мюнхен. В три часа ночи он выехал в Баварию. Началась война.

В неприятном ожидании пришлось пережить некоторое время. Сражения развернулись в стороне. Понеся большие потери, эрцгерцог Карл отступил.

В бамбергском театре жизнь шла своим ходом.

Гофман сочинял музыку для Дитмейера. Капельмейстер не был главным. Есть некий Дитмейер, в высшей степени неприятный человек, скрипач, концертмейстер и музыкальный директор этого театра; ни за что не упустит случая дать вам понять, что уж он-то знает толк в настоящей музыке... и настоящую цену господину капельмейстеру Гофману... который тонко чувствует отношение... Весьма натянутые и прохладные отношения!

Посреди всех этих забот Гофманы переехали в квартиру на театральной площади в доме придворного трубача Каспара Вармута; отсюда открывался великолепный вид на горы.

Фигура Вернера снова навязчиво маячила, напоминая о собственной безвестности и непризнанности..!

26 мая. 'Вернер получил от князя-архиепископа пенсию в 1000 фл[оринов] - известие, которое подействовало на меня странно; какой князь сделает в будущем что-нибудь для меня?'

Наконец, в середине июня в Бамберг приехал фон Соде, и они познакомились. Через город в это время проходили французские и вюртембергские войска. Некая загадочность ступала следом за ним.

Занятная запись появилась в дневнике Гофмана. 22.6. 'Написал в Вюрцбург Мюнгхаузену по поводу 'Напитка бессмертия'. Соден у меня'. Барон Фридрих фон Мюнгхаузен оказался ни кем иным, как директором Вюрцбургского театра и... зятем Содена. Продолжателем его рода...

Надобно заметить, предположения Гофмана о военных событиях нередко были нелепы до смешного.

6 июля. 'В 2 или 3 часа ночи основные силы были разбиты и французы стремительно отступили'.

9 июля. '...Французский обоз поспешно отступил'. Много раненых..!

Комедия! Обоз отступил! Поспешно! Австрийские войска были разбиты в сражении при Ваграме, и Наполеон снова вступил в Вену...

Гофман был поражен и подавлен: невероятные новости..! Но зато приехало фортепьяно Брейткопфа-Гертеля. Взгромодил его к себе на чердак.

Накануне осени 1809, когда упорные попытки заявить о себе в музыкальном мире оказались безрезультатными, произошел психологический надлом. Письма, которые он написал в состоянии подавленности цюрихскому издателю Негели, человеку сухому, надменному и несентиментальному, были заранее бесполезны и оказались проявлением слабости. Гофман обнаружил, что существование безвестного свободного художника не намного лучше зависимого служебного положения чиновника. Ради добывания средств приходилось самому искать всякого рода зависимости. Поденщина не оставляла свободного времени для настоящего искусства. Попытка

растрогать сухаря издателя была нелепым, несуразным, малодушным поступком, наподобие попытки вымолить у швейцара разрешение пройти в ресторан без галстука, когда велено без галстука не пущать.

Письмо 23 августа. 'Гнусная война вновь разрушила все мои надежды и перспективы; положение мое столь удручающе, что требует немалая сила духа, чтобы не погибнуть совсем; великое мое утешение в том, что ваша милость, надеюсь, сочтет возможным ввести меря в музыкальный мир и избавит, таким образом, от жалкого прозябания как художника и человека'.

Подобные письма он уже писал раньше: 'Требуется истинное мужество, чтобы не пасть духом навсегда!'. 'Требуется немалая стойкость, дабы не погибнуть совсем!'. 'Поистине, требуется сила духа, граничащая с героизмом, чтобы сносить все те горькие беды, что не перестают преследовать меня'.

Наработанную форму Гофман использовал в качестве стилистического приема. Но содержание им подменено. Единственная правда здесь - унылое настроение. Зарабатывал же неплохо для приличного существования. Если бы еще не тратил деньги вполне легкомысленно, можно было совсем не расстраиваться. Вот только художник в нем прозябал, сгибался, как осел, на которого взвалили ненавистные тяготы повседневной ремесленной работы.

Письмо послал 25-го, а на завтра записал в ежедневнике: 'Соден взял на себя руководство театром, и я снова играю роль'.

Ему показалось, что в том письме недостаточно сгустил краски и снова взялся за перо, чтобы добавить нравственных страданий 'швейцару' у входа в музыкальный мир. 'Если вы, милостивый государь, обойдетесь со мной не слишком строго и сочтете трио годным к изданию, то на сей раз я впервые не буду обманут надеждой, оказавшей бы столь благотворное влияние на мое стесненное положение. Сколь бы редко ни сочинял я музыку из-за денег, ибо одно искусство и совершенствование в нем являются моей высшей целью, все же я не могу упустить из виду и материальную сторону, оказавшись ныне под давлением обстоятельств в таком тяжелом положении вместе с женой и ребенком (? - авт.), когда лишь непрерывная работа едва в состоянии обеспечить наши самые необходимые жизненные потребности'. В кои входило непременно ежедневное посещение уютного ресторанчика старины Кауэра.

Поддельный сей драматизм позже неприятно было вспоминать. Зазвучало визгливым диссонансом для него самого.

Полуоправдание появилось неким намеком в 'Крайне бессвязных мыслях' из фантастических пьес. 'Какого художника занимали когда-либо политические события дня? Он жил только своим искусством и только с ним шел по жизни. Но тяжелое, роковое время зажало человека в железный кулак, и боль исторгает из него звуки, которые прежде были ему чужды'. Как знать, как знать...

Поскольку Гофман в соденновском театре стал играть роль, то попытался воспользоваться положением, чтобы заменить музыкального директора. Дитмейер ему решительно не нравился...

Нелегкий год бамбергских испытаний завершился прописанным ему врачом постельным режимом 13 сентября. На пятый день ему показалось, что полегчало... поскольку давали в театре 'Армиду' Глюка... Но возможности свои переоценил, болезнь взялась за него как следует. Здесь-то и принял за него доктор Шпейер. Соперник Гофмана в медицине. Ведь наш герой был не только военный стратег... Почти на всякий предмет имел он самостоятельное независимое мнение... Воспользовавшись кризисом, здесь Шпейер и показал ему власть медицинских наук - откуда исходит порядок и законодательство в лекарском деле. У доктора накопилось много претензий к своему неугомонному пациенту, эксцентричному романтику. Шпейер явился нарочито серьезный, мол - 'Ну, что? Неужто захворали? Значит, сами все же вылечиться не умеем?'

Вспоминая рассказы бабушки, Амелия Годен, дочь Шпейера, писала: 'Врач переживал немалые трудности с этим своенравным пациентом, который, страдая спазмами желудка, пытался лечить их по собственному почину ромом и коньяком, не забывая при этом... жаловаться доктору на плохое самочувствие. В ответ на угрозу выставить его за дверь он давал клятвенные обещания впредь придерживаться врачебных предписаний и просил извинить его от повышенной нервозности, после чего опять все шло по-старому'.

К.-Ф.-К., друг, виноторговец, издатель: 'Временами он страдал сильными спазмами, от которых излечивался сам, хотя и при помощи довольно опасного средства, выпивая через короткие промежутки времени изрядные порции коньяка, рома или арака, и редко случалось, чтобы спазмы продолжались более одного дня. Его врач и друг, доктор Шпейер, предостерегал от подобного лечения, которое легко могло вызвать катар желудка, но напрасно! Гофман обычно ссылался на Фридриха Великого, которому пытались внушить, будто крепкий кофе подобен яду, однако тот остался при своем и, к тому же, в изобилии потребляя пряности, дожил до преклонных лет'.

Понятно? Одним словом, когда карнавалы и поэтически-вакхический метод выздоровления давал сбой, капельмейстер гениально прибегал к иному методу: ПРИБЕГАЛ К ШПЕЙЕРУ...

23 сентября. 'Получил из Вюрцбурга партитуру 'Напитка бессмертия' '. Мюнгхаузен изучал партитуру несколько месяцев и видимо решил, что разбирается в напитках получше Гофмана. Столько времени, возможно, понадобилась потому, что барон пытался читать ее вверх ногами.

Но в Бамберге полным ходом готовилась к постановке другая опера по пьесе Содена. В начале октября большой успех. Вызывали! Праздновал вечером и на завтра. 12-го. 'Днем обедал у Беверна с Соденом и Шпейером, затем в Буге, затем у Кунца'. Фриц Кунц - неисчерпаемый человек: полные подвалы отличного вина!.. Так славно устроиться в жизни!

21 октября. 'Прибыл Карл Дебелин из Амстердама'. Великолепно! Ведь 'Шутка, хитрость и месть' в Познани и 'Каноник из Милана' в Варшаве - его постановки! На завтра счастливый Гофман представил ему 'Дирну', Содена, превосходного актера Лео, Диттмейера...

27 октября. 'Бенефис Дебелина, 'Фаншон' и 'Кладоискатель'. Всю ночь до отъезда Дебелина провел время с ним'. Он совсем уже и забыл про этого Негели - письмо из Цюриха... а вдруг... а впрочем, все равно... так и есть... 'Швейцар' хвалил, но просьбу печатать не колеблясь отклонил... На печальные письма написал занудные поучения. Настоятельно советовал штудировать контрапункт: школярствовать и школярствовать! Возможно тогда, лет через двадцать, вы приблизитесь к музыке Сальери. Если как следует постараетесь и перепилили контрапункт. Гофман прекрасно понял, поспешил отделаться. Мол ничего не нужно, хорошо пошла опера..!

Пошли балы. Завертели театральные дела.

Но Гофман был не вполне доволен. Слишком много нервов, раздерганности, разорванности...

6 ноября. 'Ужасная распушенность! Странная идея на балу 6-го. Я как бы смотрю на себя в увеличительное стекло; все фигуры, которые двигаются вокруг - это я сам, и я досаду на их поведение rrr'.

Не раздвоение... Что? Игра на пределе: на пределе игры!.. Романтическая фантазмагория.

Романтическая фантазмагория

Спектакль в трех представлениях

Сцена - Бамберг, Баварское королевство.

Историческое время - между двумя наполеоновскими войнами.

Представление первое.

Роли и партнеры.

Бывают люди, которых природа или немилосердный рок лишили покрова, под прикрытием коего мы, остальные смертные, неприметно для чужого глаза исходим в своих безумствах... Все, что у нас остается мыслью, у Креспеля тотчас же преобразуется в действие. Горькую насмешку, каковую, надо полагать, постоянно таит на своих устах томящийся в нас дух, зажатый в тиски ничтожной земной суеты, Креспель являет нам воочую в сумасбродных своих кривляниях и ужимках. Но это его громоотвод. Все вздымающееся в нас из земли, он возвращает земле, но божественную искру хранит свято; так что его внутреннее сознание, я полагаю, вполне здраво, несмотря на все кажущиеся, даже быющие в глаза сумасбродства.

Гофман

Художник. Амадеус Гофман. Композитор, литератор, режиссер, создатель декораций, театральный архитектор и механик, дирижер, ведет партию фортепьяно в оркестре, играет некоторые роли в спектаклях... Загружен в театре сверх меры, держит все нити. Помимо того, из-за склонности вкусно поесть и выпить взял на себя обучение пению и игре на фортепьяно в богатых домах Бамберга. Печатает статьи в музыкальной газете. Платят мало. Недоволен своим положением, раздражителен, вспыльчив. Едко остроумен, ироничен. Недалекие обыватели пренебрежительно отзываются о нем, но побаиваются. Нищий комедиант находит у них слабые стороны и наносит меткие удары, поражая их мнимое достоинство. Художник находится в состоянии непрерывной войны с пошлостью и глупостью. Принужденный защищать достоинство бедняка гения против нападков самодовольной посредственности, выставляет колючки, как еж. Всем видом показывая, что презирует посредственность и норму. Горячим ключом в нем кипит и клокочет страстность - подымается бурлением интенсивной импульсивности. В глубине его существа здоровая основа: ему свойственны добродушие, веселость, здравомыслие. Перечитал множество книг, знает итальянский, французский, латинский. Наделен пронизательным умом, вкусом, юмором, изобретательной фантазией. Но ему свойственны резкие перепады настроения. Ему нелегко совладать с выражением лица, своей порывистостью, желанием высказаться сразу. Взгляд, всплеск, взрыв! Хриплым голосом. Когда сдержан, глаза горят пристально. Черты лица резковаты. Выглядит старше своих лет из-за множества морщин. Всегда чисто выбрит, бакенбарды спускаются к самым уголкам рта. Не расстается с табачной трубкой, выпуская из нее клубы дыма. Ходит круглый год в темно-коричневом фраке, поношенном, но хорошего покрова. Склонен досадовать на фатальную роковую власть судьбы. Понятна его тяга к спиртным напиткам: 'Пил, чтобы веселее гореть!'

Миша. Жена художника. Его самая большая удача в жизни. Верная подруга. Приятная правильная мягкость черт. Приветливые ясные глаза. С ней просто и легко. Скучное ей скучно, веселое весело, непонятное непонятно. '...Она отвечала на его переменчивые настроения терпеливой снисходительностью, умела весело рассеять его плохое настроение' (Амелия, дочь Шпейера). 'Мрачный мечтатель' (из 'Ночных рассказов') жил напряженной сложной внутренней жизнью. 'Вся жизнь его состояла из сновидений и предчувствий. ...Беспрестанно говорил, что всякий человек, мня себя свободным, лишь служит ужасной игре темных сил... В искусстве и науке невозможно творить по собственному произволу; вдохновение рождается извне нас лежащего высшего начала. ...Все эти мистические бредни ей были в высшей степени противны, но все старания их опровергнуть, видимо, были напрасны'. Гофман ощущал потаенное 'враждебное проникновение темной силы, стремящейся погубить нас в нашем собственном 'Я' '. Однажды рано поутру, когда Миша готовила завтрак, он, стоя возле нее, читал ей мистическую книгу, пока она ему ни сказала: 'Ах, любезный Амадей, что если мне вздумается обозвать тебя злым началом, оказывающим губительное действие на мой кофе? Ведь если я брошу все и примусь слушать тебя, не сводя глаз, как ты того желаешь, то кофе непременно убежит и мы останемся без завтрака!'. Амадей поспешно захлопнул книгу и в гневе убежал вверх... Но ведь душа прозрачной воды должна быть прохладной, а дух огня - пламенным... И если прозрачная глубина наполнена светом, то пламя пожирает само себя...' 'Зачем, собственно, воспламенять ее и куда это заведет?..'. Не есть ли в нем нечто родственное силе, которая пугает его своим мистическим влиянием... И не из этого ли тайного родства происходит глубокое воздействие на него впечатлений воспламенной фантазии, превращающейся в заволаживающих воображение фантомов?.. 'Если существует темная сила, которая враждебно и предательски забрасывает в нашу душу петлю, чтобы после захватить нас и увлечь на опасную, губительную тропинку, куда мы иначе никогда не вступили бы, - ежели существует такая сила, то она должна принять наш собственный образ, стать нашим 'Я'; поскольку только в этом случае уверуем мы в нее и дадим ей место в нашей душе, необходимое для ее таинственной работы'.

Юльхен. Девушка 14 - 16 лет. Дочь американского консула Филиппа Марка. Необычайно одаренная музыкально. Милая, симпатичная, приветливая. Сочетает в себе естественную непосредственность, впечатлительность, отзывчивость ребенка и гибкую свежую грацию юной девушки. Но самое поразительное - голос... Не просто чистый и сильный... В нем звучит странный накал, нечто непостижимое и таинственное в юном создании - женственная страстность. Вот это ввергло в смятение и закружило голову Художнику! Это была загадка загадок, тайна... Сладость мечты, томительная тоска...

Шпейер Карл-Фридрих. Врач 30 - 33 лет, родственник Юльхен. Приятель и лекарь художника, страдающего

головными болями, бессонницей, повышенной нервозностью, желудочными спазмами. По рассказам Шпейера, дочь Амелия: 'Его повышенная экзальтированность проявлялась в приступах подлинного отчаяния, если случалось нечто, вызывавшее его недовольство. По обыкновению, он решительно восставал против всего, что было ему противно, и в состоянии подобной необходимой самообороны, как сам он ее называл, мог делаться весьма грубым и насмешливым. Вообще все, кто мешал ему, становились его врагами; те же, кто, в довершение всего, пел или музицировал поблизости... становились врагами смертельными. Он легко приходил в ярость, и тогда принимался жаловаться на людей и судьбу, впрочем, на свой собственный лад, ибо то, что другой посчитал бы настоящим злым роком - потерю из-за войны должности советника и последовавшую за сим нужду, для Гофмана было всего лишь шуткой судьбы, причем, весьма удачной шуткой, ведь тот путь привел его к давно желанной профессии музыканта. Здесь он ощущал единственную здоровую струю в своем бытии; уже то, как он говорил о своем прежнем существовании 'бумажного человека', уже сами эти слова, насмешливо слетавшие с губ, ясно давали понять, что даже нынешнее жалкое состояние бамбергского театра... представлялось ему неизмеримо выше его прошлого. Не столь уж частые встречи врача со строптивым пациентом превратились в постоянное дружеское общение'. Шпейер вечерами появлялся в ресторанчике Кауэра. В нем '...за столом завсегдатаев блистал и искрился ум Гофмана, воспламеняя других... Как часто после многие вспоминали те незабываемые времена!'. Амелии рассказывали о 'временах Гофмана' - 'Сия притягательная сила вырастала до подлинного высокого наслаждения, благодаря центру, из коего исходили яркие лучи'.

Кунц Карл-Фридрих. 25 - 28 лет, виноторговец, библиотекарь и издатель, самый близкий приятель Гофмана; вместе на балах, на пирушках у Кауэра, в театре, в Буге. Крупного сложения, выглядит несколько старше своего возраста.

Гольбейн Франц фон, 32 - 34 лет. Директор бамбергского театра с осени 1810 года, известный оперный актер. С Гофманом знакомы десять лет. К.-Ф.-К. Считал его наилучшим исполнителем роли Дон Жуана. Гофман согласен с ним. Отношения с Гольбейном приятельские, но художник ревнует его к Юльхен, исполнявшей партию донны Анны... Гольбейн видный мужчина, Гофман же маленький, издерганный неудачами скиталец. Гольбейн доверяет ему все в театре, но решающее слово оставляет за собой; иногда он возражает и налагает запреты. И тогда Гофман гордо, с вызовом и обидой думает о 'службе у Гольбейна'.

Лео Карл-Фридрих, 30 - 33 лет. Известный, талантливейший актер из Штутгарта. Неуживчивый, нервный, временами впадающий в мрачную меланхолию, мнительность. Необычайно требователен к себе и искусству. Периодически срывается на дерзости. Ранним, он чувствует себя очень одиноким. Рад обрести в Гофмане поддержку, поверяет ему свои сомнения, сложные размышления.

Диттмейер Антон, 36 - 39 лет, скрипач и концертмейстер. В качестве первой скрипки великолепен, виртуоз, мастер, играет великолепно. Но когда дирижирует Гофман, из него выскакивает черт - и все-то ему неумно и все не так, как будто ему крышкой фортепьяно прищемило хвост. Гофман дирижирует, сидя за роялем, и это Диттмейера просто бесит; как можно дирижировать, изредка взмахивая рукой, кивая головой - подавая знак вступать другим инструментам, или - пронзительным взглядом!!! Непонятно, что он хочет сказать этим взглядом.!!! Но и Диттмейер сживает на пирушках в 'Розе', и здесь уже больше слушая, чем разговаривая, не смея подыматься против фейерверков Гофмана.

Марк Франциска, лет сорока, вдова американского консула, мама Юльхен. Помимо нее, имеет младших, Вильгельмину и Морица. Статная дама, обладающая скульптурными формами. Обожает искусство, имеет собственную студию, в коей рисует, лепит, вяжет. Музицирует. Но со вкусом плохо и музыкального слуха нет. Хотя... в доме ее собираются артистическое и просвещенное общество, даются концерты и музыкальные чаепития, мимические сцены. Гостей вкусно кормят: лучший повар в городе. Гофман здесь бывает из-за обедов и ради Юльхен...

Ротенхан Доротея фон, 45 - 48 лет. Графиня, вдова, богата. Имеет пять дочерей. Здесь у Гофмана много уроков. Хорошо платят. Но занятия стоят изрядного терпения. Здесь музыкальные чаепития тоже в моде. Отказаться невозможно. Пренебрегать нельзя. После угощения непременно место Гофмана за фортепьяно в роли тапера. Зная истинные вкусы капельмейстера, погорячее и покрепче, ему на крышку рояля ставят бутылку хорошего вина. Он находит, что самые прекрасные вина не искупают его музыкальных страданий. За роялем выпивает иногда три бутылки, чтобы оглушить себя.

Кауэр. Хозяин ресторанчика 'У розы' в гостинице; по коридорам ресторана и гостиница сообщались с театром. Поскольку Гофман здесь главарь дружеских пирушек, на них столько остроумия и заразительного хохота, что посетители нарочно приходят посмотреть и послушать заседания этого клуба. Хозяин посылает к Гофману еще в обед узнать, будет ли он вечером, чтобы заранее сообщить всем и пригласить побольше гостей. В такой веселой атмосфере посетители выпивают и поедают на несколько сот гульденов, в несколько раз больше, чем обычно.

Поллукс, черный пудель из заведения Кауэра. Питает приятельское расположение к Гофману. Получает вкуснейшие, ароматнейшие кусочки колбасы, печенье, сухарики, окунутые в вино. Когда Гофман возглашает: 'В Буг!', радостно выбегает вперед, лает и сопровождает. Послужил поводом написания новеллы 'Берганца'.

Грепель Иоганн-Герхардт, 32 лет. Банкир из Гамбурга, сенаторский сын. Нельзя сказать, чтоб слишком умен. Гофман находит его форменным ослом: неприятный глупый смех вызывает досаду, так что хочется сказать 'скотина'. Пожалуй, даже возникает мысль об умственной неполноценности. Появляется затем, чтобы лягнуть художника. Гофман изобретает гениальную комбинацию, но не достигает цели, поскольку глупость заодно с глупостью. Моральную победу одерживает 'Осел', пошлость и гнусность, если ослиную победу вправе называть моральной.

Зелигман. Старый бамбергский банкир. Задерживает переводимые из Кенигсберга деньги. Гофман считает, что он плутует, запутывает его.

Вильгельм, князь Виттельсбах. Гофман добродушно относился к нему, как и все бамбержцы. 'Стоит гостю заказать блюдо из форели, которая в этих краях превосходна, как хозяин не преминет заметить: 'Вы правы, сударь! Наш сиятельнейший князь тоже изволит любить форель, и я умею приготовить вкусную рыбу точно так, как ее готовят при дворе'. Гофман и сам бывал при дворе, вероятно, им был подслушан разговор Виттельсбаха с егерем, использованный в романе: 'Светлейший государь изволят горячиться и ругаться так страшно, а все же молчать нельзя и правду сказать надобно. - Кто горячится? - сказал князь успокоившись. - Кто ругается? Ослы ругаются!'.

Представление второе
Театральная мельница

Художественный язык гофмановского времени – романтизм. В богатейшей его грамматике главное правило и исходный закон – несклоняемость духа.

А.В. Карельский

Дикий, безрассудный человек... когда же, наконец, опустошительный пожар, бушующий в твоей груди, превратится в чистое пламя...?
Гофман

Бамберг начал приносить литературные плоды. В сентябре 1810 музыкальная газета напечатала новеллу 'Музыкальные страдания капельмейстера Иоганнеса Крейсlera', автопортрет писателя...

'Наконец все разошлись. Я мог бы заметить это по шушуканью, кашлю, гудению во всевозможных тональностях; это был настоящий пчелиный рой, вылетевший из улья. ...Играть я уже не могу, потому что совсем обессилел; в том повинен стоящий здесь на пюпитре мой старый друг, вновь носивший меня в поднебесье, как Мефистофель Фауста на своем плаще, так высоко, что я уж не видел и не замечал под собой этих человечков, хотя они, кажется, и производили довольно-таки изрядный шум. ... Гнусный, потерянный вечер! Но теперь мне хорошо и легко. Ведь во время игры я достал карандаш и правой рукой набросал цифрами на странице 63 под последней вариацией несколько удачных отклонений, в то время как левая рука не переставала бороться с потоком звуков!!!!.. Я продолжаю писать на оборотной пустой стороне. Оставляю цифры и звуки и с истинной радостью, как выздоровевший больной, не переставший рассказывать о том, что он вытерпел, подробно описываю здесь адские мучения сегодняшнего чайного вечера.... Читатели сейчас поймут, в чем дело, они знают: у тайного советника Редерлейна здесь очаровательный дом и две дочери, о которых весь свет с восторгом твердит, что они танцуют, как богини, говорят по-французски, как ангелы, а играют и рисуют, как музы. Тайный советник Редерлейн богатый человек; за обедами, которые он устраивает четыре раза в год, подаются прекраснейшие вина, тончайшие кушанья, все обставлено на самый изящный манер... ...Наряду с чаем, пуншем, вином, мороженым и проч. Всегда подается немного музыки, которая поглощается изящным обществом с таким же удовольствием, как и все остальное. Порядок таков: после того, как у каждого гостя было предостаточно времени, чтобы выпить сколько угодно чашек чая, и уже два раза разносили пунш и мороженое, слуги приготавливают игорные столы для старшей, более солидной части общества, предпочитающей музыкальной игре игру в карты, которая и впрямь не производит такого бесполезного шума и при которой звенят разве что деньги. Это служит сигналом для младшей части общества: она подступает к девицам Редерлейн, поднимается шум, в котором можно разобрать слова: 'Прелестная барышня, не отказывайте нам в наслаждении вашим небесным талантом'. – 'О, спой что-нибудь, дорогая!'. – 'Не могу – простуда – последний бал – ничего не разучила'. – 'О, пожалуйста! Мы умоляем!' и т.д. ... Сидящая за картами мамаша восклицает: Chantez donc, mes enfants! (Пойте же, дети! – фр.). Эта реплика отмечает начало моей роли: я сажусь за фортепьяно, а барышень Редерлейн с торжеством подводят к инструменту. Здесь опять поднимается спор. Ни одна не хочет петь первой.

– Ведь ты же знаешь, милая Нанетта, я ужасно охрипла.

– А я разве меньше, милая Мари?–

– Я так плохо пою.

– О, милочка, только начни... – и т.д.

Мой совет (подаваемый всякий раз), что они могли бы начать с дуэта, вызывает рукоплескания; принимаются перелистывать ноты, находят, наконец, тщательно заложенный лист... Талант же у барышень Редерлейн отнюдь немалый. Вот уже пять лет, как я здесь, из них три с половиной года – учителем в редерлейновском доме; за то короткое время фрейлен Нанетта кое-чего достигла: мелодию, слышанную всего раз десять в театре и затем не более десяти раз повторенную на фортепьяно, она в состоянии спеть так, что сразу можно догадаться, что это такое. Фрейлен Мари схватывает мелодию даже с восьмого раза и если часто поет на четверть тона ниже строя фортепьяно, то при ее миленьком личике и недурных розовых губках с этим легко можно примириться. После дуэта дружный хор похвал. ...Во время пения финансовая советница Эберштейн, покашливая и тихонько подпевая, дает понять: 'И я ведь тоже пою'. Фрейлен Нанетта говорит:

– Милая советница, теперь и ты должна дать нам послушать твой божественный голос!

Опять поднимается шум. У нее простуда, и она ничего не может спеть наизусть. Готлиб притаскивает две охалки нот, начинается перелистывание. Сперва она хочет петь 'Мщение ада' и т.д., потом 'Геба, смотри' и т.д., затем 'Ах, я любила' и т.д. В испуге я предлагаю 'Фиалка на лугу' и т.д. Но советница – за высокое искусство, она хочет показать себя и останавливается на Констанце. О, кричи, квакай, мяукай, издавай гортанные звуки, стеной, охай, тремолирий, дребезжи сколько тебе угодно; я взял правую педаль и грохочу fortissimo, дабы оглушить себя. О, сатана, сатана! Какой из твоих адских духов вселился в эту глотку, чтобы терзать, душить и рвать исторгаемые ей звуки? Четыре струны уже лопнули, один молоточек сломался. В ушах у меня звон, голова трещит, дрожит каждый нерв. Неужели все фальшивые звуки пронзительной трубы ярмарочного шарлатана собрались в этом маленьком горле? Ее пение меня измучило – пью стакан бургундского. Рукоплескали неистово, и кто-то заметил, что финансовая советница и Моцарт сильно меня воспламенили. Я улыбался, потупив глаза, и, как сам заметил, это выходило очень глупо. Тут зашевелились все таланты, процветавшие до сих пор под спудом, и стали выступать наперебой. Задумываются музыкальные сумасбродства – ансамбли, финалы, хоры. Каноник Картцер, как известно,

божественно поет басом, уверяет господин в прическе а la Titus... Быстро устраивается все для первого хора из 'Тита'. Великолепно! Каноник, стоя вплотную позади меня, гремит над моей головой таким басом, словно поет в соборе под аккомпанемент труб и литавр; он прекрасно попадал в тон, но второпях почти вдвое затягивал темп. ...У остальных же певцов обнаружилась решительная склонность к древнегреческой музыке, которая, как известно, не знала гармонии и шла в унисон; все они пели верхний голос с небольшими вариациями в виде случайных повышений и понижений примерно на четверть тона. Это несколько шумливое исполнение вызывало общий трагический трепет, можно сказать ужас, даже у сидящих за картами... выходило очень недурно. Наливаю себе вина. 'И это была вершина сегодняшней музыкальной выставки! Ну, теперь конец!' - подумал я, встал и закрыл ноты.

Но тут ко мне подходит барон, мой античный тенор, и говорит: О, дорогой господин капельмейстер! Говорят, вы божественно импровизируете; о, пофантазируйте же для нас! Хоть немножко! Пожалуйста!

Я сухо возражаю, что сегодня фантазия мне решительно отказала; но, пока мы беседуем, какой-то дьявол в образе щеголя в двух жилетах унюхал под моей шляпой в соседней комнате баховские вариации; он думает, что это так себе, пустячные вариации... и непременно желает, чтобы я сыграл их. Я отказываюсь; тогда все обступают меня. 'Ну, так слушайте же и лопайтесь от скуки!' - думаю я и начинаю играть. Во время ?3 удаляется несколько дам в сопровождении причесок а la Titus. Девуцы Ределейн не без мучений продержались до ?12, так как играл их учитель. ?15 обратил в бегство двухжилетного франта. Барон из преувеличенной вежливости оставался до ?30 и только выпил весь пунш, который Готлиб поставил мне на фортепьяно. Я благополучно и окончил бы, но тема этого ?30 неудержимо увлекла меня. Листы in quarto внезапно выросли в гигантские in folio, где были написаны тысячи имитаций и разработок той же темы, которых я не мог не сыграть. Ноты ожили, засверкали и запрыгали вокруг меня, электрический ток побежал сквозь пальцы к клавишам - дух, его пославший, открыл мои мысли, - вся зала наполнилась густым туманом, в котором все больше и больше тускнели свечи... Вышло так, что я остался наедине с моим Себастьяном Бахом...

Я пью! Можно ли так мучить музыкой честных музыкантов, как мучили меня сегодня и как мучают всема часто? Поистине ни одно искусство не подвергается столь бесконечному и гнусному злоупотреблению, как дивная, святая музыка, нежное существо которой так легко осквернить! Если у вас есть настоящий талант, настоящее понимание искусства - хорошо, учитесь музыке, создавайте нечто достойное искусства и в должной мере служите своим талантом посвященному. А если вы лишены таланта и хотите просто брэнчать, то делайте это для себя и про себя и не мучьте этим капельмейстера Крейсlera и других.

Теперь я мог бы пойти домой и окончить свою новую сонату для фортепьяно, но еще нет одиннадцати часов и на дворе прекрасная летняя ночь. Бьюсь об заклад, что по соседству со мной у оберъегермейстера сидят возле открытого окна девицы и резкими, визгливыми, пронзительными голосами выкрикивают во всю ночь: 'Когда меня твой взор манит' - одну только первую строфу. Наискосок, через улицу, кто-то терзает флейту; легкие у него, как у племянника Рамо; а мой сосед-валторнист делает акустические опыты, издавая протяжные звуки. Бесчисленные собаки в околоте начинают тревожиться, а кот моего хозяина, возбужденный этим сладостным дуэтом, вопит у моего окна (само собой разумеется, что моя музыкально-поэтическая лаборатория находится под самой крышей); карабкаясь вверх по хроматической гамме, он делает жалобно-нежные признания соседской кошке, в которую влюблен с марта месяца. После одиннадцати часов становится тише; я сижу до этого времени, тем более, что осталась еще чистая бумага и бургундское - я с наслаждением его потягиваю.

Я слышал, что существует старинный закон, который запрещает ремесленникам, производящим шум, селиться рядом с ученими; неужели же бедные притесняемые композиторы, которым вдобавок еще приходится чеканить из своего вдохновения золото, чтобы подольше протянуть нить своего существования, не могли бы применить к себе этот закон и изгнать из своего окружения дударей и все крикливые глотки? Что сказал бы живописец, если бы к нему в то время, когда он пишет идеальный образ, стали беспрестанно соваться разные скверные рожи? ...Стоит только подумать... вот вступает валторна - как самые возвышенные мысли летят к черту!'

...Но зато исполнение Юльхен финальной сцены 'Армиды' Глюка и большой сцены Донны Анны из 'Дон Жуана' раздвигало миры..!

Гофман сблизился с семейством консульши Франциски, стал приятелем этого шумного дома, где привечали искусства и где был хороший повар.

Фрау Франциска имела довольно привлекательную фигуру; черты лица, правда, были несколько резковаты, а пышные формы даже несколько выходили из пределов пышности. Хозяйка дома была в общем в стиле барокко, характеризующимся некой прелестью избыточности, не выходя из пределов приятной гармонии, хотя и тяжеловатой. Судя по всему, она была не слишком умна, притязательна, грубовата, пожалуй, даже вульгарна; кокетство ее было без всякой грации, изящества - неженственно, немилостиво, как расчетливость плохой лицедейки.

Среди постоянных членов этого квазиартистического кружка были библиотекарь Иоахим Иек, 'буквоед' и философ-шеллингианец Георг Клайн. Оба Гофману не нравились. Философ нередко злословил насчет хозяйки, поговаривали, из-за видов на ее формы и их досадную недоступность. Но его суждения Гофман находил в чем-то верными, позже - вполне меткими. 'Эта женщина со всеми ее художественными упражнениями, с ее пустыми фразами живет низменной жизнью! Она прозаична, прозаична, пошло прозаична!' Франциска, по свидетельству собаки Берганца, '...играла... даже сочиняла музыку, вышивала, лепила из гипса и глины; она сочиняла стихи, декламировала, и весь кружок должен был тогда слушать ее отвратительные кантаты и восхищаться ее намалеванными, вышитыми, вылепленными карикатурами'. Легко было понять философа, его досаду не только на недоступность форм Помоны, но и на это примитивное искусство: примитивность, которая странно сочеталась с мыслями о формах, вызывала грубое вожделение и распяляла жажду обладать в самом животном хищном смысле, зверея на глупость, примитивность. Как иногда женщинам нравятся ослы, так мужчинам нравятся ослицы; глупость особой противоположного пола иногда вызывает странное изощрение фантазии.

Гофман рассказывал в новелле 'Известия о последних судьбах собаки Берганца': '...То ли просто из отвращения и омерзения к ничемным, подражательным покушениям моей дамы на искусство... профессор был ее ихневмоном (преследователем, африканским мангутом. - древнегреч.), который постоянно ее преследовал и, не давая ей опомниться, копался у нее в душе. Совершенно особым ловким способом умел он так запутать и закружить мою даму в ее собственных пустых фразах, в ее философски-эстетических суждениях об искусстве, что она забиралась в глубь поросшего бурьяном лабиринта прозаической чепухи и тщетно искала оттуда выхода (выделено авт.). В своей злостности он доходил до того, что под видом глубокомысленных философских положений сообщал ей малозначительные или сводящиеся к какой-то пошлой глупости сентенции, наковые она, с ее прекрасной памятью на слова, запоминала, и всюду и везде с большой напыщенностью произносила; чем глупее и непонятнее были эти

сентенции, тем больше они ей нравились, ибо тем сильнее становились среди слабоумных восторг и прямо-таки обожествление этой замечательной, умнейшей женщины'. Гофман терпел эту особу из-за материальной зависимости, необходимости, а также потому, что не был лично задет, до поры до времени... 'А музыканты открыленными стопами перепорхнут через все; любители вкусно поест, а еще больше - выпить, они тают от блаженства перед хорошим блюдом, мирясь со светом, который подчас злорадно их жалит, и добродушно прощают ослу, что 'и-а' не образует чистой септими, ибо он всего только осел и по-иному петь не умеет. ...Моя дама наивысшего почтения устаивалась как раз от музыкантов, и когда ей удавалось после шести недель частных занятий не в такт и без выражения отбарабанить какую-нибудь сонату или квинтет, она слышала от них поразительнейшие восхваления, а все потому, что ее вина от лучших виноторговцев были превосходны, а лучших бифштеков не едали во всем городе. ...Эта добродушная снисходительность к плохому, или, скорее, терпеливое слушание беспорядочных звуков, которые напрасно силятся стать музыкой, это добродушие, это терпение возникают из некой приятной внутренней растроганности, которую, в свою очередь, неизбежно вызывает хорошее вино, обильно выпитое после отменного кушанья. Музыкантов я за все это могу только любить, а поскольку царство их не от мира сего, они, как граждане неведомого далекого града, кажутся в своем внешнем поведении и повадках странными, даже смешными...'. Художнику все явления внешнего мира 'представляются как бы в атмосфере романтически призрачного царства его души'. Великолепный бифштекс, вино, арии Юльхен...

Переполненный этими мечтами, предвкушениями, загадками, Гофман странно сливался с природой в невероятные мгновения просторности и взлета... Однажды во время праздника в княжеском парке загромила гроза, хлынул ливень, ветер с дождем вздохматили аристократический маскарад... Гофман наслаждался свободой... 'Месяц выполз из-за туч. Ночной ветерок умиротворенно шелестел в листья потрясенного леса, осушая слезы на темневших кустах. ...Дивно было у меня на душе. ...Множество блуждающих огоньков плясало и прыгало по парку - слуги с фонарями подбирали шляпы, парики... шпаги, башмаки, шали, брошенные в поспешном бегстве. Я зашагал вон из парка. Но перед самыми городскими воротами, на большом мосту я остановился и еще раз оглянулся на парк: облитый волшебным светом луны, он был похож на заколдованный сад, где весело резвятся проворные духи'.

Приезд Гольбейна, старого приятеля, руководить бамбергским театром поставил Гофмана в центре театральной мельницы - держа все нити, наблюдая 'пеструю, причудливую, полную всяких гротескных фигур, картину театральной жизни' во многих ролях: постановщика спектаклей, заведующего репертуаром, оформителя сцены, главного помощника и заместителя. Вместе с балами, чаепитиями, пирушками, влюбленностью в Юльхен - все завертелось, закрутилось, затарахтело, понеслось, поплыло... Настало время небывалой загруженности, изощрения всех его талантов. Владея почти всеми формами искусства, Гофман сам был человек-театр. Являя собой интегральную формулу искусства, художественной полноты. Вполне фантастическое существование!

Глубоко презирая поверхностность, Гофман прежде всего хотел покончить с балаганными замашками, с дешевыми выходками, рассчитанными на минутный успех, с дурацкой отсебятиной, разрушающей единство спектакля. Основа театра хорошая литература и надо понять замысел автора.

Гофману претил актерский миф, будто выдающийся лицедей способен сделать из роли что угодно по собственной прихоти, потворствующий зазнайству и фиглярской распушенности, выпячивающий самолюбование индивидуальности, профанирующий профессию - снижая задачи, потакая лености мысли, мелочному тщеславию. 'Меня начинает бить озноб, стоит лишь мне об этом подумать... Какой убогой и жалкой должна быть пьеса, если в нее вопреки замыслу автора можно вставить, вернее, если в ней можно видоизменить действующее лицо, не разрушая при этом целого!.. Вот находки для нынешних наших героев, которые в своих корчах смиренного буйства похожи не столько на пьяного драгуна в трактире, сколько на сбежавшего с урока, впервые надевшего сапоги и накурившегося табаку школьника...!'

Безвкушие публики поддерживает миф. '...Толпа, прямодушная чернь... Пожирает глазами... боготворит... объявляет великим... непревзойденным... того художника, который, как ловкий фокусник, может из одной и той же бутылки налить красного и белого вина, ликера и молока. ... 'Это разносторонний гений!' - кричит прямодушная чернь, добровольно поддаваясь мистификации, а то и веря, что этот шельма фигляр и впрямь владыка своей бутылки...!'

Чтобы добиться своего, Гофману, как режиссеру, нужно было уломать подобных любимцев публики, привыкших, словно джин из сказок тысячи и одной ночи, выскакивать на сцену из своей бутылки. '...Благосклонно улыбается богу, который сверкает в его глазах' в зеркале славы, а между тем сие божество, '...бог этот, только что метал молнии в какого-нибудь беднягу коллегу, простого смертного... гремел, неистовствовал... может быть, дал какой-то вздорный бой директору...!'

Сложность задачи в том, что Гофману приходилось иметь дело не просто с коллективом функционеров, как в иных, нефантастических сферах, но со стихией импульсивных порывов, сложные элементы которой гораздо более автономны и непредсказуемы. Постановщик спектаклей должен направлять яркие актерские индивидуальности куда ему нужно, исподволь составляя из их импровизаций и субъективизма некий задуманный им художественный результат; чутьем улавливая, где гася, а где усиливая индивидуальные акценты, чтобы вызвать вдохновенный резонанс в кульминационный момент театральной жизни - на спектакле.

Вся сложность ведь в том, что игровая стихия пытается выйти из-под контроля; и не просто выйти - директор сам подвергается множеству прямых и неявных воздействий. Ведь актеры '...в большинстве тщеславны, неуживчивы, своенравны, капризны, экстравагантны; несчастен тот, чья злая судьба пожелала собрать под одним началом такие беспокойные и упрямые головы!'. Предстоят репетиции и много непредвиденного; чтобы поставить спектакль, '...мне придется еще выдержать тяжкую борьбу с моими прелестными господами и дамами, которые никогда не хотят того, чего хочу я. Постоянно пребывая в разладе друг с другом, они бывают единомышленны только тогда, когда нужно воспротивиться моей воле и расстроить мои замыслы!'

Особенно милые актрисы... Для достижения собственных целей нередко пускается в ход непревзойденное, усиленное профессиональными навыками, искусство обольщения... Режиссер рискует запутаться в этих сетях: испытания, которым он подвергается ежедневно, как и многим иным интригующим неожиданностям... 'Проклятая изнеженность!.. Полученная или неполученная роль, нелюбимый цвет костюма... коллега, которую награждают бурными аплодисментами или, того пуще, вызывают... молчание или умеренное одобрение публики, когда ждешь фурор, даже сам воздух в зале репетиций - все это действует на них, как сирокко, и валит их если не на постель, то на кушетку, где они с повязкой на голове... и в изыщном неглиже жалуются в мелодических речах на свои страдания молодому галантному эстетствующему врачу. ...Моей несчастной судьбе было угодно, чтобы в моем маленьком, ограниченном в средствах театре оказались однажды две девы - Орлеанских, я имею в виду. ...Мне незачем

расписывать, как это оплошно посеянное мной самим зло обильно всходило, буйно росло и пускало завитки всяких дьявольских склок и неприятностей...'. Театральная повседневность - глубокая трагедия... художественного директора театра! Разыгрывающаяся на фоне непрерывной комедии...! '...Как ни парадоксально, я предпочитаю выдерживать ярость заблужденной итальянки, чем терпеть, чтобы меня медленно вводили своими придирами, жеманничанием, капризами, нервными приступами и недомоганиями наши немецкие театральные дамы'.

Разумеется, актеры неплохие люди. Все дело в особенностях театрального существования. '...Но чуть ли ни с каждым возникает какая-нибудь загвоздка. Мне, например, всей душой предан актер, который играет характерные роли настолько чудесно, что вполне заслуживает стать любимцем публики... Он относится к искусству серьезно, и отсюда то неутомимое трудолюбие, с каким он не столько заучивает роли, сколько вживается в них. Но никогда нельзя быть уверенным, что роль удастся ему, потому что какая-то непонятная раздражительность, вызванная затаившимся у него в душе мрачным недоверием, может мгновенно вывести его из себя (речь о Карле-Фридрихе Лео. - авт.). Это недоверие направлено и против других, и против него самого. Неправильно произнесенная партнером реплика, несвоевременный выход персонажа на сцену, даже упавший во время монолога меч, подсвечник и т.п., особенно шепот близости, в котором ему обычно слышится упоминание его имени - все, что ни произойдет по вине случая или человеческой слабости, он принимает за злоумышленную помеху своей игре, сбивается от злости, а потом набрасывается даже на доброжелательных друзей. Точно так же он негодует на самого себя, если, например, обмолвился или если вдруг что-то в собственной игре покажется ему неподобающим. ...Все это настолько выводило его из себя, что часто умолкал или даже с грубой бранью покидал сцену...'.

Вероятно, Гофману приходилось разговаривать с ним: 'Без ясного чувства недостижимого идеала, без неустанныго стремления нет художника. Только его недоверие не должно вырождаться в сплошное недовольство и превращаться в ипохондрическое самоистязание, которое парализует творческую силу'. Но разговоры мало помогают в том, что решает физический склад, нервная система. '...Это недоверие, это недовольство превратилось в самую настоящую болезнь. Дело дошло до того, что в бессонные ночи он слышал вокруг себя разговоры, темой которых был он и в которых, как правило, жестоко обсуждалась его игра. Он все пересказывал мне, и я только диву давался, ибо тут были тончайшая художественная критика, проникновеннейшее понимание каждого момента...'.

Лео был наверно гениальным актером. Гофмана восхищала в его исполнении роль Гамлета. Вечная неудовлетворенность заставляла его кочевать с места на место в поисках идеальной сцены. Но внешняя действительность довольствуется поверхностностью, тяготея к пошлости и посредственности. Редкий вкус и понимание Лео, его недовольство посредственной средой, воспринимались этой же средой как эксцентричность неприятного свойства. 'Впрочем, актер, о котором мы говорим, действительно принадлежит к числу редчайших, но поскольку он часто бывает во власти настроения, публика большей частью его не понимает, коллеги же ненавидят, ибо он никогда не опускается до их пошлостей, до их низменных шуток, до их мелочных сплетен...'.

Однажды во время монолога Лео заметил, что две девушки в ближней ложе увлеченно болтают о чем-то своем. Это вывело его из себя; роль его была разрушена; побледнев, он произнес: ' 'Когда гогочут гуси, умолкаю!', и ровным шагом покинул сцену. Публика вознегодовала. И ему пришлось принести извинения... Пожалуй, происшедшее, скорее смешно... Публика здесь тоже вошла в роль... публики!

'...О вызовах... Так вот, для актера, о котором я рассказываю, ничего не было несноснее, чем когда его вызывали, если ему казалось, что он скверно провел свою роль... До сих пор рассказываю в том, что однажды, когда он прекрасно сыграл Гамлета, но, по его мнению, испортил несколько мест, я, несмотря на его отказ, заставил его выйти на зовы публики... Он вышел, медленно, величаво подошел к самой рампе, обвел удивленным взглядом партер и ложи, сложил на груди руки и торжественным голосом произнес: 'Господи, прости им, ибо не ведают, что творят!'. Можете себе представить, как тут все застучали, зашикали, засвистели. А он вернулся в уборную в прекрасном расположении духа, словно свалил с плеч великую тяжесть!..'

Поразительно: публика ведет себя как зверь, и пребывает в заблуждении, будто хозяин на спектакле она, и актеры призваны делать, что она пожелает, что ей приятно; во всяком случае, с большой почтительностью воспринимать ее благосклонность, как награждаемые слуги, коим господа оказывают милость; между тем, как она всего лишь гость в театре, а высший хозяин здесь не видим...; вдохновение, нисходящее на сцену из беспредельности, из глубин бытия, великой тайны единства духа с этими непостижимыми глубинами...

Подобных происшествий в театре хватало. Гофман потешался над театральной механикой, когда самопроизвольно срабатывающие рычаги в самых захватывающих сценах спектакля роковым манером вмешивались в действие, и актер, играющий злодея, внезапно проваливался в преисподнюю подмокоту... В 'Необычайных страданиях директора театров' персонаж иронизировал, мол, публика была слишком взволнована напряженным действием, и поскольку на первом месте в театре должна быть забота о спасении перегретой публики, то ради этого вполне допустимо немедленно убрать со сцены источник переживаний, рискуя даже подвергнуть актера опасности ушибов и переломов...

Публику нельзя подвергать потрясениям, ведь она приходит развлекаться. Скажем, 'вместо того, чтобы пользоваться так называемыми пушечными машинами или в самом деле стрелять, можно просто сильно хлопнуть дверью уборной; этим никого особенно не напугаешь'; также когда при раскачивании досок, на которых нарисованы волны, раздается немелодический скрип прибоа, сие при достаточной благосклонности публики сойдет...

Театр оказывает странное действие, даже когда заметно и понятно, как создаются условности. Зал и сцена проникаются фантастическим настроением, включаются в игру, сохраняя некоторую раздвоенность - в реальности и в фантастическом вымышленном мире заговоривших и воплотившихся призраков, вышедших на сцену из головы автора...

В театре фантастическое забирает власть, покоряет воображение, воспламеняет вымысел, делает возможным невероятное. Скрыто надо всем царит некий высший разум; фокусирующий луч глубинной реальности чертит интригу и лицедействующие маски, рождает слово и мелодическое звучание; легко забиться и выпустить эту нить, ведущую на поверхность... поверить в причудливый произвол внутреннего чувства, прихоть воспламененной фантазии, потерять связь с внешними условностями... Ведь они игра, но искусство игра высшего свойства... беспредельной полноты с беспредельной невыразимостью...

В результате, неудивительно, актеры, существующие в обстановке театра на грани реального и призрачного миров, превращаются в особую породу существ, ходячие фантазии, в головах которых темные лабиринты бессознательного незаметно сливаются с лабиринтами кулис, декораций и со сценой. Гофман знал здоровых людей, кои '...по внутреннему порыву посвящали себя театру и при полном здоровье впадали в особое актерское

безумие, стоило лишь им ступить на роковые подмостки'. Заразительное безумие захватывает всех, кто по роду занятий привыкает видеть театр средоточием вселенной, наблюдая вселенную из представлений со сцены. 'Разве вы не замечали, мой глубоко уважаемый... друг, что все низшие служащие театра с заскоком, как принято выражаться, обозначая какую-нибудь странность или нелепость в поведении? Занимаясь обычным ремеслом, портняжным, парикмахерским и т.п., они мыслью возносятся в театральные роли и полагают, что весь их земной труд вершится ради золотисто-бумажных небожителей, служению которых они себя посвятили и которых ставят превыше всего, даром что сами же злословят о них. Скандальная хроника театра нужна им, как ключ, отпирающий любую дверь'.

Гофман, который чувствовал себя в театре словно рыба в подводном царстве, свободно вошел в полученную им роль везде поспевающего, хлопотливого, искушенного, 'опытнейшего мастера театральной кухни', искусного повара, приготавливающего для публики пиршество, для театра же наполняемую звоном флоринов кассу.

Интрига, фабула спектакля начинается задолго до самого представления. Гофман ощущал себя стратегом великой интриги (мелкие уловки, крупницы умной злости); он наслаждался властью гения, повелевающего художественной, артистической стихией, будто всю ее держал не вне - внутри черепной коробки. Наслаждался дальновидностью и гораздо более четким пониманием задач, основанным на превосходстве интеллектуальном, на проницательности разума, последовательно направляющего волю. 'Непоколебимая твердость воли в решающих делах вопросах с примесью мягкой, а часто и лишь кажущейся уступчивости в несущественных, но, на взгляд глупцов, необычайно важных пустяках - хороший фундамент для воздвижения театрального трона...'. Испытывал, где надо, подъем, сознание неукротимой силы, безграничных художественных возможностей, готовое перейти в ликующий, дикий, победный крик. '...Вечный вопль театральных директоров, желающих, выражаясь обычным языком сцены, схватить публику за шиворот...', с тем чтобы 'поднять ее до поэтической позиции', возвысить до понимания мистики искусства..!

Гофманическое дерзание в бамбергском театре: здесь ставились самые лучшие пьесы. Шекспир без изыятий, переделок, обычных в то время. Гофман смело вел театральное дело - и получалось. '...Я постепенно открыл свое мнение о высоких достоинствах пьесы, словно только теперь их заметил, и по поводу того, как ее надо играть ('Двенадцатая ночь'. - авт.). Все походило скорее на товарищеское совещание, чем на обучение. Мне удалось расшевелить, зажечь делом даже вялые души, все козыри были у меня в руках! Даже оба дворянина, от природы большие хамы, приладились удивительным образом и, лишь чуть наведя лоск на собственное природное хамство, оказались весьма заняты и забавны. ...Благодаря поразительному единству игры действие стало прозрачным... Воздействие на публику было именно таким, какого я и ожидал. ...Представьте себе живейшее участие с начала до конца, сплошные бурные аплодисменты...'.

Но была также внутренняя таинственная духовная жизнь, глубина которой была темна. Наваждение влюбленности, слитое с театральной обстановкой, призрачно-реальной... Донкихотская история, происходившая из совпадения 'необычайных обстоятельств и духовных соотношений'.

Нет искусства более эфемерного, чем театр! Спектакль не оставляет по себе ничего... полыхающее и исчезающее пламя вдохновения... особое настроение актерской профессии: власть мгновения

Предельное состояние. На грани отчаяния и бесшабашной отчаянности. Жизнь - вдохновенное исчезающее, ускользающее, неповторимое мгновение!

Подобное состояние создает атмосферу театрального зала: пьянящую, огненную, гераклитовскую. Раз и навсегда сошлись вы здесь, на этой сцене самой вечности и вокруг нее ради некоего высшего смысла, метафизической искры, проскакивающей в интриге спектакля..! Вот почему стойко в этой атмосфере пламенение фантазии и призраки им порождаемые...

Метафизическое измерение сцены порождает тоску и томление, мечтательный порыв, предчувствие сверхчувственного, мистическое ожидание появления тайны...

Здесь неизбежно примешивается 'конфликт с бедной скудной внешней действительностью', вызывающей презрение, ненависть, раздражение - и тем более страстную приверженность внутреннему призрачному пламени...

Самое время было возобновить ежедневные записи в начале 1811 года, прерванные в ноябре 1809...

1.1. 'In nomine domine (во имя господне - авт.) ... Вечером видел 'Пумперникель'. Был не в духе; головная боль; фантазии', - вначале осторожно написано...

2.1. 'Вечером у Кунца (знак рюмки)... Dito плохое настроение'. Из-за влюбленных фантазий...

Навязчивое состояние... Пытался охладить себя: в Буге - прогулка по большому холоду. Замерз. Прибежал к Кунцу. Выпили. Головная боль, плохое настроение. Принялся читать 'Галле и Иерусалим, студенческая пьеса и приключения пилигрима' Ахима фон Арнима (на кою написал пародию фон Бломберг: 'Пьеса небесного посланца карбункула Фосфора Соляриса, которую он сам произвел на свет, играл и смотрел'). Никак не шло. В девять часов - немного... (знак рюмки). Бессонная ночь.

6.1. '...у Беверна (ресторан. - авт.), необычайно экзотический вечер в 'Пумперникеле', затем в редутном зале (до шести с половиной утра) экзальтированное, юмористическое настроение, напряженное состояние вплоть до мыслей о безумии, которые часто приходят мне в голову. Почему и во сне и наяву я так часто думаю о безумии?'.

На завтра поднялся в состоянии ужасающей бодрости. Последовало вперемешку: уроки, прогулка в Буге, танцы в 'Кассино', визит к доктору Пфейферу, ресторан Кауэра, экзотический вечер в редутном зале...

На следующий день: 'Раздраженное, насмешливое настроение; у Кетхен (называл Юльхен по имени Кетхен из Гельбройна, героини пьесы фон Клейста 'Испытание огнем'. - авт.)... у Гольбейна - репетиция...'.

9.1. Сильный приступ ревматизма: схватило спину и грудь. Бессонная ночь, лихорадило.

Юльхен пришла с младшей сестрой Минхен, не подозревая, что тридцатисемилетний художник всю ночь фантазировал о ней. Все друзья навестили его, Шпейер, К.-Ф.-К., Гольбейн.

Гофман быстро пошел на поправку, через пять дней уже у Кунца очень сильно... (знак рюмки)...

Пил пунш и писал оперу - но умеренно...

Пунш исчерпал свои возможности. Попробовал под бургундское... Хорошо пошло! Вдохновенно работал над 'Авророй'!

Но на завтра занятия с бездарными ученицами разрушили вдохновение совершенно!!! Зашел к К.-Ф.-К. И засел там; опрокидывал рюмку за рюмкой; 'пребывал в скверном угнетенном состоянии'.

Все сминилось прекрасным пением Юльхен... Вдохновенное настроение, импровизации на рояле.

28.1. 'Ночью еще два часа в Редутном зале, был очень подавлен отсутствием приятных ощущений, которые соответствовали бы всему предшествующему'.

31.1. В театре, спектакль. Вечером ужин в ресторанчике Кауэра с актерами. Все время не в духе.

3.2. Разговоры с Гольбейном вечером на спектакле. 'В высшей степени раздраженное состояние - вплоть до романтических причудливых порывов. Ктх (Кетхен. - авт.). De profundis clamamus (Из бездны взываем. - лат.). Вечером в 'Розе' нагурился пуншем'.

10.2. '...У Зейферта - возбужден (знак рюмки). ...В 'Розе' нагурился пуншем - приятное и несколько романтическое настроение; ... Ктх'.

12.2. 'В 'Розе' - возбужденное состояние, скверная ночь, совершенно не спал ... Ктх'.

14.2. '...Все время бодрствующая фантазия в сочетании с невероятной ленью ... Ктх ... Ктх ... Ктх'.

22.2. 'Вместе с Ктх в театре - энтузиазм, безрассудство и страдания...'

25.2. 'Вечером в театре, потом на балу. Кунц. Снова на балу ... (знак рюмки) в высшей степени.

Эксцентрические выходы во множестве. ... Ктх ... Ктх ... Ктх!!! Возбужден до безумия'.

28.2. '...Черт побери! Это странное состояние... я или застрелю себя как собаку, или сойду с ума!'

Познакомился с композитором Мариа фон Вебером, приятно беседовали. Но странное состояние...

В ночь на 18 марта, день рождения Ктх, Гофман написал сонет, плохие, выпренные стихи - по заверению остроумных французов, верный признак искренней страсти.

Сонет прилагался к цветам. Букету? Охажке? Как бы не так! Запись: 'Приготовление к отправке куста роз... Вечером великолепное пение Кель - entusiasmo по поводу Ктх достиг чуть ли ни высшей степени'. Энтузиазм действовал подавляюще на него самого...

10 - 22.3. 'Dies tristes et miserabiles'.

Консульша была потрясена происшедшим, куст, преподнесенный в знак... чего? - поразил ее немотой и оцепенением на некоторое время, какой-то непонятной ей самой нерешительностью, она была почти испугана. Неужели такое возможно..? Капельмейстер - сумасшедший, он ненормальный..! Какая ребячливость! Он обезумел... С ненормальными надо поосторожней... Она стала подглядывать за уроками, тревожилась и все более раздражалась... Фрау Франциска вышла из оцепенения 25 марта: Фантастическая блажь !!! ...Медный пфенниг!!! Стремление к чудесному и необычайному! Нищий ненормальный компрометирует ее дочь, юную девушку! Почему она должна церемониться с позабывшим всякие приличия комедиантом погорелого театра?!

О, она была нормальна - как расхожая штампованная монета. Она имела право плевать на романтические вселенные и бесконечную тоску по беспредельному! Консульша, как порядочная женщина, не понимала таких слов. И она высказала - большая полная дама - высказала все этому фортепьянисту-импровизатору, этому потешнику и брэнчале чайных вечеров! Она надвинулась на маленького капельмейстера как туча; искаженное лицо ее, 'при необычайных обстоятельствах и духовных соотношениях', сделалось еще грубее, резче, вульгарнее, маска потуг на ум и изящество совсем слетела и выступили глупость и хамство. Она обрушилась на влюбленного с хамскими репликами. Почти раздавленный этим могуществом обывательской правды, изничтоженный, униженный, Гофман записал вечером: 'Из ряда вон выходящий, мерзкий, убийственный, раздражающий разговор с консульшей Марк... презрение, оскорбленная гордость... infamie (гнусность, бесчестие, глумление - фр.). Сразу же переговорил с Гольбейном - чтобы не отказаться от твердого решения покинуть Бамберг'. Гольбейн был ошарашен: погодите, мой друг, что случилось..? не надо горячиться, не надо расстраиваться..!

Назавтра: '...со вчерашнего дня совершенно болен!'. Кунц и Гольбейн прогуливаются с ним, утешают, уговаривают... В ход идут лучшие вина; все его высоко ценят, готовы уладить неприятность, объяснить консульше, что такое художник, романтик. В дружеском тепле он наконец обретает почву под ногами, немного отходит, даже проникается светлым чистым поэтическим настроением... но ненадолго. Снова погружается в мрачность, подавленность, тревогу и тоску... И сидение в 'Розе' бессмысленно, и в винных подвалах господина Кунца - не в состоянии ничем заниматься, он чувствует одно: как душа его изранена...

Кунц поехал с ним в соседний Байрейт и познакомил с Иоганном-Паулем Рихтером; вернулись на следующий день поздно вечером. Гофман: '...Настроение в высшей степени мрачное'.

Гольбейн подумывал забрать его в Вюрцбургский театр; об этом перемолвились 21 апреля. Состояние художника все еще патологическое, страдальческое, неустойчивое... 'В театре в первый раз близко соприкоснулся с Ктх; следствие: совершенно *decrescendo* (упадочное. - итал.) настроение'.

Вновь появилась возможность заняться фресками... Дядюшка Шпейера, старый врач, пригласил Гофмана с Мишей погостить у него летом в Альтенбургском замке, подаренном архиепископом Шенборном; одну башню доктор отремонтировал, вокруг развел фруктовые сады...

Гольбейн, который хотел вести сразу два театра, все же решил бамбергский оставить на Гофмана. Настроение Э.-Т.-А. Поднялось: оказалось, Гольбейн сумел привлечь к участию в театральных делах его светлость князя Баварского. Гольбейн и Гофман были приняты при дворе с неподдельным радушием...

Несколько неожиданно выяснилось, что спокойная Миша находит романтические фантазии неприятным заскоком, если угодно, затянущимся балетным прыжком, нелепой пантомимой полета - малоподходящей для почти сорокалетнего мужчины в темно-коричневом сюртуке с дымящейся трубкой в зубах...

Гофман вновь забросил записи...

В сентябре 1811 умер дядя Отто. Гофман затребовал и получил пятьсот талеров. И жаль было старика, ведь в сущности он был неплохим человеком - со своим честным заскоком в агрономию и безграничным помещичьим досугом сквайра и сэра... Как варварски виртуозно терзал он старенький клавесин! Как мило танцевал минут под музыку сарабанды..!

В ноябре некий отчаянный заскок иного писателя-романтика бросил мрачную тень на гофманически романтическое существование: тень фон Клейста с дымящимся пистолетом.

Писатель поставил две точки свинцовыми пулями. Покинув Берлин с возлюбленной Генриеттой Фогель, они углубились в лес; там по ее просьбе он застрелил ее, потом себя; произведя заскок в единственную реальную абсолютную непрерывность вечного небытия.

Пошлости в газетах... пристойнее было бы молчать.

Гофман пытался забыться в вине и гурманстве.

Вином, переводившим его в особое состояние, пожалуй, пользовался он с излишне магической регулярностью. Голова крепла в винных парах, градус разума повышался, пламенело остроумие, полнота бытия плыла, предметность сдвигала границы, сливаясь с фантастической нереальностью мечты... Но без вина не было уже ни хорошего настроения, ни продуктивности, ни вдохновенного подъема... Неприятные впечатления нужно было немедленно растворить в хмеле...

Но зато в гофманической приверженности винопитию была приятная сторона дружеских пиршеств в ресторанчике Кауэра. Это был клуб, в коем из свободного общения остроумных собеседников рождался спектакль блистательных импровизаций смысла. Вольный театр – самая свободная из всех приличных вольностей..!

Смысл театра в приятельском доверительном общении, проникнутом осмыслением бытия.

Искусство – самая совершенная форма общения и сообщения. Изобретательное, вдохновенное сообщение. Всякое искусство – театр, спектакль, представление.

В основе возвышенная романтическая позиция: настроенность на человеческое единство перед великим смыслом бытия. Солидарность перед беспредельностью бездн вселенной... летящих в пустоте мириадом звездных миров...

Вечер, жарко пылающий очаг гостеприимства, сверкание люстры, вино и отменные кушанья придавали всему особый смысл сообщничества. Гофманический гений осенял эти пиршества.

К.-Ф.-К. Писал: 'Гофман редко пьянел, сколько бы ни пил на этих пиршествах... Да и то это случалось лишь тогда, когда его хорошее настроение было чем-то испорчено, например, если за столом оказывался кто-нибудь из тех, кто, как он говорил, прозаически продал душу дьяволу, либо из тех, кто продолжали чинно сидеть или глуповато улыбались, не понимая шутки, даже когда он рассказывал какую-нибудь очень смешную историю и общество раздражалось безудержным смехом. На таких он сердился, нередко даже приходил в ярость и лишь тогда умерял свой пыл, когда я, неизменно восседая рядом с ним, несколько раз привычно наступал ему на ногу. Но совсем успокоиться он не мог и нередко в отместку громко задавал мне вопрос, который достаточно хорошо был слышен тому, кого имели в виду: 'Что вы думаете, дорогой, о глупости? (При этом он бросал недвусмысленный взгляд на того, кого это касалось). Что касается меня, то я от нее без ума'. Обычно это помогало; в иных случаях требовалась большая доза словесного пороха, например: 'Вы полагаете (громко), что за столом, где сидит множество умных и веселых людей, найдется место и пошлым, поверхностным педантам (любимые словечки Гофмана)?'. Зачастую этого заряда бывало достаточно, и тот, кого имели в виду, либо исправлял свою ошибку, либо откланивался.

Яростные вспышки гнева случались у него за все время лишь несколько раз; тогда он был слишком расстроен, причем его намерения на того или иного неприятного человека не достигали цели; в таких случаях он несколько приподымался со стула, стучал по тарелке и вполголоса, но все же достаточно слышно говорил как бы про себя, водя вилкой по тарелке: 'Дражайший! ...Вы, справа в углу... Вы даже не представляете как я вас почитаю... хотя вы и осел... Однако не окажете ли вы мне бесконечную любезность и не будете ли столь добры... удалиться!'. Это, конечно, оказывало действие, и несколько раз я наблюдал почти электрический эффект от подобного удара обухом'. Вроде бросания чернильницей в черта, как Лютер...

Покончив с ослими, можно было расположиться в компании хотя бы спокойно; он выпивал вина и пьянел, и тогда с губ его слетали короткие фразы... и все понимали, что он не в настроении, фейерверка не будет...

Гофману хотелось в Италию... Вокруг не видно было никакого просвета, хотелось разорвать круг безысходности, безнадежности... Постановка его опер в нескольких театрах не принесла известности...

1.1. В начале 1812 года снова возобновление записей...

3.1. 'Работал как лошадь в качестве театрального архитектора – настроение скверное, болен... – плохое начало'. Вялость, плохое настроение, ночь в 'Розе'.

5.1. Получил вексель из Кенигсберга, заплатил долги. '...Возбужденное, но плохое настроение ... Ктх ... Ктх ... в 'Розе' (нарисованы две рюмки – в степени...)...

6.1. Египетский храм в театре. Вечером в 'Розе'. Потом до 4 часов утра в Редутном зале.

7.1. '...Спал в изнеможении'.

8.1. 'Нашел, что можно отвлечься от Ктх. Говорил – и с ней и не с ней. Взволнованное состояние; острословие в 'Розе' – увы, увы...'

9.1. '...Ктх... странные противоречивые события... возбужденное состояние... взбешен до крайности ... Ктх ... Ктх ... Гибель витеает надо мной, и я не могу ее избежать'.

10.1. Неприятный разговор с Кунцем. '...Безразличное настроение, спад напряжения'. Раздор произошел из-за Миши. К.-Ф.-К. Вспоминал: 'В наших частых беседах и спорах на литературные темы его главный рефрен в случае несовпадения мнений был: 'Довольно! Моя жена думает точно так же' или 'У нас с женой мнения об этой книге совпадают'. Спор обычно тем и заканчивался. Порой приходилось проявлять исключительное терпение, щадя его, не обращая внимания на надменность, что, признаюсь, бывало нелегко'. Гофмана задевало мнение приятелей, что Миша не могла быть духовно близка ему; что она простая женщина, в то время как его выводили из себя притязательные женщины, полагавшие себя интеллектуалками, поскольку им удавалась словесная имитация интеллекта. 'Скажи, разве Коринна никогда не вызывала у тебя отвращения?'. Персонаж госпожи Стаель – потуги на нечто несусветное; независимая, высокоодаренная, 'поэт'. Вопрос из новеллы 'Сведения о последних судьбах собаки Берганца'. Подобные 'поэты' и 'писатели' были Гофману так же противны, как самовлюбленный, манерный, мстительный Захария Вернер. 'Ах, мой друг, говоря об этом, я уже чувствую губительную вялость, неопишемое отвращение'. К.-Ф.-К. Признавал: '...Он терпеть не мог ученых женщин'. На сей счет Карл-Фридрих полагал его мнение предвзятым и не понимал превосходства Миши относительно мнимоинтеллектуальных стерв. 'Но Гофмана нельзя было уязвить сильнее, нежели дав понять ему, что друзья не разделяют его мнения на сей счет. В самом деле, порой это бывало невыносимо; он пытался всячески провести свою навязчивую идею, заставив друзей поверить в свою жену как в эдакое ученое, критически мыслящее евангелие'.

11.1. Пил с актером Бодде в 'Розе'... 'безумные мысли... Ктх в высшей степени... O dei (о, боги! – итал.). Это слишком жестоко... che fate voi (что вы делаете [со мной]. – итал.)'.

18.1. 'В высшей степени возбужденное состояние. Решения (знак рюмки)'.

19.1. 'Ктх... Ктх. О, дьявол, дьявол! Я думаю, что в этом демоне скрывается нечто в высшей степени поэтическое и нужно видеть в Ктх лишь маску'.

Гофман много танцевал на балу с дочерью княжеского канцлера, что было Ктх замечено...

22.1. 'Ктх очень любезна. ...Настроение безразличное'.

23.1. '...Ночью до 12 часов 'Роза', настроение отвратительное... Ктх во все возрастающей степени, +++...'

24.1. Занимался декорациями, рисовал. Хотелось видеть Ктх. Вечером поспешил к консульше. А Юльхен была в театре... Неприятное разочарование. Решил больше никогда! Не ходить туда! Досада... 'После этого вдрызг напился в 'Розе' '. Домой после полуночи.

25.1. Едва проснулся, побежал к консульше; фантазии и мнительность привели там к столкновению с Гольбейном. Затем рисовал 'у Гольбейна' – надо понимать, в театре...

26.1. Рисовал, '...пребывая в роковом настроении'. Вечерний спектакль; 'после этого нагрузился пуншем у Кунца. Экзальтированное состояние... предчувствие необычайных событий, которые дадут направление моей жизни или ее – оборвут! Вплетаются мысли... (рисунок: выстрел из пистолета)'.
30.1. 'Возбужденное состояние... моя ярость и боль достигли такого предела, что, вероятно, будут иметь какие-то последствия'.

31.1. 'Ктх в театре... давно уже не было такого скверного, отвратительного настроения (рюмка), чтобы его прогнать. Семейная сцена в театре... все напрасно. В ярости раздражен до... (рисунок: выстрел из пистолета)...'.

2.2. Занят рисованием декораций. - '...Сцена в гардеробной...'.

Театральный портной изливал обиду в яростных возгласах: 'Эта гиена... эта ведьма... эта гнусная особа... эта дрянь... этот устаревший роман с новым заглавием... эта допотопная древность... эта отслужившая колода для париков... это изношенное парадное платье'!

Оказалось, примадонна на примерке высказала недовольство платьем: плохо сидит... 'Он заикнулся о гениальном размахе, с которым природа творит иногда свои формы... Но поскольку примадонна не унималась и ввернула что-то насчет неумелости, полного отсутствия вкуса, глубоко оскорбленный портной выпалил, что нужно быть молодой и красивой и не напоминать сложением до отказа набитый саквояж... Услышать это... сорвать с себя мантию... платье... швырнуть все в лицо портному... – дело одного мгновения'.

5.2. 'Dito работал... в некоем поистине ужасном настроении ... Ктх до безумия, до подлинного безумия... ревность к Гольбейну... совсем поздно в 'Розе' – настроение переменялось. Наблюдение над самим собой – которому грозит гибель – что-то необычайное, еще неизведенное'.

7.2. 'Вечером помогал в 'Кетхен из Гельбройна', в сцене пожара. Весьма насмешливое настроение, ирония над самим собой, почти как у Шекспира, где люди пляшут вокруг разверстой могилы'.

9.2. В монастыре капуцинов, обед. Великолепные патриархальные головы монахов. Настенные часы - 'Помни о смерти'. Настроение перешло в восторженное. В Редутном зале совершенно стряхнул с себя это настроение. 'Вечером в театре Ктх – затем до 5 часов в Редутном зале, глупые вульгарные выходки с господином Кунцем'.

11.2. С 12 ночи до семи утра в редутном...

13.2. 'Провел очень неприятную ночь... чувствую себя плохо ... потом в 'Розе' (рюмка) до 1 часа ночи...'.

15.2. 'Ктх... Ктх... Ктх...; в высшей степени угрюмое, фатальное, раздраженное состояние...'.

16.2. '...Раздражен на весь мир propter (из-за. – лат.) Ктх'.

17.2. В гостинице приезжие актеры. 'Беготня вверх и вниз по лестницам. Вечером ужин с вюрцбургскими актерами и актрисами, засиделись до 3 часов ночи'.

23.2. В театре осмистана публикой комическая галиматия 'Родерик и Кунигунда', которую Гофман сочинял. Ни малейшего впечатления на него: настроение приятное.

Нагрузившись пуншем и винами в разных местах, написал шутивное письмо Гольбейну: '...Кажется, будто вы владеете магическими чарами гремучей змеи; женщины, на которых вы бросили взгляд, навсегда обречены, и, потворствуя роковой власти, стремятся навстречу собственной гибели; огнем сверкают стекла окуляров...'.

На завтра, 28.2, мучительно скучал – вялое глупое состояние...

29.2. 'Ктх в высшей степени мила, оживлена и пр. Вечером ужин до 3 часов ночи... странные выходки (рюмка) – влюбленное настроение' – целовал ручки фрау Вильгельмины (жены Кунца). 'Вечером в 'Розе' – Диттмейер... dito взволнован из-за Ктх – плохая ночь'.

5.3. 'Вечером в театре – Ктх... я в гнуснейшем, мучительнейшем настроении – безумства ревности! О!'.

8.3. 'Приехал из Гамбурга купец Грпель', выписанный заочный жених...

В голове Гофмана толчея мыслей, даже невероятный кавардак... приятнейшее настроение, 'надежды'... затем сведения – Грпель приехал свататься: 'какое умственное убожество...'; одолевают мысли с... приятно... плюс к этому 'надежды', а поверх них совсем иное – 'и слава богу, судьба желает добра мне и моему творчеству' – Юльхен заберут в Гамбург; после – у консульши приятно, и надежды не покидают его; вдруг 'Охватывает странное малодушие!!!!: за кого выдают девочку, на нем же печать слабоумия! Разве это не видно..?! а вдобавок почудилось, будто Юльхен расстроена – из-за отъезда Грпеля!!!

2.4. Настроение приятное, но напала '...кошмарная боль в желудке (результат нервного перенапряжения) ... пересилил себя... Был настроен отвратительно... Юльхен отказалась танцевать со мной и была еще сверх того невыносимо груба (я казался ей пьяным): это меня ужасно раздражало... несчастная ночь'.

6.4. Помирился с Юльхен (окрыленная рюмка)!!!

9.4. 'Ктх дружески нежна... странное настроение'.

18.4. Вечер у консульши. Весна '...снова пробуждает почти побежденную обезьянью природу'.

После запись по-итальянски: влюблен в Вильгельмину 'аки дьявол'.

25.4. Чаепитие у консульши. 'В высшей степени любопытный разговор с Ктх: 'Вы меня не знаете, моя мать тоже, никто; я должна многое прятать глубоко в себе; я никогда не буду счастлива'. Что это значит? ... Videatur (видимо. – лат.) загадка, отгадку которой должно дать будущее'.

Напряжение – попытка понять – продолжение... 'Важные разговоры con exaltatione. Больше понимание в отношении 25-го. Я чувствую себя наивным ребенком и ослом, и поделом мне... Первый проблеск в отношении загадки: сфинкс схватил меня за волосы и швыряет в отвратительную трясиину, если не отгадываю. После разгадки туманная завеса спадет, и те, кто были за ней, проникнутся поэзией о ch'affano, o che smania (какая тревога, какое безумие! – итал.)'. Поразительное романтически-мистическое преломление видения... Почему же падение туманной завесы откроет непременно поэтическое, а не гнусный оскал подлого слабоумия..?

'Продолжение любопытного разговора, страстное настроение. После того, как это закончилось, я впал в мерзкое, гнусное настроение, которое вечером в 9 часов привело меня в Буг'.

Снова у консульши... 'Дело становится любопытным, и я приближаюсь к настоящей разгадке. Божественная ирония! – великолепное средство скрыть и изгнать безумие – помоги мне!! ... Вечером dito плохое настроение, отвратительная усталость. Теперь настало время серьезно поработать in litteris (в литературе. – лат.)'.

На завтра '...Мрачное, вялое состояние, доходящее почти до меланхолии. Бездеятелен, неработоспособен. ...Вечером с трудом взвинтил себя – с помощью вина и пунша – это очень странно, что в голове постоянно вертятся Ктх и музыка'.

В мае Гофман и Миша снова переселись в Альтенбург, замок вблизи Бамберга, и Гофман ходил в город пешком... Полупризнание в любви Ктх, кое произвело огромное впечатление...

В некоем непонятном задоре попутно он волочил за 'Вильгельминой Кунцовисовой'!!!!.

По поводу чего запись: '...Я замечаю, что много мню о себе, что неплохо. Когда я в фантазиях представляю самого себя, пусть никто не вмешивается' (Миша все читала).

9.5. Семейство консульши в замке вместе со Шпейером. Гофман показывал им фрески; дурачились как дети... '...при возвращении домой по всем правилам разыграли обиду – надул губы и затем помирился с Ктх – ну, ну!'

В Бамберг приехал скрипач Френцль. Гофман с ним и Диттмейером проводили время в славном ресторанчике...

11.5. 'Репетиция концерта Френцля. ...с Френцлем и Диттмейером в зрительном зале, там концерт... Юльхен пела превосходно... Все безумства вырвались наружу – я готов был убить всякого, кто приблизится к ней... раздражен, взвинчен... Вечером 'Роза', Френцль уехал... О дит! 11 мая ринкто в 8 ? я был ослом', по-итальянски: какое безумие, наслаждение, разочарование, сумасшествие!!

13.5. 'Вечером в 'Розе' очень сильно (рюмка)'.

14.5. 'Вечером хватил пуншу у Кунца... невероятно замучен, величайшая усталость'. В таком состоянии явился с визитом в дом консульши и не был принят, по вполне понятным причинам...

17.5. 'В высшей степени неприятное состояние не проходит. Вечером у консульши... Ктх очень доверчива pp – '.

18.5. Начал роман 'Часы просветления некоего безумного музыканта'. Взлетела окрыленная рюмка.! И... вдребезги разругался с Карлом-Фридрихом!

Гофман принялся усердно работать над романом, игнорируя Кунца. Даже бежал из любимого ресторанчика, '...потому что этот толстый господин...' был там...

24.5. 'Написал в Кенигсберг меланхолическое письмо по поводу 500 рт'. Артистизм известного рода... Затем легко переключился на полноту восприятия бытия и с большим аппетитом – 'с большим удовольствием пообедал у Ротенханов'. А вечером поужинал у консульши... 'Немного (рюмка)... Ктх показала *aimable* (любезной, милой – фр.). *Poveri affetti mei* (бедная моя любовь. – итал.).

На завтра после уроков '...бездельничал в 'Розе'... ...импровизировал... вечером 'Роза' – *senza exaltatione* с грехом пополам'.

29.5. '...Бездельничал, унылое настроение!'. После: *dito*...

1.6. '...Неистовая головная боль. Настроение скверное. Вечером бал... Ктх в высшей степени любезна *ah che smanìa* (ах, какое безумие! – итал.)'.

4.6. '...Возбужден... в мерзком настроении. Вечером форменный приступ безумия...'. Судя по новелле 'Песочный человек', которая автобиографична и описывает романтическое безумие на собственном опыте автора, возвращаясь с Мишей из Буга, на мосту он схватил ее за волосы, нагнул через перила... 'Задетые за живое, оскорбленные в самом важном и главном, разрешаются бешеной яростью...'.

В 'Песочном человеке' повествование заканчивается помешательством главного персонажа. Наверху башни он внезапно схватил невесту в диком порыве звериной ярости, хотел сбросить вниз; едва смогла держаться за чугунные перила. 'И вот кровь забилась и закипела в его жилах; весь помертвев, он устремил на нее неподвижный взор, но тотчас огненный поток, кипия и рассыпая пламенные брызги, залил его вращающиеся глаза; он ужасно взревел, словно затравленный зверь, потом высоко подскочил и, перебивая себя отвратительным смехом, пронзительно закричал... с неистовой силой схватил ее и хотел сбросить вниз...'.

Боль и безумие зверя, зажато в тесной клетке, когда ничего не получается..!

Гофман понял, что наделал, постигнув весь невозможный ужас произведенного впечатления... Страшной обиды, горя, несчастья, бесконечного отчаяния. Ведь Миша связала жизнь с этим безумцем, тогда как он, пребывая в художественном эгоизме, воспринимал как должное бедность, которую ей приходилось терпеть из-за того, что у него ничего не получается, и ждать, покада он разберется с фантастическими химерами...

Когда она прочитала его признания, стеснило дыхание, в глазах зарыбило... В каком он разладе с самим собой, в каком душевном смятении, расстройстве мыслей... Его состояние сокрушало ее до глубины души, в этом было нечто гибельное... Попыталась заговорить об этом... И вот благодарность!.. Она плакала безутешно, как несчастный ребенок...

Бледный, потерянный, не смел он даже приблизиться к ней, чтобы утешить... Мрачное подавленное состояние гнало его из дому... 'Целая преисподняя мучительных укоров совести пробудилась у него в груди', как у безжалостного игрока из другой новеллы... 'А посреди этого ада, яростным пламенем бушевавшего в его груди, трепетал божественный чистый луч, чье сияние было сладчайшим восторгом, небесным блаженством...'. Он любил Мишу, ведь Тростинка была ему самым близким, нежно дорогим человеком...

5.6. ...вялость...

7.6. Работал, вечером один в Буге, мерзкое настроение...

8.6. пн '...dito мерзкое настроение и *quo Causa* (по какой причине? – лат.) Глупость в отношении Ктх возрастает. ...шатался без дела, в 'Розе' сильно выпил. Вечером прогулка с консульшей, после которой совершенно развеселился'.

11.6. Наконец разговаривал с К.-Ф.-К. После трехнедельного молчания...

12.6. 'Репетиция концерта Бейтлера. Вечером концерт ...жестокое обращение Ктх со мной... настроение в высшей степени мерзкое'.

Из-за нее художник напугал Мишу, впал в дикость, сорвался с цепи, поломал клетку!!! И заслужил выходки, пренебрежение глупой девочки; он готов, гремя клеткой, ринуться за ней!!!

13.6. Явился в дом консульши на уроки... 'ссора с Ктх по поводу вчерашнего... раздражен до безумия. Вечером у Марк с Бейтлером... продолжаю пребывать в омерзительнейшем настроении... наконец дикие выходки под влиянием паров пунша' – ударом локтя выбил чашку чая из рук коммерции советника и т.д. И т.п.

14.6. '...Не находил себе места, как дурак, из-за вчерашнего'; допоздна в 'Розе'.

15.6. '...Примирение с Ктх... довольно хорошо и *riapo* настроен. Ктх... особенное, вдохновенное состояние'. Просидел в любимом ресторанчике, подливая вина в пламя романтизма... После: выпался и наступило равнодушие, разговаривал с ней (взлетела рюмка); несчастная ночь...

21.6. 'Работал... не находил себе места. ...'Роза' (рюмка). Вечером... возбужденное состояние, *dito* у Ктх'.

23.6. В замке... плохая погода... пришел в скверное настроение, написал по-французски: 'Знатный человек, который удалился от мира'.

24.6. Выспался и ночью не мог уснуть – бушевала гроза... '...В грозовую, душную, бессонную ночь любезное 'Я' ведет себя часто совершенно иначе, чем днем'.

В замок заехала семья Ротенхан и привела его в хорошее настроение: 'Жизнь отшельника по мне'.

29.6. После дождя месил грязь - отправился в город; там в ресторанчике согрелся (рюмка). 'Пошел к консульше; удивительные разговоры с Ктх... снова впал в величайший энтузиазм, совершенно болен от любви и безумия...'

1 июля Гофманы вернулись из замка в Бамберг. Гофман написал Хитцигу: 'Буря, дождь, потоки низвергавшейся воды постоянно напоминали мне о дядюшке Кюлеборне, коего я призывал успокоиться, и так как он был столь невежлив, что ничего не ответил мне, то я решил накрепко сковать его с помощью таинственных существ, называемых нотами'. Кюлеборн - водяной. Гофман задумал оперу по сказке Фукс 'Ундины'.

4.7. 'Пирушка в 'Музеуме' (библиотека. - авт.), вечером 'Роза'... головная боль, равнодушие'.

14.7. 'Вечером у консульши с Диттмейером и Зелигманом... в высшей степени экзальтированное состояние...'.
Опять пение, голос...

16.7. '...Странные разговоры... едва не выдал слишком многого... безумные порывы, которые влекут меня к гибели, в конце концов неизбежно грозящей мне'.

18.7. '...В отношении Ктх: доказательство - яснее ясного - что нужно быть ослом, чтобы питать хоть какую-нибудь надежду... возрастающая гибельность'. Юльхен: '...Теперь у меня есть он; ах, они говорят, что он заменит мне все; он и правда очень добрый человек, намерения у него добрые, хотя иногда... Но вы не подумайте так, будто...'. Что ж думать, на физиономии у него все написано... 'Если в обществе были дамы, то он отзывал одного-другого из мужчин куда-нибудь в угол и своим оглушительным хохотом в заключение рассказа давал присутствующим понять, что это опять была чертовски веселая шутка. Можешь представить себе, дорогой друг, что сей нечистый дух невольно вызывал неприязнь и отвращение у людей более высокого образа мыслей в этом кружке'.

23.7. '...Ктх... Постепенное приближение к моей гибели. Дьявол вырвался, *mania*'.

25.7. 'Вечером у консульши... с Диттмейером и Зелигманом - в совершенно проклятом настроении. 'Ombra adorata' (обожаемая тень - итал.)'.

8.8. 'Приехал Грпель. ...Вечером у консульши до 11 часов; в высшей степени возбужденное состояние; дик и строптив; после этого немного успокоился. Мысли о развитии хода событий меня очень волнуют; (далее по-французски) это должно решиться на днях'.

10.8. На итальянском: 'Удар нанесен! Донна стала невестой этого проклятого осла торгаша, и мне кажется, что вся моя музыкальная и поэтическая жизнь померкла; необходимо принять решение, достойное человека, каким я себя считаю. Что за дьявольский день!'

13.8. 'Утром у консульши... вечером *ditto*... настроение перешло в *decrecendo* (упадочное. - итал.) и я сознаю, что великая мечта обманула меня'.

Написал Хитцигу по поводу задуманной оперы по сказке: 'Я осел, если не сочиню достойной музыки, и пусть тогда от меня отвернутся все доброжелатели, все друзья. Как должен я благодарить вас, милый, драгоценный друг, за все ваши хлопоты!'

19.8. 'Вечером забавная прогулка с Кунцем, Вейсом, Шпейером, Циглером и целой оравой герцогских поваров и камердинеров в винный погребок... Комическое столкновение с Циглером, который вместе с Кунцем, напившись, поведали мне секреты своей любовной связи с мадам Кунц...'

25.8. 'Вечером торжественный ужин у Марк; приятное настроение (приятная растроганность хорошим поваром - авт.), но с некоторыми рецидивами... *Ombra adorata - il mercante e un asino* (торгаш - осел. - итал.)'.

27.8. Настроение не очень хорошее. Выпивали беспрестанно (два знака рюмки).

3.9. Урок музыки у консульши... 'настроение скверное... пустота, недомогание'.

4.9. Оставался дома и работал. Болен. Вечером в ресторанчике.

5.9. ...у консульши - 'Диттмейер был там'.

Затишье перед бурей... На завтра произошло нечто в высшей степени гофманическое, романтически фантазмагорическое...

Приятели, знакомые, родственники консульши Франциски съехались на празднование помолвки в замок Поммерсфельден, в нескольких часах пути от Бамберга. Приглашены были виноторговец и капельмейстер.

Владение графов Шенборнов, замок в стиле барокко, был построен в начале 18 века. Просвещенные Шенборны покровительствовали искусствам. В большой картинной галерее хранилось немало сокровищ; знатоки находили, что собрание могло соперничать некоторыми полотнами с Мюнхеном и Дрезденом.

На фоне сего изящества поместим портрет Иоганна-Герхарда Грпеля, начертанный острым пером издателя и друга нашего героя - К.-Ф.-К.

'Несмотря на свою молодость, выглядел он стариком, являя собой истощенное подобие человека. Следы плотских страстей запечатлелись на лбу, в глазах и морщинистых щеках; в каждом произнесенном слове проглядывало слабоумие (Гофман довольно метко и без преувеличений описывает его в 'Берганце'). Сия мумия должна была теперь соединиться со свежим древом жизни, так что дьявол в образе злого гнома и здесь праздновал одну из многочисленных побед'.

Во время созерцания полотен славных мастеров было замечено, что 'господин жених паялился на них как баран на новые ворота' ...в тяжелом раздумье: вдарить или не вдарить..?

Гофман и К.-Ф.-К. Переглянулись...

Он, может быть, и вдарил, бы но, слава богу, позвали к обеду...

'И за столом молодой человек был в своей стихии'.

Из Гофмана дополнительные штрихи к портрету Грпеля: '...Заглянул неуклюжий человечек на ломких паучьих ножках, с лягушачьими навязками глазами и воскликнул с повизгиванием и придурковатым похотыванием: куда это, черт возьми, запропастилась моя супруга?'.

'Нелепые суждения об искусстве вообще, а также об увиденном, к удивлению моему, были, так сказать, проглочены другом, настроенным весьма нерешительно; впрочем, иногда он их скромно поправлял, следуя пословице: с волками жить - по волчьи выть. При этом изрядно налегали на вино, провозглашая тосты за здоровье обрученных; Гофман хоть и присоединялся к ним, но с весьма недвусмысленными взглядами в сторону невесты и жениха, который не без моей и Гофмановой помощи пробил изрядную брешь в выставленной батарее бутылок.

Лица жениха и соперника раскраснелись: первый отпускал довольно непристойные шутки, второй произносил весьма запутанные речи; все это вынудило госпожу мамашу предложить сразу же после десерта прогуляться по саду. С видимым усилием жених поднялся со своего места, чтобы предложить руку невесте. Гофман и я поплелись за обрученными, прочее общество разбилось на группы'.

Вышли во двор замка, господин жених двинулся зигзагами, заваливаясь на невесту, выделявая вензеля заплетающимися ногами. Его развезло, казалось, спутница мешает ему прилечь, изо всех слабых сил удерживая его... В некий момент пьяный проделал особенно хитрый маневр и, чтобы не пасть вместе с ним, Юльхен выпустила его. Гамбургский гость неверно двинулся в свободный дрейф на ломких паучьих ножках. Произошла невыразимая пантомима недоуменного выяснения отношений со всемирным тяготением, словно пляска на палубе сильно накренившегося корабля в шторм. Грпель не справился с качкой – палуба перевернулась... И, медленно задирая ноги в башмаках кверху, словно в замедленной киносъемке, банкир повалился...

Гофман подскочил к Юльхен, подав ей руку, когда она пошатнулась. Карл-Фридрих же, вроде бы пытавшийся помочь Грпелю, был не столь расторопен, надо было хватать за шиворот, всего вернее, из соображений приличия он промедлил и позволил тому повести себя самым неприличным манером.

Юльхен побледнела, в отчаянии заломила руки. Гости окружили павшего. Гофман, пылая гневом, обернулся к Карлу-Фридриху и громким хриплым голосом произнес: 'Взгляните! Вот лежит дрррянь! Мы выпили столько же, сколько он, но с нами такое не случится! Такое случается лишь с пошлыми прозаическими типами!'

Все испугались...

Консультша с гневными упреками закричала на него.

Юльхен... Ктх... бросала презрительные взгляды – на него..!

Ведь намерения у Грпеля были добрые. Гофман же бука и бяка.

Романтическая Ктх...!! 'Ты подходишь к восхитительному цветку, который светится и благоухает неким таинственным ароматом, наклоняешься над ним, желая получше разглядеть изысканную форму лепестков, а из его сверкающей зелени появляется гладкий холодный василиск (змея. – авт.), чтобы смертельно поразить тебя своим ненавидящим взглядом!'

'Мгновение он стоял словно уничтоженный, потом выпрямился и быстрым решительным шагом пошел прочь'. Все бросились разьезжаться.

Гофман шел пешком. Мимо грохотали кареты.

Кунц нагнал его, втащил в карету. 'Вы, кажется, немного погорячились, не так ли?'

...Но нет, Карл-Фридрих ничего не говорил. Оба молчали. Карета пригрохотала в Бамберг.

Поздно вечером запись: '6.9. Прогулка в Поммерсфельден; ужасно напился и позволил себе безобразнейшие выходы. В отношении Ктх – форменное безумие, бранил sposo (жениха. – итал.), который был пьян настолько, что упал. Несомненно, причина всего – нечто тайное, связанное с Ктх'.

Тайное... возможно, закралось подозрение, что действовал двойник..?

...Зачем возражать с такой страстью, ежели она изо всех сил, со всем возможным малодушием и бесхарактерностью, тянется к пошлости, плавно переходящей в обыденную гнусность, грязь повседневности..?

В ярости провел бессонную ночь...

Написал консультше письмо с извинениями... 'Вчера я, вдруг, совершенно непонятным для меня образом, не опьянел – нет, но пришел почти в безумное состояние, так что последние полчаса в Поммерсфельдене вспоминаю как скверный, тяжелый сон! Одна мысль, что можно лишь сочувствовать сумасшедшим в их диких выходках, что нельзя вменять им в вину зло, которое они невольно причинили, пребывая в подобном состоянии, позволяет мне надеяться, что вы, столь часто проявлявшая ко мне доброту и великодушие, простите мне все дерзости, которые, как утверждают моя жена и господин Кунц, я, увы, наговорил (хотя говорить я тогда не очень-то был способен)! Вы не можете представить себе, как глубоко и искренне сожалею я о своем вчерашнем безумном поступке; за него я оплатился возможностью видеть вас и вашу семью до тех пор, пока не уверюсь в вашем благосклонном прощении. Если бы я мог найти средство убедить вас в том, как дорого мне ваше расположение и как я далек от мысли причинить вам малейшую неприятность, вы бы не держали в сердце своем гнева за то состояние, что причинило мне истинное несчастье. Вы бы убедили и тех членов вашего семейства, которым, к сожалению, не были до сих пор известны мои странности, что только безумие могло толкнуть меня на вчерашний поступок!'

Складное, великолепным литературным языком изложенное безумие! Вот только жаль, что Грпель не познакомился с его странностями раньше, на подходе к дому консультши, где обитает Ктх... ему пришлось бы испытать эти романтические странности в гораздо более жестком варианте: вряд ли заезжему гостю удалось бы после этого собрать все свои кости и зубы...

Вот и приходилось прибегать за помощью к Шпейеру, психиатру: чтобы добрый доктор излечил, хотя бы временно, от приступов правдивости, подрывающих общепринятое лицемерие и недомыслие... чтобы принимали за нормального человека, как все...

Спешить было больше некуда. Больше уроков не было.

Двери лучших домов Бамберга разом захлопнулись перед ним. Дверным стражам было велено бешеного капельмейстера на порог не пускать.

Ведь никому ничего не доказал. В безумном мире правда безумие.

Лечиться надо, милейший. Если хотите рассчитывать хоть на какое-нибудь благополучие, приспособляйтесь к маломыслию повседневности и глубоко безнравственным приличиям.

Гофман впал в вялость, безразличие, подавленность, угнетенность, боясь, что более не увидит Ктх...

В записке консультши было написано: 'Нечто, произошедшее в душе Юлии, делает невозможным продолжение уроков'.

Гофман, расстроенный, впавший в малодушие и мелодраматизм внутренних переживаний, готов простить Ктх даже сватовство с ослом, лишь бы видеть ее... 'Знак Ктх никогда больше не появится'.. Гофман в печали... Одожил у К.-Ф.-К. 11 фл. Бродил в Буге вечером в темноте до 11 часов: 'Загадка остается неразгаданной, но разгадано, что она существует'.

Гофман и сам сознавал, в этом проявляется что-то собачье... Из этого и возник замысел 'Известий о последних судьбах собаки Берганца', новеллы, в которой это состояние преодолевается.

Спустя неделю 19 сентября начал новеллу 'Дон-Жуан'; работал усердно, соп аторе (с любовью. – итал.).

20.9. '...Желание работать – но не выходит ...'Тир' – там же жалкий бал... Пал духом, скверное настроение'.

23.9. '...безумная головная боль!'

24.9. Работал и вечером закончил 'Дон-Жуана'.

29.9. 'Репетиция 'Реквиема' Моцарта в церкви св.Мартина... в смиренном и подавленном настроении... снова видел Ктх, потому что она принимает участие в исполнении... Буг – очень нужны деньги'.

На завтра исполнение 'Реквиема'.

12.10. пн '...Работал; затем, поздно, до половины 5 в Редутном зале с женой - кутил с ожесточением'.

В ноябре возобновились уроки у Ротенханов.

22.11. Пирושка с актерами из Нюрнберга до глубокой ночи.

25.11. '...Прихворнул ...величайшая подлейшая нужда...'

26.11. 'Из-за величайшей нужды продал старый фрак, чтобы только хоть немного пожрать!!'.

В письме Хитцигу 30 ноября Гофман скрывал, как ему плохо, писал, что пьет чай в кабачке и вдохновенно сочиняет оперу...

12 декабря впервые после Поммерсфельдена он был приглашен в дом консулши; испытывал равнодушие и презрение.

13.12. ...доходит до ненависти, когда на чаепитии у Ротенханов появляется 'Грепель со свитой... весьма приятное, но несколько взвинченное настроение... (любовь готова превратиться в ненависть)'.

18.12. 'Прощальный визит к Юльхен roug jama! (навсегда. - фр.). Странное взволнованное состояние... заснул в ресторане. Вечером там Грепель'.

24.12. Читал бюллетень императора; довольно откровенно Наполеон писал о гибели своей армии в снегах России...

25.12. 'Вечером концерт Диттмейера. Очень плохое настроение, так же, как вчера - выдохся и опустошен'.

'Вечером в 'Музеуме' буйствовал и шумел, но senza exaltatione с Кунцем, Шпейером, Лейстом, Диттмейером'.

В новелле 'Сведения о последних судьбах собаки Берганца': 'Как Оссиановы призраки из густого тумана, вышел я на вольный воздух из комнаты, полной табачного дыма. Ярко светила луна, на мое счастье; пока всевозможные мысли, идеи, замыслы, подобно мелодии души, лились во мне под гармонический аккомпанемент шумного говора гостей, я не слышал боя часов и оттого засиделся... 'Хочешь, мы проболтаем с тобой всю ночь, быть может, сегодня ты развлечешься лучше, чем вчера, когда ты, весьма не в духе, выкатился вниз по лестнице из ученого собрания. ...Рад ...что я снова встретил в лесу хорошо известного мне человека, который уже не одну неделю, не один месяц попусту тратит здесь время, носясь иной раз с веселой, реже - с поэтической фантазией, вечно без денег в кармане, зато, тем чаще, - с лишним бокалом вина в голове; который сочиняет плохие стихи и хорошую музыку, которого девять десятых сограждан терпеть не могут, так как считают его глупым...'

31.12. Характерная гофманическая трагикомическая запись: 'Большой новогодний бал... настроение не очень хорошее по вполне понятным причинам, - отвратительно, пошло и пусто!!'.

Вскоре получил из Лейпцига 65 рт - и обманул Мишу: написал 36... Но этих рт не донес домой - кутнул...

16.1. 'Безразличное, отвратительное, скверное и опустошительное настроение. Удивительно, что все краски как бы исчезли из жизни и кажется, что чувство это проникло гораздо глубже, чем я себе представлял. Ктх... Ктх...'

Газеты из Кенигсберга: русские наступают. 'Взволнован этим без особой причины', но, тем не менее, необычайно глупо (знак рюмки) - неестественная веселость. В результате: 'Несчастливая ночь, рвота, спазмы желудка; проснулся совершенно разбитый. Непереносимая головная боль'.

Сразу после - балы до 6 часов... воспоминания о Ктх... 17 февраля начал 'Известия о последних судьбах собаки Берганца'.

Вскоре получил из Кенигсберга 500 рт - 'конец всем печалям!'.

Затем - приглашение на место музыкального директора в Саксонию.

1 марта на бале '...много говорил с консулшей Марк, однако не без ощущения невероятного ожесточения ...Ктх'.

К.-Ф.-К. Не советовал принимать приглашение: хозяин платит нерегулярно, музыкальному директору вздохнуть некогда...

12.3. После спектакля ужин актеров в ресторанчике. 'Смешные происшествия: Фриз и прочий вульгарный сброд перепились'.

Гофман полагал, что в Бамберге исчерпал все возможности, рвался вон. Его не могло остановить даже соображение, что ведь начиналась война. Благополучнее было бы отсидеться в Баварии, а может и вовсе остаться в этом королевстве. Житейская мудрость находит мало смысла в порывах к перемене мест, путешествиях в непредсказуемую неизвестность. Здесь все более или менее налаживалось. Здесь у него было много друзей. И хотя ему бывало порой нелегко, здесь он не мог пропасть, как показали даже такие потрясения, как Поммерсфельден. Не взирая ни на какие эксцентрические проявления, вскоре опять распахнулись двери, иные и вовсе не закрывались. А бедственное или неустойчивое положение театра - явление почти естественное; какие театры не бедствуют, кроме королевских? Но для художника всегда решающим доводом было внутреннее самоощущение. Без Ктх для него и Бамберг был не Бамберг...

18 апреля. 'На прощальном обеде, изливал свои чувства Диттмейеру'. И выяснилось, что пьяный Диттмейер давно полюбил его и очень ценит...

На прощальном ужине у К.-Ф.-К. Гофман сказал: 'Я отбыл годы учения и мученичества в Бамберге; теперь наступают годы странствий и мастерства; теперь я твердо сижу в седле!'.

Карл-Фридрих все понимал... 'Временами он впадал в настоящую ярость, стремящуюся найти выход в речах и письме'.

Представление третье Фантастические пьесы

Истинные художники не погибают посреди земных скорбей, под гнетом ничтожных презренных мелочей, испепеленные огнем своей ярости. Они выходят из пламени страстей со своими шедеврами.

В остывшей погасшей золе сверкают нетронутым блеском алмазы и горят расплавленные капли золотых слитков. Сокровища духа, клад, родившийся из мятежного огня - грозной взрывной силы, вырывающейся из раскаленных глубин светом и ясностью.

Подобно тому, как взрыв вселенной постепенно принимает внятную форму и возникает логический порядок времени и пространства, так ярость художника во временной длительности превращается в пронизательный верный взгляд и выразительный экономный жест - очерчивающий смысл в черной пустоте сцены, в метафизических глубинах вселенной.

В Гофмановых 'Фантастических пьесах в манере Калло' в первой новелле 'Кавалер Глюк' была создана метафизическая сцена; в 'Дон-Жуане', завершающем первый том, эта сцена была перенесена в Бамбергский театр. И все события музыкально-литературных пьес – ведь игра созвучий 'самое романтическое из искусств, пожалуй, единственное подлинно романтическое', предметом коего является бесконечное – получили глубокий смысл единого значительного спектакля.

Это была именно Книга, не просто сборник. Спектакль повествования. Главным героем коего является Художник – его интуиция, страстный метафизический порыв в беспредельное – накал, достигающий мистического напряжения. Из него же возникает индуктивное полыхание пламени фантазии. Волшебная индукция... внутри которой раскрывается мистическое пространство сцены: причудливый и странный мир внутри черепной коробки гения. Некий призрачный магический фонарь, который проносится сквозь привычную заурядную предметность, фантастически деформируя здравый смысл, обнаруживая в нем подвох, из коего выходит тайна.

'Небывалый случай, происшедший с неким путешествующим энтузиастом' подзаголовок 'Дон-Жуана'. Странное мистическое раздвоение происходит во время представления моцартовской оперы. Донна Анна, находясь на сцене, появляется в то же время у романтика в ложе, соединенной потайной дверью и укромным коридорчиком с гостиничным номером. Мир посредственной пошлой повседневности оказывается, сам того совершенно не ведая, на вселенской сцене: со всей своей ограниченной важностью – всего лишь элемент художественной игры некоей тайны (самодовольный господин с табакеркой и прочие).

Некоторые намеки на странные точные совпадения помогают понять, что произошедшее не совсем наваждение. Сама предметная реальность оказывается погруженной в метафизическую среду невидимых дополнительных соотношений, проникающих вещественные пределы. Становятся возможными прежде невероятные события. Мир посредственной пошлой повседневности оказывается, сам того совершенно не ведая, на вселенской сцене: со всей своей ограниченной важностью – всего лишь элемент художественной игры некоей тайны (самодовольный господин с табакеркой и прочие).

Путешествующий энтузиаст почувствовал непреодолимое желание вернуться на место удивительного приключения в пустой театр... 'Может статься, я увижу ее, ту, коей полно все мое существо! Ничего не стоит перенести туда столики, две свечи, письменные принадлежности! Слуга является с заказанным мной пуншем. Он видит, что комната пуста, а потайная дверь открыта; он идет ко мне в ложу и смотрит на меня весьма неодобрительно. По моему знаку он ставит напиток на стол и удаляется, но оглядывается еще раз – с языка у него готов сорваться вопрос. Я же поворачиваюсь к нему спиной и, перегнувшись через барьер ложи, всматриваюсь в опустевший зал, – призрачный свет двух моих свечей, бросая причудливые блики, придает его очертаниям нереальный, фантастический вид. Занавес колеблется от гуляющего по всему зданию сквозняка. А вдруг он сейчас взвоется? Вдруг, испугавшись мерзких образов, выбежит донна Анна? 'Донна Анна', – невольно позвал я; мой зов потерялся в пустом зале, зато пробудились души инструментов, над оркестром задрожал странный звук, словно прошелестело милое сердцу имя! Я был не в силах подавить затаенный ужас, который блаженным трепетом пронизал мои нервы!'

Странная конструкция здания в Бамберге, соединяющая гостиницу, символ странничества, с символом искусства, театром, некоей потаенной дверью с не менее потайным коридорчиком, неким углубленным переходом из повседневного поверхностного в запредельное, исполненное таинственного смысла... Интуитивный интимный переход мистических предчувствий: обещание осуществления сомнамбулических пьянящих фантазий слияния с непрерывной вечной беспредельностью.

'Фантастические пьесы', вполне в стиле романтизма, задуманы были как синтез искусств. Имя французского художника Жакоба Калло – графика; понятие пьесы имеет в виду музыкальные наброски; и наконец – литература, театр. Если присутствие этих элементов легко выявляется – и отсутствие пластики, скульптуры, неприемлемой для характера подвижного как ртуть Гофмана, то скрытое включение в интеграл 'Фантастических пьес' архитектуры хорошо зашифровано. Вероятно, из-за предназначенной ей метафизической нагрузки: в качестве несущей конструкции модели мироздания. Причудливое строение барочного дома получило скрытое отображение в неоплатонической архитектонике новеллы 'Кавалер Глюк'; призрачный персонаж вписался в нее наподобие того, как неоплатоновский бог находится за пределами вселенной, в вечности непрерывной беспредельности, вне пространства и времени. Дополнительный метафизический смысл проник в книгу непреднамеренно. Гофман не заметил этого и не придал этому значения; скорее всего, для него было естественно использовать бамбергское здание театра – вместе ресторана и гостиницы – просто как достоверную бытовую подробность. Но имеет значение, что бамбергское здание, если и не является прямым отображением барочного строения, то логически обобщено, огрублено повторяет его топологию. Пожалуй, это совпадение само было метафизическим – осуществлением замысла судьбы, слившейся с творчеством.

Поразительная, едва ли не механически точная подогнанность математических соотношений и связей претворяется в виде продуманной романной интриги, великого замысла бытия, непостижимой тайны.

Грандиозность феномена даже более, оттого что причиной является не Бог, некое существо, но именно безличная сила согласования математических соотношений: бессознательно действующее единство вечно непрерывного бытия, саморегулирующаяся вселенная. Никакого промысла, умысла, никаких уловок здесь нет. Здесь действует неимоверное парадоксальное единство беспредельности. Интрига заключается в сведении всех концов и начал. Это есть одно из проявлений Единства бытия.

Романтическая метафизика искусства была задана в новелле 'Кавалер Глюк': грань между трансцендентным и внешним бытием распадается, перетекает – возникают мистические наваждения – невозможно определить, что в них реально, что призрачно.

Новелла писалась в период пребывания в забвении, глубоком мрачном одиночестве, подавленности. В тяжелое время странствующий энтузиаст познакомился с таинственным незнакомцем. В его значительных чертах сочетание едкой иронии и благодушия, искренности, глубокой скорбной задумчивости. Рассказчик пытается завязать с ним разговор; поначалу ему это не очень удается. 'У меня нет никакого мнения, – отрезал он. – Вы, верно, музыкант и, стало быть, знаток...'. Но рассказчик заказывает бутылку бургундского; с бутылкой они переходят внутрь помещения. Незнакомец заказывает оркестру фрагмент оперы Глюка; по всем повадкам, по вниманию, с каким он слушал, виден был великий музыкант: проникновенное внимание, внутреннее неистовство зажгло буйный взор огнем... прослушав фрагмент, он напевал мелодию из другой оперы Глюка. 'Я был озадачен, заметив, что он вносит в мелодические хоры изменения, поразительные по силе и новизне. ...Я молчал, ошеломленный странными повадками незнакомца и причудливыми проявлениями его редкого музыкального дарования'. В некоем вдохновении Незнакомец принялся излагать художественно-мистическим фантастическим языком тайну

превращения световых лучей в звуки, а звуков в огонь в глубинах бытия. 'А между тем в царство грез проникают через врата из слоновой кости; мало кому дано узреть эти врата, еще менее - вступить в них! ... Трудно вырваться из этого царства; точно к замку Альцины, путь преграждают чудовища; ...многие так и прогрезят свою грезу в царстве грез - они растекаются в грезах и перестают отбрасывать тень, иначе по тени они увидели бы луч, пронизывающий все царство; но лишь немногие, пробудясь из своей грезы, достигают истины. Это и есть вершина - соприкосновение с предвечным, неизреченным! Взгляните на солнце: оно - трезвучие, из него сыплются аккорды подобно звездам и опутывают нас огненными нитями. Вы покоемся в огненном коконе до той минуты, когда психея вспорхнет к солнцу'. Вот как Гофман описывает прозрение предвечного неизреченного. 'Но вдруг лучи света прорезали ночной мрак, и эти лучи были звуки, которые окутали меня пленительным сиянием. Я очнулся от своих скорбей и увидел огромное светлое око; оно глядело на орган, и этот взгляд извлекал из органа звуки, которые искрились и сплетались в чудесные аккорды, какие никогда даже не грезились мне. Мелодия лилась волнами, и я качался на этих волнах и жаждал, чтобы они меня захлестнули...'. Око света оказывается цветком подсолнуха. 'Все шире и шире раскрывались лепестки подсолнечника - потоки пламени полились из них, охватили меня, - око исчезло, а в чашечке цветка очутился я'. Интуиция оказывается внутренним таинственным прозрением запредельного. 'И звуки, как лучи света, потянулись из моей головы к цветам, а те жадно впитывали их'. Звуки - интуитивные ключи шифра, совпадающие с замочной скважиной метафизической тайны.

В деформациях, коим предается интеллектуальная фантазия, заключена скрытая логика перетекая художественных метафор в научные аналогии. Гофманова романтическая мистика оказывается проникнутой метафизическим, космологическим смыслом. Из глубин интуиции произвольные фантазии выплывают космологическими архетипами, художественно зашифрованными символами фундаментальных соотношений бытия: искусство сливается с научностью, импровизация - с законами вечных форм.

Смысл архетипов: человеческие формы повторяются в нечеловеческих, космологических, грандиозных, абсолютных. Начала человеческого бытия оказываются теми же, что и начала вселенной. Вот почему возможна метафизическая сцена посреди вечности и оправдан неизъяснимый романтический порыв слияния с ней в выразительном жесте истинного слова.

Интуиция проникает в таинственные темные глубины бытия. Архетипическое представление. Беспредельность, непрерывность, темное неопределенное ощущение таинственности, тьмы - аналогии свойств женского начала. Предел, прерывность, способность логически внятного разумного познания, тяготение к смысловой определенности и ясности света - характеризуют мужское начало. В единстве беспредельности и предела парадокс формы бытия - тайного алгоритма реальности. Из соединения темной непрерывной беспредельности и предельности возникает все грандиозное бесконечное многообразие форм, их парадоксальное неизмеримое единство.

...Почему проникновение в царство грез - через врата из слоновой кости? Врата - женственный архетип; слоновая кость драгоценный материал - означает - вход лишь для избранных в некую запредельность. Но это и символ мистического входа: понятие слоновой кости имеет не только прямой смысл - бивни слона, но также в смысле скелета; с ним же всегда связана некая загробность, следовательно, мистика.

...Мало кому дано войти в эти врата и даже их узреть: интимность мистической тайны.

Вход охраняют чудовища... Архетипический элемент, присутствующий в сказках всех народов мира - означает жуткость тайны; посягнуть на нее нужна интеллектуальная смелость.

По тьме определили бы направление луча: направление интуиции, тени, совпадает с направлением света разума.

Некоторые перестают отбрасывать тень, расплываясь в грезах - признак потери интеллектуальной силы. Немногими постигается предельная глубина.

Известный из далекой древности архетип непрерывности бытия - змея, заглатывающая свой хвост - слился с Гофмановым романтическим мистицизмом; его таинственные лучи есть живые огненные нити, которые извиваются, искрятся, сплетаются, издавая хрустальной чистоты звуки и созвучия... Загадочные волшебные змейки...

Волны музыки, извлекаемые светоносным оком, собственно, змеей извивающаяся вечная непрерывность: на них дух переносится в запредельное, непостижимое.

Гофманов метод есть метод магического реализма, возникший впервые в литературе именно в 'Фантастических пьесах'. Фантастическая мистика являются лишь магическим иносказанием реальных естественнонаучных смыслов.

В повествовании происходит мистический сдвиг внутри самой предметной реальности, вызывающий призрачное раздвоение видимости. Напряженность, загадочность поддерживается зыбкостью привычного; даже финал новеллы не позволяет решить, таинственный Незнакомец призрак ли композитора Глюка, сумасшедший или безвестный гений...

После первой встречи рассказчик не видел Незнакомца несколько месяцев. И неожиданно вновь нашел его там, где исполняли оперу Глюка. Незнакомец приглашает рассказчика к себе послушать настоящее истинно достойное исполнение. Поднялись вверх по темной лестнице. Письменный прибор затянут паутиной, на мебели пыль. Незнакомец открывает шкафы. В них на полках стоят фолианты в богатых переплетках, на корешках золотое тиснение; названия опер Глюка. 'У вас собраны все сочинения Глюка? - вскричал я. Он не ответил, только судорожная усмешка искривила губы...'. Оснувшееся лицо со впалыми щеками превратилось в страшную маску. 'Впервые в меня сумрачный взгляд, он вынул один из фолиантов - это была 'Армида' - и торжественно понес к фортепьяно. ...Он раскрыл фолиант. И, как описать мое изумление! - я увидел нотную бумагу, но на ней ни единой ноты.

...Он вносил от себя столько новых гениальных вариантов, что мое изумление неуклонно росло'. Яркие модуляции не были резкими, простые мысли обновлялись и молодели. 'Лицо его пылало; лоб временами хмурился, и долго сдерживаемый гнев рвался наружу, а временами на глазах выступали слезы глубокой грусти. ...Без сил, закрыв глаза, откинулся на спинку кресла, но почти сразу же выпрямился опять и, лихорадочно перелистав несколько пустых страниц, сказал глухим голосом...', повторил сказанное несколько месяцев назад: обречен скитаться здесь как душа, исторгнутая из тела, '...пока подсолнечник не вознесет меня вновь к предвечному!..'. 'Финал 'Армиды' Незнакомец исполнил столь выразительно, '...что я был потрясен до глубины души. Здесь он тоже заметно отклонился от существующего подлинника; но теми изменениями, которые он вносил в глюковскую музыку, он как бы возводил ее на высшую ступень. Властно включал он в звуки все, в чем с предельной силой выражается ненависть, любовь, отчаяние, неистовство. ...Когда он окончил, я бросился к нему на шею и воскликнул

сдавленным голосом:

Что это? Кто же вы?

Он поднялся и окинул меня задумчивым, проникновенным взглядом; но когда я собрался повторить вопрос, он исчез за дверью, захватив с собой свечу и оставив меня в темноте. Прошло без малого четверть часа; я уже отчаялся когда-нибудь увидеть его и пытался, ориентируясь по фортепьяно, добраться до двери, как вдруг он появился в парадном расшитом кафтане, богатым камзоле и при шпаге, держа в руке зажженную свечу.

Я остолбенел: он торжественно приблизился ко мне, ласково взял меня за руку и с загадочной улыбкой произнес:

Я – кавалер Глюк!.

Этим завершающим авторским драматическим жестом выхватывается из тьмы метафизическая сцена 'Фантастических пьес'. Внутренним мистическим светом идеальная сцена проецируется, переносится в знакомый бамбергский театр новеллы 'Дон-Жуан'. Не просто в театр заштатного городка, но вселенская сцена великого спектакля о смысле бытия; здесь переживается героическая трагедия мечты об искусстве, побеждающем страдание и несовершенство в слиянии с высшей реальностью.

Издатель К.-Ф.-К. Вспоминал: 'К произведениям, особенно любимым нашим другом, принадлежал 'Дон-Жуан', эта лучшая из опер, которую ставили часто и с высокой степенью совершенства. ... Я согласен был с ним, что в смысле игры Гольбейн является лучшим Дон-Жуаном... Нельзя представить себе более точного понимания этого характера, никто еще не изображал его с таким искусством...'. Вот впечатление совместного прослушивания оперы: 'Увертюра началась, друг, сидевший рядом со мной, из всех сил старался передать мне чувства, переполнявшие его, то жестом, то словом указать на самые высокие моменты – глаза его были полны слез. ... Вовеки не забуду тот вечер. Никогда столь ясно я не видел, с какой высокой, священной серьезностью предан был Гофман искусству музыки: одно оно жило в нем и было евангелием его души, говорило его устами, завораживало'.

В новелле особенно выделено страстное сочувствие рассказчика донне Анне.

Художник влюблен в персонаж за поглощение ненасытным пламенем мечты. Влюбленность сама является истовым безоглядным порывом мечты, желанием, хотя сознающим, что здесь происходит лишь спектакль, но в упоительном восторге грезящим воплощением персонажа настолько истово, что желание переходит в ожидание... И метафизический порыв преодолевает какой-то предел... происходит мистический сдвиг реальности, фабула вливается в реальность. Рассказчик сам не заметил момента сдвига... 'Несколько раз я как будто ощущал позади легкое теплое дыхание и улавливал шелест шелкового платья, что говорило о присутствии в ложе женщины. ...Когда же занавес упал, я оглянулся на свою соседку. Нет, словами не передать моего изумления. Донна Анна в том самом костюме, в каком я только что видел ее на подмостках, стояла за мной, устремив на меня свой проникновенный взор. Онемев, смотрел я на нее; на ее губах (так мне показалось) мелькнула чуть заметная насмешливая улыбка, в которой я увидел отражение своей собственной нелепой фигуры. Я понимал, что мне необходимо заговорить с ней, но язык не слушался меня, парализованный изумлением или, даже вернее, испугом. Наконец у меня почти непроизвольно вырвался вопрос: 'Как это может быть, что вы здесь?' '.

Донна Анна не поняла его, потому что не говорила по-немецки, и фабула продолжается в разговоре на итальянском...

Если в 'Кавалере Глюке' мистика идеальная и сублимированная: рассказчик и таинственный незнакомец, хотя и в темноте, но поднимаются по лестнице, то в 'Дон-Жуане' мистика гораздо более проникнута чувственным томлением и переходит в оргиазматическое состояние: в метафизическое место ведет потайная дверь и темный коридорчик...

'Если первым действием я был восхищен, то теперь, после удивительного происшествия в ложе, музыка производила на меня совсем особое, непостижимое впечатление. словно давно обещанное исполнение прекраснейших снов нездешнего мира сбывалось наяву; словно затаенные чаяния восхищенной души через волшебство звуков сулили чудесным образом превратиться в поразительное откровение. В сцене донны Анны меня овеяло мягким теплым дыханием, и я затрепетал от упоительного блаженства; глаза у меня закрылись сами собой, и пылкий поцелуй как будто ожег мне губы, но поцелуй этот был точно исторгнутая неутолимым желанием долго звенящая нота'.

Писатель достиг предела возможного в литературе.

'Кавалер Глюк' и 'Дон-Жуан' противоположные магнитные заряды первого тома; между ними вспыхивает прозрачное индуктивное пламя романтизма. Пламя, замкнутое в волшебном фонаре, осеняет 'Крейслериану'; с ним проходит композитор Иоганнес; при его свете он лишет свои фрагменты, 'непритязательные плоды минутного вдохновения'. Что за фрагменты?..

Распавшиеся листы фолиантов из 'Кавалера Глюка'.

'...Оказалось, что на чистой оборотной стороне многих нотных листов находятся небольшие, преимущественно юмористические заметки, наскоро набросанные карандашом в благоприятные минуты...'. Но почему заметки и фрагменты, почему не последовательное повествование?

В Гофмановых 'Фантастических пьесах' немецкий романтизм достиг наивысшей силы выражения, романтического совершенства, исчерпав задачу без приема последовательного повествования, чем доказана была ненужность да и невозможность классического приема в пределах романтической поэтики, применительно к романтическому предмету.

Главный герой романтизма Художник; для него смысл бытия не в последовательности событий, а в метафизических мгновениях; более того, он хотел бы вечно длить эти мгновения; все остальное отбрасывается как пошлость, ненужность, выгоревший шлак вдохновения; экстазисы главный способ длить их, замкнувшись в самоощущении мистического томления.

Романтическому художнику неприятно вдаваться в повседневные прозаические пошлые подробности. Ведь они то, что мешают, подавляет, угнетает, вызывает раздражение, тоску, противоречивую разорванность, негодование, презрение, отвращение, яростное неприятие. Единственное, чего заслуживает пошлость – насмешки, иронии, забавной гиперболы, сатиры.

Пожалуй, к пошлым подробностям, совершенно ненужным, не имеющим абсолютно никакого значения, автор 'Фантастических пьес' относил происхождение Художника: откуда он родом, чей ученик... 'Должно быть, большого мастера, потому что играет он превосходно; так как у него есть ум и образование, его терпят в обществе... Друзья утверждают, что природа, создавая его, испробовала новый рецепт и что опыт не удался...', в том смысле, что характер имел чрезвычайно чувствительный; фантазия же его вспыхивала разрушительным пламенем...

'Как бы то ни было, достаточно сказать, что Иоганнес носился то туда, то сюда, будто по вечно бурному морю, увлекаемый своими видениями и грезами, и, по-видимому, тщетно искал той пристани, где мог бы наконец обрести спокойствие и ясность, без которых художник не в состоянии ничего создавать. Оттого-то друзья никак не могли добиться, чтобы он написал какое-нибудь сочинение... Иногда он сочинял ночью, в самом возбужденном состоянии; он будил жившего рядом друга, чтобы в порыве величайшего вдохновения сыграть то, что он написал с невероятной быстротой, проливая слезы радости над удавшимся произведением, провозглашая себя счастливейшим человеком... Но на другой день превосходное творение бросалось в огонь. Пение действовало на него почти губительно, так как при этом его фантазия чересчур воспламенялась и дух уносился в неведомое царство, куда никто не отваживался за ним последовать; напротив, он часто целыми часами разрабатывал на фортепьяно самые странные темы в замысловатых контрапунктических оборотах и имитациях и самых искусных пассажах. Когда это ему удавалось, он несколько дней кряду пребывал в веселом расположении духа, и особая лукавая ирония уснащала тогда его разговор на радость небольшому задушевному кружку его друзей... Но вдруг, неизвестно как и почему, он исчез. Многие стали уверять, что замечали в нем признаки помешательства. И действительно, люди видели, как он в двух нахлобученных одна на другую шляпах... весело напевая, вприпрыжку бежал за городские ворота. Однако ближайшие его друзья не усматривали в этом ничего особенного, так как Крейслеру вообще были свойственны буйные порывы под влиянием внезапного раздражения'.

Примета безумия комична: в двух нахлобученных шляпах. Юмор придавал романтическому художнику гофманического стиля живые черты, согретье теплом человечности; прочие романтики изображали своих художников слишком ходульно, выпендренно, выходили они блеклыми, бледными и вялыми, напряженно бессодержательными, в их гениальность не верилось, оставалась какая-то тоскливая пуста жеманной прозы. Проза же Гофмана в пьесах полна динамики как хорошая драматургия и выверенная режиссура.

Интригующее романное начало, обаятельные подробности необычайного дарования и - вдруг исчез... Единственное, что оставил Иоганнес, его юмористические заметки: читайте... Рассказчик заодно с гениальным художником: нет, читатель, тебе не припишут как праздничное блюдо разгадку тайны гениальности, и ты не распробуешь ее, удобно расположившись, под приятную музыку утираясь салфеткой. Если ты желаешь развлечься, пожалуй, заметки тебя развеселят, автор нисколько не возражает против этого. Но если ты сам кое-чего стоишь, ты поймешь в них нечто запрятанное во внешне развлекательном содержании.

Стоит заметить, кавалер Глюк ведет себя так же, как Иоганнес, он все время куда-то исчезает, молча прерывая разговор, оставляя без ответа реплику собеседника...

Недосказанность томила и самого Гофмана; он вынужден был вернуться к проблеме исчезновения Иоганнеса в продолжении Крейслерианы, затем, несколько лет спустя, в 'Житейских воззрениях кота Мурра'.

В продолжении заметок Крейслера и во введении к ним рассказчик вроде бы склонялся как наиболее вероятной к версии безумия. 'И в самом деле, все его поступки и действия, в особенности имевшие отношение к искусству, так резко переходили границы разумного и пристойного, что едва ли было возможно сомневаться в его умственном расстройстве. Образ его мыслей становился все необычнее, все запутаннее'. Но это скорее горькая ироническая насмешка над слишком расходуемым читателем. Выясняется, что читателя разыгрывают... 'Наконец Крейслер признался мне, что задумал покончить с собой и что в соседнем лесу заколет себя увеличенной квинтой. Так величайшие его страдания иногда принимали шутовской характер'. Заколоть себя нотой... Почему бы и нет, если музыкальный мир, в котором обитает Крейслер, полон волшебства... 'Всему виной колдовская игра; ее часто заводят со мной мои собственные ноты. Они оживают и в виде маленьких черных хвостатых чертиков прыгают с белых листов, увлекая меня в дикое бессмысленное кружение'.

В 'Музыкально-поэтическом клубе Крейслера' все выглядит серьезно, даже мрачно, на пределе отчаяния... Художественный дар это корона, в алмазах которой сверкают тысячи слезинок, в золоте же пылает испепеляющее гения пламя! Несбывшиеся мечты, тягостная нужда, обиды, израненная душа - непризнанностью, пренебрежением, незащищенностью... Импровизируя на фортепьяно, Иоганнес исторгает из глубины души не слова - боль... 'Знаете вы его? Смотрите, он вливается мне в сердце раскаленными когтями! Он принимает дикий диковинные личины то волшебного стрелка, то концертмейстера, то буквоеда, то ricco mercante (богатого купца. - итал.)'. Жизнь кажется сплошным обманом и разочарованием... 'Жизнь ведет на разные лады свою дразнящую игру. Зачем желать? Зачем надеяться? Куда стремиться? ...Нелепая, нелепая игра в жизнь! Зачем завлекаешь ты меня в свой круг?'. Ликующее веселье карнавала, в котором среди масок прячется Дьявол, хорошо воспитанный господин; пусть будет стыдно тому, кто подумает о нем дурно! ...Плываю на тонкой скорлупе, прикрывающей бездну... Импровизация происходит в темноте; верный друг прерывает Крейслера, зажигая огонь, так как по опыту знает, что тот дошел до точки, с которой низвергается в бездну беспросветного отчаяния. Приятель расходится. И лишь верному другу композитор признается, что желал бы улечься на своем китайском халате, как на плаще Мефистофеля. Способ мысли необычайный. Но здесь нет ни тени безумия.

Одним словом Иоганнес исчез по той же причине, по какой носился словно по бурному морю, увлекаемый видениями, фантазиями, мечтами, нигде не находя пристани, где мог бы обрести наконец необходимое спокойствие и ясность...

Автор своеобразно показывает предел, за которым скрылся персонаж - в оставленном письме он велел передать 'заметки возле большого тернового куста, на границе рассудка', добавив на латинско-французском: *Cito par bonte* - пожалуйста, срочно.

Вот каких непрестанных усилий, трудов, напряжения стоит пронести гениальные фолианты сквозь смуту, называемую жизнью; вот как возрождаются вновь и вновь рассыпанные листы фолиантов, заново собранные, заново исписанные...

На границе рассудка, значит, на границе литературы, слова и проникновенных музыкальных переживаний, невыразимых словом, но вызывающих фантазии, фантомы, способные проникнуть в литературу... Сюда, на сторону читателя передан конверт, пакет, бандероль; в нем юмористические заметки; автор же исчезает по ту сторону границы, куда никого не хочет допускать (в моменты, когда он один импровизирует за роялем); здесь же предпочитает явиться лишь в маске юмора - изобретательного, пронизательного, ироничного, гиперболического, разнообразнейшего... О главном, сокровеннейшем, драгоценнейшем, лишь намеки...

Фантазия по поводу арии *Ombrada adorata* - возлюбленная тень, да под занавес 'Клуб друзей' - эссе...

'*Ombrada adorata*'. ...Как сжималась моя грудь, когда я входил в концертную залу! Как я был подавлен гнетом всех тех ничтожных, презренных мелочей, которые, как ядовитые жалящие насекомые, преследуют и мучают в этой жалкой жизни человека, а в особенности художника, до такой степени, что он часто готов предпочесть этой вечно

язвящей муке жестокий удар, могущий избавить его и от этой, и от всякой иной земной скорби!'. ...Но если есть друг, способный понять горестный взгляд, значит, не настолько все безнадежно. Ты хочешь скрыться в самом отдаленном уголке залы, а друг занимает место за фортепьяно, чтобы дирижировать - в венском стиле исполнения... Небольшая увертюра. Затем, ария...

'И вот, словно небесный луч, просиял из оркестра чистый звенящий женский голос... Кто может описать пронизавшее меня ощущение? Боль, которая грызла мою душу, разрешилась скорбным томлением, излившимся небесный бальзам на все мои раны'. Надо представлять себе человека, затаившего дыхание, чтобы не сдунуть ни одного золотого звука. '...Звуки, как благодатные духи, осенили меня, и каждый из них говорил: 'Подними голову, угнетенный! Иди с нами, иди с нами в далекую страну...'. Автор словами профессионала зачем-то пытается рассказывать, как это сделано, и с пониманием воздать должное мастерству композитора и певицы, но здесь словно пропадает звук и слова напоминают журнальную рецензию... и пантомиму... пока из литературного тупика он ни выбирается снова к сути, главному... 'Я никогда больше не услышу тебя; но когда меня станет осаждать ничтожество и, считая равным себе, вступит со мной в пошлую борьбу, когда глупость захочет ошеломить меня, а отвратительная насмешка черни - уязвить своим ядовитым жалом, тогда утешающий голос шепнет мне твоими звуками... И вот тогда, в небывалом вдохновении, я на мощных крыльях поднимусь над ничтожеством земного; все звуки, заставшие в израненной груди, в крови страдания, оживут, зашевелиятся и вспыхнут, как искромётные саламандры; у меня достанет сил схватить их, и тогда они, соединившись как бы в огненный сноп, образуют пламенеющую картину, которая прославит и возвеличит твоё пение и тебя!'

Боль и скорбь превратились в ярость вдохновения, злое просторное внутреннее ощущение силы, героический порыв. Художник становится властителем таинственного праязыка природы, словно бог Юпитер сжимающая пламенные символы молний.

Мятежный трагический дух, порожденный ясным небесным лучом, павший подземным огнем, сдавленный в недрах раскаленной лавой, пеплом, находит силы, закипает, вздымается и вырывается птицей Феникс, воспаряя на мощных крыльях. Во втором томе пьес Феникс оказывается мудрым ироничным попугаем, немного печальным, передразнивающим на ярмарке жизни пошлость с ее недомыслием...

Романтическая ирония 'Музыкальных страданий' находит продолжение в сатире 'Мысли о высоком значении музыки', написанной в манере знаменитого немецкого писателя просвещения Георга-Кристофа Лихтенберга. Гофманизм оказывается вовсе не чуждым, не противоположным, не враждебным ироничному просветительскому рационализму; включает его приемы, приемлет изобретательную смысловую игру остроумия как родственное себе начало; тогда как менее одаренные романтические писатели замкнулись в ограниченности иррационализма, не постигая разницы между разумом и ползучим рассудком. Надо быть более художником, комедиантом, способным к внутренним перевоплощениям, найти в себе способность написать эссе попугайским пером, и тогда разумность проникается изысканным великолепием остроумного спектакля..!

Бетховенские сонаты ничего не говорят чайному или карточному господину; но иногда господин листает журналы, газеты... Есть возможность озадачить его или даже пронять, открыв ему некие непривычные соображения неожиданным поворотом мысли.

'Кое-где встречаются еще немногие ненавистники этого, несомненно, прекрасного искусства, и мое намерение и призвание именно в том и заключается, чтобы преподать им хороший урок'.

Карточный господин совершенно справедливо полагает, что искусство служит лишь приятному развлечению. Занятие, несомненно, несерьезное. Серьезные же занятия те, кои обеспечивают человеку хлеб и почет в государстве. Соответственно и настоящая цель человеческого существования - быть зубчатым колесом в государственном механизме, чтобы с великим мельканьем и усердием мотаться и вертеться; в согласии с чем автор эссе не рекомендует даже художественное чтение, ведь оно до некоторой степени заставляет думать, что противоречит абсолютно развлекательной, мыслеразвешивающей цели всякого искусства. Гораздо более подходит ради развлечения слушать музыку, то есть болтать во время концерта.

'Но можно пойти еще дальше и задать вопрос: кому запрещается даже во время музыки завязать с соседом разговор на какие угодно темы из области политики и морали, и таким приятным образом достигнуть двойной цели? Наоборот, последнее следует даже особенно рекомендовать, ибо музыка, как это легко заметить на всех концертах и музыкальных собраниях, чрезвычайно способствует беседе. Во время пауз все тихо, но как только начинается музыка, сейчас же вскипает поток речей, поднимающихся все выше и выше вместе с падающими в него звуками'.

Концерты предпочтительнее театра, ведь на спектакле можно увлечься действием и поверить в вымысел настолько, '...что человек подвергается опасности впасть в поэзию, чего, конечно, должен остерегаться всякий, кому дорога честь бюргера!'

Гофманова ирония основана на закономерности, замеченной Юрием Николаевичем Тыняновым: в глубоких художественных произведениях фабула не совпадает с сюжетом. Фабула здесь состоит в логическом развитии некой исходной мысли, а сюжет постоянно отклоняется в иные сопутствующие смыслы. В результате логично доказанная мысль оказывается глупостью, выражением комического самодовольства посредственного ума...

Гофман иронизировал: 'Из правильного понятия о назначении искусства также само собой следует, что художники, то есть люди, служащие только целям удовольствия и развлечения, должны почитаться низшими существами, и их можно терпеть только потому, что они вводят обычай *miscere utili dulci* (соединять приятное с полезным. - лат.). Ни один человек в здравом уме и со зрелыми понятиями не станет столь же высоко ценить наилучшего художника, сколь хорошего канцеляриста или даже ремесленника, набившего подушку, на которой сидит советник в податном присутствии или купец в конторе, ибо здесь имелось в виду доставить необходимое, а там - только приятное! Поэтому, если мы и обходимся с художником вежливо и приветливо, то такое обхождение проистекает лишь из нашей образованности и нашего доброго нрава... И я имею право спросить, кто же лучше: чиновник, купец, живущий на свои деньги, который хорошо ест и пьет, катается в подобающем экипаже и с которым все почтительно раскланиваются, или художник, принужденный влачить жалкое существование в своем фантастическом мире?'

Автор в маске серого рассказчика, ограниченной посредственности, полный презрения к художникам и их занятиям искусствами как несолидной эксцентричностью, находит причину подобного никчемного, нелепого, жалкого выбора в нужде и невозможности надеяться на удачу среди действительно полезных классов общества; почти все художники выходят из неимущих классов!

И вот, когда уже доказано подчиненное назначение искусства, зависимое положение художников, лишенных чинов, титулов и богатств, когда им дан мудрый совет пока не поздно выучиться какому-нибудь легкому ремеслу,

например, сапожному... автор комически замечает: 'Перечитывая написанное, я нахожу, что очень метко обрисовал безумие многих музыкантов, и с тайным ужасом чувствую, что они мне сродни'. Ничего нельзя поделать с подобным безумием... Как ни замечательны доводы рассудительного образованного бюргера, художники неисправимы, и единственное разумное объяснение их приверженности прекрасному, не взирая ни на что - лишь их безумие... Ведь прекрасное бесполезно! Из чего совершенно логично следует, что без него можно обойтись.

И все сказанное абсолютно верно - с позиции примитивной выгоды. А закрепившись на таковой позиции, совершенно спокойно можно обойтись также без сложных непонятных наук, излишне строгих понятий порядочности, нравственности, справедливости.

Эссе 'Совершенный машинист' о забавных наблюдениях декораций и театральной техники предваряет спектакль 'Дон-Жуан'; плавным переходом звучит первое предложение новеллы: 'Пронзительный звонок и громкий возглас: 'Представление начинается!'...'

'Известия о последних судьбах собаки Берганца' заняли почти весь второй том. Новелла представляла диалог автора с черным бульдогом Берганцей из новеллы Сервантеса. Ведущий мотив - романтическая ирония: 'Никогда в жизни не подумал бы, что мои воззрения будут сообразовываться с убеждениями разумной собаки'. Мотив возник из постоянно вертящейся мысли о собачьей жизни художника - полуголодного, гонимого, презираемого в ограниченной скудоумной мещанской среде. Форма диалога позволяла Гофману свободно перебирать темы, а то, что разговор происходил с собакой, придавало всему колориту новеллы фантастически юмористическое обаяние.

Поскольку речь зашла о собаке Сервантеса, нужно было объяснить появление ее в Германии; бульдогу триста лет... Секрет его молодости в волшебстве: здесь замешано колдовство ведьмы; и Гофман с наслаждением описывает, как огромная жаба варит травы в котле, и всю нечистую силу, беснующуюся в ночи. Раз в год Берганца обретает способность ночью заговорить по-человечьи. Рассказчик как раз выкатывается из ученого собрания весьма отуманенный винными парами. Разумеется, пес его знает - он художник, и большинство горожан не испытывают к нему почтения, считая его неумным. Художнику приходится терпеть их пошлые суждения о безумии. '...Назови мне того, кто как представитель человечества был когда-то объявлен мерилом рассудка, и по температурной шкале его головы точно определили бы, какого градуса достигает рассудок пациента...! В известном смысле любой несколько эксцентрический ум ненормален и кажется таким тем более, чем усерднее он пытается своими внутренними пылками озарениями воспламенить внешне тусклую, мертвую жизнь'. В новелле Гофман хотел свести счеты с бамбергским обществом. К.-Ф.-К. Писал: 'До предела обострилась в Бамберге присущая ему ирония; ненависть же к пошлomu и дурному в окружающем мире перешла в ярость... лишь немногие по-настоящему признавали его значительность, значительность духовную, которую способен оценить лишь подлинно образованный человек, умеющий не принимать во внимание ранг и положение, занимаемое в буржуазном обществе гением и талантом. Однако мнения его считали порой нескромными и абсолютно несоизмеримыми с характером какого-то там учителя музыки... Временами он впадал в настоящую ярость, стремившуюся найти выход в речах и письме'. Но когда Гофман брался за перо, он неизменно проявлял изрядную сдержанность и трезвость, позволяя сильным чувствам прорываться в тексте лишь в необходимых пределах. '...Почему простые люди смеются над всем, что для них непривычно? БЕРГАНЦА: Потому что они полагают: тот, кто делает или использует это по-другому, дурак, и он потому так мучается и мыкается со своим чуждым им способом, что ихнего старого, удобного способа не знает. И вот они радуются, что чужак такой глупый, а они такие умные, и смеются над ним от всей души; за что я их тоже от всей души прощаю'. Гофман еще может простить простодушную глупость, мнящую свое превосходство, но что совсем простить не в состоянии, что вызывает у него глубокое отвращение, так это фальшивый ум, составленный из позаимствованных без понятия мыслей. 'Это входит в состав так называемого хорошего воспитания, и всякий уверен, что он может обо всем этом болтать, и проникать в глубочайшие тайники поэта и художника, и мерить его на свой аршин. Но можно ли нанести художнику оскорбление более глубокое, чем позволить черни считать его себе ровней? А ведь это происходит всякий день! Как часто меня просто тошнило, когда какой-нибудь тупоумный малый начинал болтать об искусстве, цитировал Гете и пытался заставить сиять того духа поэзии, который одной искрой мог бы испепелить бледного слабоумца!'. Гофман со своим глубоким презрением ко всему поверхностному, пользуясь независимой позицией бульдога, заявлял о своем отношении к цивилизации, где высшие понятия принимаются лишь внешне, едва прикрывая животную суть. В особенности бамбергский опыт заставлял его говорить о пустом, ничтожном, поверхностном характере так называемых остроумных кружков, приводивших его в ярость при воспоминании о нравственном и интеллектуальном провале, полной несостоятельности для чего-нибудь по-настоящему достойного одного из таких кружков... Бульдог рассказывает о своем появлении в доме консулши: '...Я был возведен в ранг личной собаки Цецилии, таким образом, цель, к которой я стремился, была действительно достигнута'. Гофманическая ирония над самим собой. В продолжение темы собачьей преданности Юльхен: '...заступилась за меня, однако, о том, чтобы взять меня с собой, как она собиралась, и думать было нечего; все было против этого'.

Глубина гофманова романтизма в том, что это романтизм зрелого художника, заглубленного и закаленного в своем опыте, но по-прежнему верного великой мечте. Сохраняя способность предаваться прелести поэтических наваждений, он не теряет пронизательной наблюдательности. Романтизм, оказывается, вовсе не является поэтически ребячливым долгом безоглядно, очертя голову, нырять в омут экстаза. Романтизм не противоречит и не противоположен выдержке, здравому смыслу, ни даже цинизму, этой романтической разновидности горести и ярости; тем более, если в литературном произведении это почти древнегреческий КИНИЗМ в прямом смысле слова - откровения собаки...

'Пора цветения у баб...', вот истинная тайна женского очарования... 'Юность обводит все фигуры как бы пылающим пурпуром. ... Никакой особенной красоты не надобно, ни редкостного ума... нет! ... лишь этой поры цветения, лишь чего-то такого, в наружности ли, в тоне голоса или в чем-то ином, что лишь мимолетно может привлечь к себе внимание, довольно, чтобы повсюду нисходить этой девушке поклонение даже умных мужчин, так что она выступает среди старших по возрасту особ своего пола с победным видом, как царица бала'. Или сатанинского карнавала: есть рисунок Гофмана; возможно, одна из первых фигур - Юльхен...

'...Хотя им следовало бы помнить, что согласно моему верному принципу они должны бы в пору расцвета быть всем, ибо стать более ничем не могут. Скажи, разве Коринна не вызывала у тебя отвращения?' (Роман госпожи Стаель не без основания казался Гофману фальшивым).

Романтизм исключает подробное описание внешней действительности, поскольку презирает и ненавидит ее. '...Все, что я рассказывал о своем появлении в доме, коему я теперь желал бы провалиться в преисподнюю, также относится к той страшной катастрофе, от которой я хотел бы отделаться как можно быстрее, несколькими словами...'

Отделаться несколькими острыми зарисовками, чтобы разделаться с наиболее ненавистными персонажами: ослом торгашом и консульшей, ее он представил в виде сфинкса, но не загадочного... Фрау консульша завела у себя в кружке пантомиму, 'и с тех пор пошло это безобразия': мимические представления. В одном из них она приняла позу египетского божества с женской головой и грудью, и туловищем львицы... Изобразив грубый фарс, но изычно выражаясь, бульдог сообщает о своем изумлении при виде очень странной ее фигуры, особенно из-за той части, на которой обычно (!) сидят, и которую природа сотворила у нее необычайно полной... 'дама, погруженная во внутреннее созерцание искусства...'. Бульдог неприязненно спародировал ее, чем вызвал хохот кружка и ярость ее, с искаженным лицом разразившуюся словами из 'Макбета'.

'Скотину Георга' бульдог просто выволакивает из спальни, выскочив из-под кровати в разгар интимной сцены. Все, что мог, он сделал в этом доме, и ему оставалось только бежать, преследуемому взбесившейся тойпой, скрыться из виду и спрятаться в зарослях реки... Отдышавшись, высказавшись о катастрофе, заключившейся глумлением пошлого скотства над романтической мечтой, кинический философ, черный бульдог, переходит к любимой теме - театру... Необходимо поднять сцену на высоту поэтической позиции, вызвать ее из тины пошлости. 'У искусства нет более высокой цели, нежели воспламенить в человеке ту радость, какая извлекает все его существо от всех земных мук, от всего унижительного гнета повседневной жизни, словно от нечистых шлаков, и так его возвышает, что он, гордо и весело вскинув голову, видит божественное, даже входит с ним в соприкосновение. Возбуждение этой радости, это возвышение до поэтической позиции, где легко верится во все дивные чудеса чистого идеала и они даже становятся близкими, да и сама обыкновенная жизнь с ее разнообразными пестрыми явлениями видится в сиянии поэзии преображенной и прославленной во всех своих проявлениях, лишь одно это, по моему убеждению, есть истинная цель театра'.

В заключение новеллы с господствующих высот гофманическая артиллерия дала сокрушительный залп по позиции Вернера. Гофмана больно задела выходка Вернера, но источник неприятия не в предвзятости или зависти к преуспевающему модному писателю; его успех действительно был несообразен с внутренней фальшью вернеровской позиции - положение в искусстве нередкое. Есть немало людей, писал Гофман, называемых поэтами, '...кои, однако (словно поэтическое искусство, это нечто совсем иное, нежели жизнь самого поэта), под воздействием любой подлости в повседневной жизни сами легко идут на подлость, а часы вдохновения за письменным столом тщательно отделяют от всей прочей своей деятельности. Они себялюбивы, своекорыстны, плохие мужья, плохие отцы, неверные друзья; в то же время, отдавая в набор очередной лист, благоговейными звуками провозглашают все самое святое'. Гофман совершенно прав: 'А меня бесит, что поэт, как будто это некая дипломатическая особа или просто какой-то делец, всегда отделяет частную жизнь от какой-то другой - какой? - жизни. Никогда не дам я убедить себя в том, что тот, кого поэзия за всю жизнь не возвысила над всем низменным...', может быть настоящим художником. Подобные какбыхудожники бывают отнюдь не глупы, владеют профессиональными навыками, но ... посредственность неизбежно проявляется в снижении задач, приспособлении к модным поверхностным настроениям. Нелепо надеяться, что вот человек 'ходит по земле, пьет кофе, играет на бильярде', художественной правде и честности неизменно предпочитая обывательское благополучие, но - наступит момент, и он напишет шедевр. Для людей с подобными наклонностями, подобными поведением момент шедевра никогда не наступит. Слишком легко и необязательно относятся они к принципиальным понятиям, заключенным в них предельным смыслом; оттого им не хватает глубины, верности подлинному; они могут и так, и сяк, и именно потому проходят мимо тех исключительных возможностей, ведущих к написанию шедевра, когда необходимо писать вот так, а не иначе. Вернер был эпигоном романтического направления и романтических настроений, и в недалеком эпигонстве находясь, воспринял ограниченность и узость романтизма как самодостаточность. Поглощенный лишь самомнением и постоянным стремлением выставить себя в красивой позе, он ситуацию романтизма воспринимал поверхностно, не видя в ней никакой проблемы, но единственно привлекательность трагического жеста, выигрышную роль, ведущую к коммерческому успеху, и делал из этого модное искусство: ахи и вздохи столь же манерной и поверхностной публики, как он сам. Слишком выходило предприимчиво, слишком уютно и со приятностью располагался подобный 'художник' в напряженной ситуации романтизма, настолько несообразно, что не могла укрыться самодовольная манерность бесприкрытого неопасного трагизма, превратившего всю ситуацию в подделку и фальшь, вырождение, пошлость и карикатуру первоначального импульса.

Гофман справедливо испытывал гнев и презрение к тем, кто 'вертится только среди всего фальшивого и заимствованного'. Вот потому Берганца и предостерегал: не доверяй хамелеонам...

Ко времени, когда готовились к печати гофмановские 'Фантастические пьесы', первоначальная программа романтизма провалилась. Попытки большинства писателей в прозе оказались в основном неудачными. Но появилось некое произведение, в котором был гениально разыгран спектакль, именно в виде прозы, повествовательного искусства по главной теме романтизма: вдохновенный художник в мире посредственности, пошлости, низости, фальши - сборник Гофмановых пьес.

Причина провала раннего романтизма заключалась в неясности самой программы. Первоначальные романтики смутно понимали, что для выделения искусства в принципиально автономную позицию, особое постижение бытия, необходима гениальная выразительная игра - по сути демонстрация самостоятельной познавательной силы искусства, значения художника, владеющего никому более неизвестным предметом - спектакль раскрытия смыслов, не уступающий научной гениальности. Но они не понимали природы повествовательной прозы.

Ранние романтики использовали прозаические средства в несвойственном им ключе некоего надрыва - возвышенно поэтически. В результате получалось напряженно и однообразно - нечто претенциозно невнятное, вялое, худосочное, бледное, блекло-бесцветное. Нечто притязавшее быть музыкой в прозе; но смысл истончался, дрожал, расплывался; пропадала логическая прозрачность; смысл терял интеллектуальную глубину интуитивной бесконечности. Форма словесных сплетений, притязая на особенную выразительную тонкость, с ней и оставалась; более сложное смысловое содержание она не в состоянии была сохранить в себе, как паутина тяжелый предмет. Прозаическое слово, прежде всего, носитель понятийного, логического смысла. Содержание - всё. Было бы содержание и страстная поглощенность им - логика, превратившаяся в страсть, интеллектуальное ощущение, интуицию - форма выразится внятно и сильно сама, без эмоционального напряжения..!

А.И.Герцен писал о романтических опытах в прозе: '...В этой грусти была неоценимая прелесть темных, неопределенных, музыкальных стремлений и упований, потресающих запovedные струны души человеческой'. Прелесть этой меланхолии была настолько неодолимой, настолько раннеромантические писатели были поглощены внутренней музыкой, что не замечали, что их проза выходит не одухотворенно, а выступает ходульно, производит

впечатление манерности, позы, аффектации, плохой театральности, беспомощных кривляний. Попытка строить прозу на вдохновенных возвышенностях попросту профанировала предмет прозы, вносила в ее поэтику несообразный пароксизм, разрушала читательские ожидания, нарушала восприятие повествования.

Научное литературоведение тогда не существовало. Немногие гениальные писатели - Сервантес, Филдинг - оставили лишь непревзойденные образцы, не давая никаких разъяснений о приемах, поэтике, природе литературы. Для того чтобы кристаллизировались принципы, литература должна была накапливать образцы; впереди было два века изобретений. Путь прозы, превращение повествования в художественное слово, выявление внутренней поэзии, был сложным; возможности прозы раскрывались постепенно. Романтизм был одним из важнейших периодов в познании этих возможностей. Гофман сыграл в это период ключевую роль, благодаря тому, что являлся художником феноменальным и парадоксальным.

В 'Фантастических пьесах' гофманический романтизм достиг предельного накала, но не так, что уже больше сказать нечего; не застыл в пантомиме, в жесте непонятой гениальности, миноре, кризисном сознании, но на пределе сплавляясь с новыми формами литературного выражения, продолжал двигаться в них, ничуть не теряя художественной динамики, проявляясь мужественно, сильно, героически.

Выразительная сила произведения определяется художественным обаянием стиля, приемов повествования. Стиль же - автопортрет. Какой портрет вырисовывался сквозь текст 'Фантастических пьес'? Непобежденный романтик, невзирая ни на какие испытания сохранивший рыцарскую верность великой мечте, немецкий Дон-Кихот, энтузиаст, преданный художественной правде, дерзкой фантастической изобретательности, подлинности вкуса - искренняя, ранимая и мужественная натура: переменчивый, серьезный, наблюдательный, проницательный, остроумный, насмешливый, ироничный, взбалмошный, мудрый, нерешительный, яростный, проникновенно восприимчивый, резкий, отважный, грубоватый...

В волшебном фонаре, с которым проходит он сквозь 'Пьесы', мистическим светом горит синее пламя пунша...

'Много говорят о вдохновении, которое художники вызывают в себе употреблением крепких напитков, - называют музыкантов и поэтов, которые только так и могут работать... Я этому не верю, - хотя несомненно, что даже в счастливым состоянии духа, можно сказать, при том благоприятном положении созвездий, когда ум от грез переходит к творчеству, спиртные напитки способствуют усиленному движению мыслей. Приведу здесь один образ, хотя и не изысканный: мне представляется, как набухающий поток заставляет быстрее двигаться мельничное колесо, так и в этом случае: человек подливает вина, и его внутренний механизм начинает вращаться быстрее. Конечно, прекрасно, что благородный плод заключает в себе тайную силу чудесным образом вызывать самые яркие проявления человеческого духа. Но напиток, что в эту минуту дымится в стакане здесь, передо мной, подобен таинственному чужеземцу, всюду меняющему свое имя, чтобы оставаться неузнанным. Он не имеет общего названия и производится таким способом: зажигают коньяк, ром или арак и кладут над огнем, на решетку, сахар, который каплями стекает в жидкость. Приготовление и умеренное употребление этого напитка оказывает на меня действие благотворное и увеселяющее. Когда вспыхивает голубое пламя, я вижу, как из него, пылая и искрясь, вылетают саламандры и начинают сражаться с духами земли, обитающими в сахаре. Те держатся храбро, треща, осыпают врагов желтыми искрами, но сила саламандр неодолима, духи земли с треском и шипением падают вниз. Духи воды взмывают вверх и кружатся, обратившись в пар, меж тем как духи земли увлекают за собой обессиленных саламандр и пожирают их в их собственном царстве. Но сами они тоже погибают, а отважные новорожденные маленькие духи начинают сиять в пылающем пурпуре, и то, что породили, погибая в борьбе, саламандры и дух земли, соединяет в себе жар огня и стойкость духа земли. Если бы в самом деле было желательно подливать спиртное на колесо фантазии (что я считаю желательным, ибо это не только ускоряет полет мыслей художника, но также сообщает ему известное благорасположение и веселость, облегчающие труд), то по отношению к напиткам можно было бы установить некоторые общие правила. Так, я, например, посоветовал бы при сочинении церковной музыки употреблять старые рейнские и французские вина; для серьезной оперы - очень тонкое бургундское; для комической оперы - шампанское; для канцонетт - итальянские огненные вина; для произведения в высшей степени романтического, вроде 'Дон-Жуана', - умеренное количество напитка, создаваемого саламандрами и духами земли'.

В том и заключается обаяние прозы Гофмана, что романтизм явился в ней в разнообразном единстве живых черт, человеческой непосредственности, нисколько не снижая глубины содержания. Потому что, как ни прозвучит парадоксально, проза 'Фантастических пьес' имела в основе не внутреннюю музыку томлений и самонаслаждений, а театр.

Повествовательной манере Гофмана свойственно поразительное понимание сценической динамики; музыкальность в ней лишь жест, хотя важный, драгоценный, лелеемый, вдохновенный, но пользуется им автор очень выдержанно; музыкальный жест не подавляет повествование, не делает нарочитой многозначительностью слова бесполезными, не превращает повествование в беззвучную пантомиму речи, пустое пространство; сценическое действие не останавливается...

Гофман вступил в литературу поздним романтиком, сложившимся человеком; потому не стал пленником и заложником раннеромантических приемов, автоматизма стиля с его заблуждениями; проза его пьес зрелая и мужественная. Весь ранний период он молчал, не мог пробиться, но испытания, сквозь которые он прошел, длительное вынужденное молчание сказались благотворно. Из-за того, что он прошел сквозь невероятные страдания и сверхнапряжения духа, как в пламени сгорела свойственная ему когда-то романтическая манерность, деланность, позерство. Гофман преодолел ограниченность раннего романтизма, попросту говоря, его незрелость, наносное в нем, внешнее, сопутствующее. Позднеромантического автора мало заботила собственная импозантность, гораздо более занимала его подлинность художественной позиции.

Проза 'Фантастических пьес', при неизбежной романтической эксцентричности, исполнена большого достоинства, и, при заостренности художественного аристократизма, естественна, неприязнательна. Некоторая напряженность и вызов смягчены приятельским тоном, юмором; грубоватая прямота, пренебрегающая изящной закругленностью повествовательной манеры, не является здесь стремлением намеренно задеть или оскорбить кого-либо, но лишь выражает нежелание изыщивать там, где дело идет о страстной заинтересованности. Спектакль, разыгранный в 'Фантастических пьесах', раскрыл новые возможности художественной гениальности: призывание искусства в изоляции изобретательных способностей остроумия и фантазии, в провоцировании смыслов к самораскрытию, в проникновении мысли в таинство жизни...

Глава девятая Война в Саксонии

Я солдат. Я привык к походной жизни.
Вам не понять.
Бонапарт.

Гофманы поехали в Дрезден по горным дорогам Тюрингии, повсюду двигались антинаполеоновские войска. Казачья и калмыцкая конница вызвала особенно тревожные ощущения: 'В гомоне и выкриках на чужом языке было нечто жутковатое, страшное'. Словно оправдывая предчувствие, на них с Мишей покатила отцепившаяся тяжело груженная повозка с порохом, едва не раздавив...

Саксония была союзницей империи французской республики, но в этот момент Дрезден был занят русской и прусской гвардиями, сопровождавшими царя и короля. Гофман нашел варшавского приятеля - придворного музыканта Антона Моргенрота; вместе с ним послушал реквием Хассе, затем направился в сад Линковы купальни, где неожиданно встретил Хиппеля и старого знакомого Штегемана, тайных советников, находившихся в свите канцлера Гарденберга...

Театр был в Лейпциге. Гофман не знал, ждать ли его здесь или поехать самому туда, денег не было... Хозяин театра вскоре прислал достаточную сумму, но начинались военные действия, неблагоприятные - Наполеон наступал. В начале мая Гофман записал: 'С этого времени начинаются дни величайшего беспокойства, величайшего напряжения... даже Хиппель обеспокоен исходом событий...'. А Гофман так надеялся, что тайный советник фон Хиппель все устроит...

Всю ночь русские выводили войска и артиллерию, подожгли понтонный мост; вниз по реке плыли горящие лодки... Ближе к полудню французы вошли в город, в шестом часу вечера - Император... Гофман видел, как русский арьергард вел перестрелку с наступающими французскими войсками... Состояние было тревожное, но радостное... - наяву видеть великие события...

9 мая он писал: 'Довольно спокойная ночь, но с четырех часов непрерывающаяся стрельба. Французы расположились на башне и на галерее католической церкви. Я стоял у самых Замковых ворот и чуть не был убит, когда 5 - 6 снарядов, шипя, ударились в стену и отскочили обратно'. 11 мая: 'Сегодня по направлению к Пирнским, Вильсдруфским и Озерным воротам по восстановленному мосту через Эльбу прошли вюртембержцы, французы, итальянцы, поляки, по меньшей мере, 30 - 40 тысяч человек и много артиллерии'. Антинаполеоновское настроение не помешало Гофману испытать особое чувство, наблюдая, как мимо императора проходили войска на мосту, приветствуя его... 'Саксонский король тоже прибыл под звон колоколов и гром пушек'.

Лишь спустя неделю Гофманы смогли выехать в Лейпциг. Миновали первую станцию, '...почтальон и шорник вышли из кареты и пошли пешком следом; дикая молодая лошадь в передней упряжке испугалась, рванула к канаве, круто развернув тяжело нагруженную карету, где были сундуки с деньгами, купеческий товар и двенадцать пассажиров. Карета опрокинулась с огромной силой. Я перелетел через жену, но отделался мелкими ушибами, остался в сознании и смог вытащить ее из-под сундуков и ящиков - но в каком виде!'. Поначалу он испугался, мелькнуло: голова разбита...! Было много крови... 'Я отнес ее на лужайку и, сохраняя присутствие духа, вылил на свой платок флакончик одеколона, к счастью, сохранившийся в корзинке, все еще висевшей на руке у жены, потом протер ей лицо'. Оказалось, серьезных повреждений нет, только рассечена бровь. 'Моя бедная жена очнулась от обморока, и я смог доставить ее к дому, который был совсем недалеко от города. Там нашлись исключительно добрые люди, давшие нам немного подкрепиться вином'. В ежедневнике: '...Нас захватили с собой совершенно незнакомые люди, сенатор Гольдберг с супругой дружески отнеслись к нам, подкрепили вином...'. Мишу перенесли в гостиницу 'Солнце', где ей помог врач. 'Я совершенно невредим, но все тело болит, и едва двигаюсь'. Некая молодая женщина, актриса, двадцати трех лет, в этой транспортной катастрофе погибла. Была раздавлена сундуками с деньгами...

В Лейпциге они остановились в плохой гостинице Hotele de France, в 'ужасной дыре' с окном во двор, в прескверном настроении... Но вечером Гофман был любезно принят хозяином театра господином Секондой.

Гертель и Рохлиц встретили его как старого знакомого. В театре музыканты оркестра проявили почтение, которое его даже смутило. Прямо с дорожного происшествия, помятый и потрясенный, он впрягся в должность. Репетиция прошла хорошо, а вот на спектакле вечером он почувствовал себя плохо, голова закружилась... из-за всех переживаний и переутомления. Все же он пришел в себя. Понемногу все налаживалось. В письме Шпейеру он рассказывал: 'Не могу передать мое собственное ощущение от всего этого; тут же вспоминается бамбергский идиотизм. Мы сразу нашли общий язык; так что пусть мудрейший господин Диттмейер приедет сюда и убедится в том, можно ли дирижировать, сидя за роялем, а также умею ли я дирижировать вообще. Жизнь в Лейпциге очень приятна и вовсе не столь дорога, как о том твердят всюду. Можно было бы прожить совсем дешево, если бы не одно роковое заведение, на которое тратятся гульдены. ...Проходишь мимо, а улица перед входом так поката, что не заметишь сам, как спуститься вниз по лестнице и очутиться в неплохо обставленной комнате; вот только сразу дает о себе знать проклятый воздух погребка - чтобы заглушить его, приходится выпить стакан епископского или бургундского, закусив салатом из анчоусов и ракушек, сервелатом, оливками, каперсами, оливковым маслом из Лукки и т.д. Да, это заведение стоит гульденов!'

Редактор надворный советник Рохлиц был приятный человек, но совершенно не умел веселиться. Два раза Гофман побывал у него с женой, приятно пообедав, но все время было ип росо натянуто...

Художник привык гурманствовать в непринужденной обстановке, под воздействием неумолимой силы ньютонова тяготения он неизбежно скатывался в винные погребки, итальянские траттории, в кофейню Рейхардта и

всякие рестораны и кабачки. В этих заведениях попадались люди презанимательные. 'Вечером в 'Зеленой липе' судебный писец Вагнер - недюжинный человек - копирует Опица, Иффланда pp. И притом остроумно; кажется, он тоже приверженец лучшей школы un poco exaltato - из-за обильных возлияний рома'. Судебный писец - батюшка композитора Рихарда Вагнера; за дадей Адольфом Гофман был дружен, все Вагнеры весьма почитали писателя...

Оказалось, впрочем, что положение театра Секонды хуже, чем бамбергского - менее прочно, если можно себе такое представить. Зал пустовал; нередко прямо перед самым спектаклем объявлялась тревога и запирались городские ворота.

По поводу политики в Гофмановом ежедневнике 18 июня появилась странная запись: '...Видел прусских офицеров из свободного корпуса Лютцова, захваченных в плен самым бесчестным образом, частью тяжело раненых и поэтому страшно изуродованных'.

Было перемирие. Бесчестно вел себя именно 'Черный отряд' Адольфа Лютцова: он продолжал воевать.

Рыцарские правила ведения войны уже вытеснялись плебейским национализмом, низменными представлениями, будто в отношении противника даже бесчестные действия не бесчестны, оправдание им - ненависть. 'Свободный корпус Лютцова' - свободный от чего? Правил чести? Лютцов нарвался на вюртембержцев, и отряд был расстрелян их артиллерией, истреблен почти полностью.

Надо сказать, Гофман свикался со своей службой, превозмогая невыносимую головную боль; ему это становилось даже легко, за вычетом головной боли - по поводу того, что он не приобрел по сути ничего, даже кое-то потерял, покинув Бамберг.. в чем он ни за что не хотел признаться даже себе самому, приплетаясь домой обессиленный, в изнеможении...

Приглашение хозяину в дрезденский королевский театр - он прокомментировал в письме: 'За Ханзена не опасаясь, он глупостью все победит!'. Характерно дополнение: 'Секонда именно таков, каким описал мне его Рохлиц, - милый, честный, недалекий человек, в течение 25 лет крутивший машину, словно осел сукновальню. Ежемесячно он загребает четыре-пять тысяч талеров, тут же растрчивает их; но если что-то выбьется из привычной колеи, тут он теряет голову и оказывается беспомощным'. В общем... осел. Хотя милый. Слово было произнесено. Оставалось ждать последствий.

Более полный портрет внешности хозяина, начертанный Гофманом, настораживал и вселял серьезные опасения за дальнейшую судьбу художника... 'Маленький, пожилой, сгорбленный человечек с непомерно большой головой и стеклянными глазами навывкате'. Жутковатый хозяин. Слишком напоминает призрачные деформированные видения болезненной фантазии; прибавьте загребущие руки, получится нечто паучье.

Надеясь на психологическую совместимость не приходилось. Секонда, видимо, тоже надеялся, что предстанет более внушительная фигура профессионала. А явился маленький, нервный, издерганный профессионал, с печатью невзгод и морщин - заправский бедолага...

Месяц здесь, месяц там... Гофман почувствовал, что это ему не нравится. Ведь он предпочитал комфорт, уют. А здесь, на четвертом десятке - как по зову боевой трубы! Ехать, преодолевая препятствия, давать представления почтенной публике...

Переезд напоминал караван бродячих комедиантов из времен средневековья, бесприютно, тяжело. Забавен был лишь попугай, ругавшийся непрерывно и весьма удачно.

Остановились на ночлег в гостинице. Во время ужина Гофман дал волю раздраженной саркастической взвинченности (Секонды не было, он пошел спать) и в шутку предложил въезд в Дрезден наподобие римского триумфа. По замыслу Гофмана, господин директор должен был изображать императора, а над головой его победно парил бы, расправив крылья, попугай - вместо орла - непрерывно ругаясь. Предложение было принято аплодисментами, вечер удался.

25 июня запись: 'В жалкой телеге совершил отвратительное путешествие в Дрезден в самом неприятном настроении... проклятый Секонда'. Был поздний вечер, квартиры не нашел, переночевал у Секонды.

На завтра. 'Измучен и вял... все оказалось хуже, чем я предполагал'. Но как в Бамберг вернуться..?

Хозяину донесли о подробностях вечера в гостинице. Неприятное открытие, нанятый им капельмейстер ко всему владеет и сатирическим дарованием..! Результат немедленно сказался... Запись: 'Величайшая нужда. Гнусное настроение... плохой оркестр... неприятное столкновение с Секондой, который обвинил меня в том, что не получаюсь лучше. Он грубый осел. Как бы хотелось уехать... Жалкая постановка 'Дон-Жуана' '. В Бамберге спектакль ставили с высокой степенью совершенства, там он был режиссером... сам себе хозяин...

Секонда возненавидел Гофмана, отношения испортились непоправимо: неприязненная нетерпимость...

Было благодатное лето, не хотелось ни о чем таком... Хотелось надеяться, что все обойдется.

Жили возле Черных ворот. Окно было увито виноградом. Открывалась прекрасная долина Эльбы. Место возвышалось над городом. Внизу Дрезден с куполами и башнями, вдали скалы Рудных гор.

Гофман ходил на службу через виноградники вдоль реки, там пользовался возможностью подкрепить силы молодым вином и крестьянской едой.

Бамбергские обиды были не изжиты. 'Время, покрытое ахероновым мраком'. Гофман написал Шпейеру длинное письмо: 'Хотя иногда в счастливые минуты мне было весело и приятно среди моих дорогих друзей; хоть редко в каком-нибудь другом месте я чувствовал себя принятым столь сердечно и искренне, все же в глубине души я был убежден, что должен поскорее покинуть Бамберг, если не хочу погибнуть навсегда. Представьте себе мою жизнь в Бамберге с первого момента после приезда, и вы признаете, что будто какая-то враждебная, демоническая власть пыталась оторвать меня от стремлений или, лучше сказать, от искусства, которому я теперь посвятил всю мою жизнь, все мои помыслы и порывы. Мое положение у Куно, даже чуждая мне служба... у Гольбейна, связанная к тому же со многими соблазнами; но прежде всего незабываемые и абсолютно невыносимые сцены с Дитмейером, жалкие, глупые пошлости старика; иначе, но также пагубно действовавшие роковые сцены с Кунцем и, наконец, с З[ейфертом], который казался мне свежееиспеченным, неумелым подручным дьявола, короче, полная оппозиция против любых высоких дел и стремлений, где человек поднимается на быстрых крыльях над вонючим болотом жалкого, нищенского существования, - все это вызывало во мне внутренний разлад, внутреннюю войну, способную уничтожить меня быстрее, нежели любая сумятица во внешнем мире. Всякая незаслуженная обида, которую приходилось терпеть, усиливала мою внутреннюю ожесточенность, и, привыкая все более к вину как возбуждающему средству, раздувая огонь, чтобы веселее гореть, я не понимал того, что на этом пути спасение принесет только гибель. Попытайтесь в нескольких словах, в намеке отыскать ключ к тому, что казалось вам если не загадочным, то противоречивым! Впрочем: Transeant cum caeteris! (прочь со всем остальным. - лат.).' Полная оппозиция против любых высоких дел и стремлений не была особенностью Бамберга, но общественной жизни

вообще, в основных проявлениях поверхностной и низменной...

К.-Ф.-К. Тем временем в Бамберге подготовил к печати 'Фантастические пьесы', прислал оттиски первых листов, предлагал просить написать предисловие своего доброго знакомого известного писателя Иоганна-Пауля Рихтера.

Гофман: '...Вид первых двух листов доставил мне огромную радость; печать получилась на редкость элегантно, что принесет вам заслуженную похвалу в литературных газетах. Что же касается ваших предложений, то здесь, по зрелом размышлении, результаты таковы: 1) Я не хочу называть себя, поскольку мое имя должно стать известным миру лишь благодаря удачному музыкальному сочинению; позже все равно узнают, кто написал произведения, изданные господином К.Ф.К. 2) Я подумаю об аллегорической виньетке, нарисую ее и вышлю вам. 3) Любые предисловия, если они не предваряют научное сочинение, мне противны, но более всего те, которыми, будто аттестатом, известные писатели снабжают произведения малоизвестных авторов. В то же время сии предисловия не что иное, как официальное разрешение властей просить милостыню; с оным в руках молодым писателям дозволяется выпрашивать аплодисменты. Но если вы, как издатель, для пользы дела считаете необходимым предварить мое сочинение подобным аттестатом, то напишите все же вашему другу Жан-Поллю; быть может, он окажется в хорошем настроении и набросает стройное предисловие, которое можно будет поставить перед моим (я имею в виду 'Калло' (фрагмент в начале пьес. - авт.)).'

Нелегко иметь дело с гением, особенно пока не признанным, он ведет войну со всем миром, везде подозревая противников. Но К.-Ф.-К. Обладал беспредельным великодушием и пониманием, что делало ему великую честь...

Рихтер тоже сначала проявил несговорчивость. 'Очень сожалею, что не смогу выполнить вашу просьбу, но я твердо решил отныне не писать предисловий к книгам. Я сделал это лишь два раза в жизни, а именно, к 'Сагам' Добенека и к 'Историческим документам' Канне, за что последний весьма недостойно отплатил мне... Ради вас как издателя, я, возможно, отступил бы от своего правила, если бы предисловия не обязывали с любовью отзываться и об авторе, а к Гофману я не питаю таковой, потому что моя жена, ранее знавшая его в Берлине, рассказывала о нем вещи, которые выставляют его характер отнюдь не в выгодном свете'...

Жан-Поль, впрочем, был страстный читатель, и любопытство взяло верх... К.-Ф.-К. Вспоминал: 'Он вошел в мою комнату со словами: 'Рукопись я вам не принес, она останется у меня, потому что я напишу предисловие, притом, кажется, довольно хорошее и правдивое. Ведь не мог же я предполагать, что книга окажется столь превосходной; поздравляю вас с сокровищем, которое вы нашли!' За столом Жан-Поль возносил хвалы уму Гофмана и возвестил то, что позднее исполнилось, а именно: что когда-нибудь этот писатель прославится на всю Германию'.

Возобновилась война. Дрезден был опорным пунктом императора, из города несколько дней подряд выходили войска, военное напряжение опять достигло предела.

Гофман переволновался настолько, что заболел поносом, наивно полагая, будто это дизентерия или даже холера. 19 августа стало спокойно и он моментально излечился. Но произошедшее извержение и сидение на горшке странным образом породило замысел великолепной фантастической повести. И немедленно он написал письмо К.-Ф.-К. 'Меня ужасно захватывает продолжение, особенно сказка, которая будет почти на целый том. Только не рассчитывайте, дорогой, на Шехерезаду из 'Тысячи и одной ночи' - турбан и шальвары изгнаны навсегда. Чудесным и магическим должно быть это произведение, но вместе с тем дерзко вторгающимся в повседневную жизнь и подхватывающим ее образы. Так, например, тайный архивариус Линдгорст - удивительно злой волшебник, три дочери коего, золотисто-зеленые змейки, заключены в кристаллы, но в Троицын день им дозволено три часа погреться на солнечные в кусте бузины возле 'Сада Ампеля', мимо которого проходят все посетители кофеен и пивных. Однако юноша в праздничном сюртуке, собиравшийся съесть слоеные булочки в тени куста и поразмышлять о завтрашней лекции, безумно влюбляется в одну из зеленых змеек... объявлено его бракосочетание... молодые обвенчаны... в приданое достается золотой горшок, украшенный драгоценностями. Впервые помочившись в него, юноша превращается в мартышку мужского пола... Вы замечаете, дорогой друг, что за всем этим кроются Гоцци и Фафнер! ... Мой врач опасался тифа, но эта атака отбита. Впрочем, этапы здесь таковы: дизентерия - тиф - смерть! Два назад я был настолько болен... Великолепна книга Шуберта 'О темной pp' [стороне естественных наук], я получил ее и жадно интересуюсь всем, что написал или еще напишет этот гениальный человек. Объяснение предчувствий, сомнамбул еще в большей степени пронизательно, чем поэтично'.

Бонапарт двинулся на сотысячную армию Блюхера в Силезии. Но старый фельдмаршал, избежал встречи со старым знакомым, начал отступление. Покуда император преследовал его, на Дрезден из Богемии направилась 230-тысячная русско-австрийская армия Шварценберга... Гофман в ежедневнике с обычной своей военной 'прозорливостью' отмечал 'явное отступление французов из Силезии, бесчисленное множество раненых на повозках кавалеристов на конях пехотинцев без оружия rrr'. Но это было никакое не rrr. Император нанес поражение противнику возле Левенберга и повернул на помощь Дрездену. Шварценберг появился раньше. Гарнизон занимал оборону, войска перемещались и располагались на позициях. На репетиции оперы Глюка пришло сообщение, что ворота заперты.

Гофман помчался к Черным воротам за Мишей - перебрались на позицию не столь стратегическую. Вечером исполнили оперу. Рано поутру послышался грохот артиллерии и треск ружейной пальбы. 24 августа: 'Беспокойство нарастает: к воротам спешно везут пушки и подводы с порохом. Постоянная стрельба'. Черные ворота были открыты. Гофман поспешил туда и смог наблюдать артиллерийскую перестрелку. Вечером был салют в честь победы под Левенбергом. Ночь прошла спокойно. Стрельба возобновилась после полуночи. Гофман и его новый приятель актер Келлер наблюдали бой вблизи, позади позиции французских стрелков возле Пирнской заставы. В атаку пошли русские егеря, судя по наступлению не в колоннах, а рассыпным строем. Французы били картечью из пушек. Их позицию стала обстреливать русская артиллерия. Было уже темно; огонь русской артиллерии все усиливался. Стало опасно.

Гофман и Келлер скрылись через Вильсдруфские ворота. Ночью Гофман забрался на чердак высокого дома. Всюду на большом пространстве видны были огни множества бивачных костров. Дрезден был окружен огромной армией. 26 августа в семь часов утра его разбудил гром пушек. Гофман бросился с биноклем на свою обсерваторию. Видно было, как с горных склонов спускаются колонны русских и австрийских войск. 'Пушечная пальба усиливалась, дрожала земля и звенели оконные стекла'. Союзники захватили несколько редутов. В 11 часов явился император с гвардией. В 16 часов город был окружен со всех сторон. Стоял ужасный грохот. Стреляли 1200 пушек. Среди разрывов послышался свист, полетели с шипением и треском, рассыпая искры, гранаты. Дрезденцы не могли поверить: союзники бомбардировали город...! Город горел, было много убитых и раненых. Ночью небо было

охвачено кровавым заревом. Стрельба прекратилась. 'Гвардейцы... отбили взятые редуты, а союзная армия вновь отошла на высоты'. 27 августа хмурым утром в восемь часов вновь началась сильная канонада французов.

'...Непрерывно лил дождь, а потому почти ничего нельзя было разглядеть'. В полдень русско-австрийская армия была разбита, частью отступала в беспорядке. Победу французов совершила их кавалерия. Не менее 20 тысяч убитых, 15 тысяч пленных, но основные силы Шварценбергу удалось увести обратно в Богемию.

В следующий день: '...На поле битвы под звуки барабана и флейты проходили могильщики; я хотел пойти туда, но вернулся из опасения, что мне придется выносить раненых'. На завтра он повидал поле сражения, заваленное телами погибших, 'валка' называется война по-чешски... 'Русские егеря здесь вели атаки под яростным огнем французских пушек... поле покрывали тела убитых русских солдат, частью страшно изуродованные и разорванные в клочья. ...Все брошено в диком беспорядке. ...Мне показалось, будто неподалеку в траве что-то шевелится; я сказал об этом своему спутнику, адвокату Кунради, мы приблизились. И что же, русский, у коего были ужаснейшим образом прострелены обе ноги... все было покрыто запекшейся кровью... удобно уселся и жевал кусок солдатского хлеба. Этот человек пролежал с 26-го августа полудни и, несмотря на сильное ранение, был жив и бодр. Он показал нам свою пустую флягу, и Кунради поспешил наполнить ее водой'. Заметки были результатом литературной правки, записи по непосредственным впечатлениям были не таковы: вначале Гофман не понял, что солдат тяжело ранен... 'Утром был в хмельнике на поле сражения; ужасающее зрелище: трупы с разможенными головами и изуродованными телами. Один русский был не очень тяжело ранен и курил свою трубочку; мы дали ему водки и хлеба, и он был очень растроган'. Гофман и Келлер возле моста видели императора вблизи, он взглянул на них. Гофман нашел, что у него ужасный взгляд тирана...

1 сентября получено было письмо издателя, обрадовавшее его известием, что Рихтер пишет предисловие.

2 сентября: 'Бесчисленная артиллерия, кавалерия и пехота двигались по всем трем мостам... Болезненное и неприятное настроение - получил очень дрянное вино'.

Свободное время Гофман проводил в картинной галерее и в кофейне Эйхелькраута в обществе Келлера.

В письме его к К.Ф.К.: 'Мне кажется, что, совершенствуясь в писательском деле, я смог бы, пожалуй, прийти к чему-нибудь стоящему. Воли мне всегда хватало...'

В театре было замечено неприязненное отношение Секонды к Гофману, и этим начали пользоваться некоторые актрисы, затеявая ссоры с дирижером. Начались непостановочные сцены, вздорные выходки и дерзости. Разумеется, слабое существо получало немедленную поддержку хозяина... 19.9. 'Вечером неприятная сцена... Ужасное расстройство. В остальном полное затишье'.

Союзники подтягивали войска к Лейпцигу, 16 октября общая численность их составляла 220 тысяч. Наполеон мог противопоставить всего 155 тысяч, но начал наступление... Поздним вечером: потери противника 40 тысяч, императора 30 тысяч. Ночью император получил незначительное подкрепление, армия же противника возместила потери более чем в полтора раза, теперь было 140 тысяч против 290 тысяч.

Бонапарт сомневался, отступать или нет... 18 октября сражение возобновилось, решающий момент наступил, когда саксонские войска повернули пушки против французов и открыли огонь по их позициям, войска императора продержались до ночи и в темноте оставили позиции... В ноябре через Рейн переправились 70 тысяч.

В конце октября вновь началась осада Дрездена, командующий гарнизоном генерал Дюма решил не сдаваться и закрепиться. Гофман отметил в ежедневнике сильную усталость и истощение. Наступили холода, не хватало топлива, продукты питания страшно дороги. 29 октября вышел приказ: населению обеспечить себя продовольствием на два месяца; кто не может или не жает, должны покинуть город. Естественно, Гофман не видел никакого смысла в этих приготовлениях французов. '...В высшей степени угрожающее положение и весьма скверное настроение'. 30 октября город окружен. 'Все саксонские, вестфальские и баварские войска распушены; французы собираются прочно закрепиться'. Военная неразбериха, противоречивые приказы: город покидать запрещено... переписать все продовольствие... Началась эпидемия тифа... Городские ворота заперты. Французы оставили внешние укрепления и перешли внутрь на крепостные стены... В начале ноября запись: 'Бедствия со всех сторон; настроение мрачное. Вечером представление 'Волшебной флейты' - сдержанность и покорность судьбе'. Фридрих Лаун, популярный писатель, тоже проводил время в гофмановой кофейне: '...Незадолго до последнего, самого страшного периода... за одним из столиков в зале, где я обычно встречал многих своих знакомых, внимание мое привлек маленький человек в окружении незнакомых людей; обыкновенно он занимал место в углу, тихо беседуя с соседом, побольше ростом. Нередко потом он продолжал сидеть, погруженный в свои мысли; вдруг, без всякого видимого повода вскакивал со стула и, засунув руки глубоко в карманы сюртука, принимался быстро расхаживать взад-вперед по комнате. Судя по внешнему виду, он больше был занят собственными раздумьями, нежели рассказами окружающих. Выражение его лица непрерывно менялось, словно отражая течение его мыслей. ...Темные колючие глаза свидетельствовали о неукротимой внутренней жизни, вокруг губ залегли саркастические складки, и оставалось только пожалеть, что этот молчаливый человек не произносил своих мыслей вслух. Иногда он усаживался на отдельный стул, стоявший поодаль от общества; так ему казалось, он мог незаметно дать волю своей необузданной мимике. ...Ум и оригинальность ясно чувствовались в этом чудачковатом малом'. Лаун завязал разговор с Келлером и все познакомились. Гофман признался, что изучал право в университете, но к юриспруденции не расположен был никогда. 'Вспоминаю... как он привел меня в полный восторг, развивая мысль о том мощном воздействии, какое призвана была произвести на слушателей... [его] мастерски скомпанованная опера... К сожалению, из-за тифа, свирепствовавшего тогда в Дрездене, не осуществилась моя мечта чаще общаться и ближе сойтись с гениальным Гофманом, за внешностью сатира у которого скрывалась располагающая к себе душевность. Тиф свалил меня с ног и не только лишил возможности следить за дальнейшим развитием печальных событий, но и оборвал знакомство с Гофманом'.

Поскольку французский гарнизон, естественно, так же погибал из-за голода, холода и болезней, как и население, несмотря на долговременные приготовления держать укрепления, 10 ноября тягостная осада закончилась переговорами о сдаче города и выводе французских войск. Французы уходили без оружия, как писал Гофман, 'с позором'. Сам он впервые за многие годы 'читал газеты'.

Письмо издателю в Бамберг: 'Исполнились самые добрые мои надежды; испытание на твердость выдержала воля, которой я оставался верен в самые трудные времена. ...Что могу рассказать я о последнем периоде, прожитом здесь? Он, конечно, один из самых удивительных в моей жизни, ибо все то, что я видел обычно в ярких снах, предстало вдруг наяву! Очевидно, вам и моим друзьям в Бамберге интересно будет подробное описание здешних событий... (Гофман прилагал к письму записки наблюдений. - авт.). Безмерное счастье, конечно, что меня лишь в общем затронули страх и нужда; на моем же собственном положении ужаснейшие события в самом городе и вокруг

него особенным образом не сказались. ...И уж поистине милостью божией было то, что ни я, ни моя жена, проживая рядом с лазаретом, не заразились, ведь в доме, где мы живем, многие умерли от тифа, который косил людей как чума. Эта болезнь быстротечна: головная боль, головокружение, потеря сознания, смерть! И все за несколько часов. При полном отсутствии продуктов питания... такая напасть распространялась вовсю, и даже в последнюю неделю перед капитуляцией от тифа умерло около 200 горожан; в госпиталях же ежедневно умирали 200 - 250 человек, так что трупы горами лежали на кладбище в Нойштадте. Французы умирали прямо на улице, причем самым жалким образом. Это стало обычным явлением!'.

В страшном году Гофману удалось выжить. Но служба сложилась неблагополучно, если не сказать хуже. Нельзя было не признать, что решение покинуть Бамберг было непродуманным и поспешным. Баварию снова обошла война...

А здесь он попал в зависимость к неумному заправиле, который все менее сдерживался и не скрывал неприязни.

Секонда отсиделся под Бомбардировками. Его не взял тиф.

Хозяин снова принялся изводить, донимать, держать в нервном напряжении Гофмана пренебрежением и оскорбительными выходками, педантическими придирками. Все походило на издевательство. Запись: 'Гусная ночь'. Гофмана томила бессонница или тягостные страшные сновидения. Бесправная беззащитность. Естественно, служба вызывала отвращение, угнетала...

В декабре театр вернулся в Лейпциг, ночами Гофман писал сказочную повесть 'Золотой горшок', называя главы vigилиями, бдениями, периодами римской ночной стражи. Внутренне он жил, как на войне, в опасности и тревоге... стерег призраков ночи... 'Спрошу я тебя самого, благосклонный читатель, не бывали ли в твоей жизни часы, дни и даже целые недели, когда все твои обыкновенные дела и занятия возбуждали в тебе мучительное неудовольствие, когда все то, что в другое время представляется важным и значительным твоему чувству и мысли, вдруг начинало казаться пошлым и ничтожным? Ты не знаешь тогда сам, что делать и куда обратиться; твою грудь волнует темное чувство, что где-то и когда-то должно быть исполнено какое-то высокое, за круг всякого земного наслаждения переходящее желание... в этом томлении ты становишься нем и глух ко всему, что тебя здесь окружает'.

Хозяин держался враждебно, едва замечая, поскольку совершенно игнорировать нельзя было. Если Гофман позволял себе высказывания по поводу репертуара, очередности постановок, мнение его отвергалось с презрительной миной; по всякому поводу ему давали понять, что в нем не нуждаются. Гофману приходилось собирать всю свою выдержку, чтобы не сорваться...

Ночами никак не получался финал сказки... 'С отвращением замечал я бледность и бессилие всякого выражения. Я чувствовал себя погруженным в ничтожество и мелочи повседневной жизни; я томился в мучительном недовольстве; я бродил в какой-то рассеянности; ...я впал в состояние студента Ансельма... Я очень мучился, пересматривая те 11 [вигилий], которые благополучно окончил, и думал, что, верно, мне уж никогда не будет дано прибавить 12 в качестве завершения, ибо каждый раз, как я садился в ночное время, чтобы докончить мой рассказ, казалось, какие-то лукавые духи... подставляли мне блестящий, гладко полированный металл, в котором я видел только свое 'Я' - бледное, утомленное и грустное, как у регистратора Геербранда после попойки'.

Все же он дописал 'Золотой горшок' в середине февраля.

События фантастической повести начинались летом, когда город на Эльбе столь великолепен!

'В день Вознесения, часов около трех пополудни, через Черные ворота в Дрездене стремительно шел молодой человек и как раз попал в корзину с яблоками и пирожками, которыми торговала старая безобразная женщина; и попал столь удачно, что часть содержимого корзины была раздавлена, а все то, что благополучно избегло этой участи, разлетелось во все стороны, и уличные мальчишки радостно бросились на добычу, которую доставил им ловкий юноша'.

Завязывается конфликт, который приводит в движение магические пружины странных событий. На молодого человека с руганью набрасываются торговки; он вынимает кошелек, чтобы расплатиться за урон, но старуха жадно схватила кошелек и спрятала. Ей этого показалось мало. '...Старуха закричала ему вслед: 'Убегай, чертов сын, чтобы тебя разнесло; попадешь под стекло, под стекло!..'. В резком пронзительном голосе этой бабы было что-то страшное, так что гуляющие с удивлением останавливались, и раздавшийся было сначала смех разом замолк. Студент Ансельм... хотя и вовсе не понял странных слов старухи, но почувствовал невольное содрогание и еще более ускорил свои шаги, чтобы избежать направленных на него взоров любопытной толпы. Теперь, пробираясь сквозь поток нарядных горожан, он слышал повсюду говор: 'Ах, бедный молодой человек! Ах, она проклятая баба!'.

Деньги, приготовленные им на полпорции кофе с ромом и бутылку двойного пива, исчезли. И высокий студент в немодном сером щучьем фраке и черных, хорошо сохранившихся брюках магистерского покроя, пошел мимо Линковых купален по тропинке вдоль реки. Нашел тенистое место под кустом бузины, росшим из разрушенной стены парка, сел и раскурил трубочку 'пользительного табака' конфектора Паульмана...

Из внутреннего монолога выяснилось, студент вечно попадает в нелепые положения из-за своей неловкости и несурзанности. Ансельму свойственна неприспособляемость к обиходу; вечно он оказывается не на месте; то и дело он нелетает или на него налетают; и орут на него: 'Вы, сударь, взбесились!'. Студент погружен в себя, рассеян и находится в странной отрешенности. Неудивительно, с нескладным субъектом должно было приключиться нечто чудное... Блаженная греза, призрачная дрема, магическая раскрытая предметность... Солнечные лучи волшебным образом играли в ветвях бузины, а ветерок ласково трогал листья нежной дрожью... Словно в кусте бузины порхали крохотные птички колибри, задевая ветки своими крылышками... Цветы издавали хрустальные звуки, и в этом сладчайшем звоне послышался шелест, шепот, нежный лепет, слова... По веткам скользили, вились, сплетались золотисто-зеленые змейки; их было три... '...И когда они так быстро двигались, казалось, что куст сыплет тысячами изумрудных искр через свои темные листья'. Одна из них была особенно мила... '...И неведомое доселе чувство высочайшего блаженства и глубочайшей скорби как бы силилось разорвать его грудь. ...Сильнее зазвучали в грациозных аккордах хрустальные колокольчики, а искрящиеся изумруды посыпались на него и обвили его сверкающими золотыми нитями, порхая и играя вокруг него тысячами огоньков. ...Благоухали цветы, и их аромат был точно чудное пение тысячи флейт...'. Но словно прогрохотал гром: грубый голос прервал волшебное видение: 'Довольно резвиться! Домой, домой!'. И хрустальные змейки скользнули вниз и нырнули в потоки воды. '...И над волнами, где они исчезли, с треском поднялся зеленый огонек, сделал дугу по направлению к городу и разлетелся'. Начинаясь праздничный фейерверк...

Гофман, искусный авантюрный писатель, запутывал интригу; видения, сны, реальность - все сливается и

перетекает в едином потоке бытия...

Студент Ансельм не хотел расставаться с видением; в неистовстве, невыразимой тоске и отчаянии стал он трести куст бузины, заглядывая внутрь него, звать змеек... И, разумеется, был принят прохожими за пьяного: 'слишком засмотрелся в стаканчик'; услышав это, Ансельм бросился бежать. 'Быть принятым за написавшего в праздник кандидата богословия, эта мысль была нестерпима', не без ехидства заметил Гофман. Фейерверк был в разгаре.

Заметившие его приятели, конректор Паульман и регистратор Геербранд, позвали его кататься на лодке. Взлетали разноцветные огни петард, расцветенное ночное небо отражалось в темной воде... студенту опять показались змейки, и он сделал движение, словно хотел броситься за ними в реку. Сидевшие в лодке девушки, дочери Паульмана, испугались. Конректор же проговорил Геербранду: 'Подобные припадки еще не наблюдались'. И стал шупать у студента пульс.

Приятелям хотелось избавить Ансельма от странных приступов, привидений и фантазмов. Паульман предпочитал радикальные средства: наилучшее с позволения сказать средство против подобных склонностей - пивавки к задку. Геербранд мягче, поскольку, признавался, сам склонен к фантастическому и романтическому: однажды в дремотном состоянии после вкусного обеда ему совершенно ясно, 'как бы по вдохновению', представилось, где находится потерянный документ...

Из благих побуждений приятели находят Ансельму каллиграфическую работу, поскольку он весьма искусен в чистописании и рисовании пером. Есть, оказывается, тайный архивариус Линдгорст, живущий уединенно в своем отдаленном доме, ему нужен каллиграф.

'Но берегитесь всякого чернильного пятна: если вы его сделаете на копии, то вас заставят без милосердия начинать сначала; если же вы запачкаете оригинал, то господин архивариус в состоянии выбросить вас из окошка, потому что он человек сердитый'. Стоит отметить сие обстоятельство, потому что другого студента в 'Ночных рассказах' грозился выбросить в окошко дедушка Фетери, прослеживаются и некоторые другие черты сходства.

Романтические мечтатели Гофмана вполне земные люди, оттого правдоподобны они в повседневной обстановке со своими страстными мечтательными порывами. 'Его настоящая страсть была - копировать трудные каллиграфические работы'. И помимо того, 'Ночью студент Ансельм только и видел что светлые специестелеры и слышал их приятный звон. Нельзя осуждать за это беднягу, который, будучи во многих надеждах обманут прихотями злой судьбы, должен был беречь всякий грош и отказываться от удовольствий, которых требует жизнерадостная юность'.

Ансельм направился к тайному архивариусу, и, надо думать, для храбрости, выпил по заверению Гофмана всего-то 'рюмку-другую' неслабого ликера в кофейне Кунради на Замковой улице. Может он выпил и три рюмки ради трех зеленых змеек, судя по произведенному эффекту. А может базарная торговка и впрямь ведьма... Крепкий ликер да изрядная впечатлительность - много ли нужно, чтобы вспыхнул пламень романтических фантазмов...? 'Несмотря на длинную дорогу до той уединенной улицы, на которой находился старый дом архивариуса Линдгорста, студент был у его дверей еще до 12 часов. Он остановился и рассматривал большой красивый дверной молоток, прикрепленный к бронзовой фигуре. Но только что он хотел взяться за этот молоток при последнем звуком ударе башенных часов на Крестовой церкви, как вдруг бронзовое лицо искривилось и осклабилось в отвратительную улыбку и страшно засверкало лучами металлических глаз. Ах! Это была яблочная торговка возле Черных ворот! Острые зубы застучали в растянутой пасти, и оттуда затрещало и заскрипело: 'Дурррак! Дуррак! Дуррак! Удерррреш! Удерррреш! Дуррак!'. Студент Ансельм в ужасе отшатнулся и хотел опереться о косяк дверей, но рука его схватила и дернула шнурок звонка; и вот сильнее и сильнее зазвенело в трескучих диссонансах, и по всему пустому дому раздались насмешливые отголоски: 'Быть тебе уж в стекле, в хрустале, быть в стекле!' '. Шнурок звонка превратился в питона, обвил и сдавил его так, что он лишился чувств... Когда же пришел в себя, дома, в постели, конректор Паульман говорил: 'Но скажите же, ради бога, что это вы за нелепости такие делаете, любезный господин Ансельм?'

Бронзовый молоток вполне достоверен, за это можно поручиться; Гофман видел такой, с бронзовым лицом в виде яблока, на одной из дверей в Дрездене. В остальном сказка из новых времен, это некое музыкальное каприччо, продолжение все тех же фантастических пьес. Автор наслаждался свободной поэтической фантазией, разыгрывая читателя; но постоянно присутствовало в этом нечто загадочное, как в разговоре архивариуса Линдгорста с приятелями в кофейне, где все дружно хохочут, а Ансельму немного не по себе, даже слегка жутковато. Брат архивариуса, видите ли, вступил на плохой путь, пошел в драконы... (в драконы?) - да, в драконы!; когда же братья поспорили о наследстве, покойник не вытерпел, встал из гроба и спустил одного из них (Ганса...?) с лестницы... Металлическим сухим голосом он напоминал дядю Иоганна-Людвига, но также в его повадках проявляется и нечто сверх того знакомое... 'И вот, когда архивариус Линдгорст со шляпой и палкой уже выходил из кофейни, регистратор Геербранд быстро схватил за руку студента Ансельма и, загородив вместе с ним дорогу архивариусу, сказал: 'Высокочитимый господин тайный архивариус, вот студент Ансельм, который, будучи необычайно искусен в каллиграфии и рисовании, желал бы списывать ваши манускрипты'. - 'Это мне весьма и чрезвычайно приятно, - быстро ответил архивариус, набросил себе на голову треугольную солдатскую шляпу и, отстранив регистратора Геербранда и студента Ансельма, побежал с большим шумом вниз по лестнице, так что те, совершенно озадаченные, стояли и смотрели на дверь, которую он с треском захлопнул прямо у них под носом'. Подобным способом захлопнул дверь перед внучатым племянником старик Фетери в замке.

Блуждания в отрешенности вновь привели Ансельма к тому кусту бузины... Романтическое древо познания, сплетение его ветвей сень мечты, змейки дриады, хрустальный звон, сплетаются в изумрудные сети их волосы... сладостный плен сновидений... И, словно разгадывая направление его внутренних блужданий, здесь появляется тайный архивариус... волшебник, хранитель тайн...

В повседневности Линдгорст не хочет раскрывать свою сущность; он ходит в солдатской шляпе и широко сером плаще: серый цвет предпочитают люди пунктуальные, любящие порядок, как и подобает занятым в архивах. Огонь его потух, но трубка дымит... Архивариус показал Ансельму магический изумруд: '...Быстро сняв с левой руки перчатку и поднеся к глазам студента перстень с драгоценным камнем, сверкающим удивительными искрами и огнями, он сказал: 'Смотрите сюда, дорогой господин Ансельм, и то, что вы увидите, сможет доставить вам удовольствие'. ...Из драгоценного камня, как из горящего фокуса, выходили во все стороны лучи, которые, соединяясь, составляли блестящее хрустальное зеркало, а в этом зеркале, всячески извиваясь, то убегая друг от друга, то опять сплетаясь вместе, танцевали и прыгали золотисто-зеленые змейки'. В их изгибах сверкали чудные хрустальные звуки. '...Линдгорст быстро дунул на зеркало, лучи с электрическим треском опять вошли в фокус, и на

руке сверкнул только маленький изумруд, на который архивариус натянул перчатку'.

Видение архетипическое, таковы же были таинства богини Изиды: нагие служительницы храма в пляске изображали змеиные изгибы... Напоминая, что женское начало заключает минор беспредельности, заглатывающая змеиная пасть - подобие женского начала... Змея вся есть пасть, саморазверзающаяся вглубь себя бездна, абсолютная непрерывность длительности вечного времени... Перчатка, натягиваемая на руку, тоже напоминает об этом...

'Пиши четко, чтобы я мог прочесть без запинки', говорил старик Фетери внуку. И то же задание выполняет студент по наказу архивариуса... Прошлое Гофмана чиновничье: он переписал горы бумаги. Здесь же и понимание ответственности литературной задачи...

"Но вы совсем не приходите ко мне, хотя регистратор Геербранд уверял, что вы непременно явитесь, и я напрасно прождал несколько дней'. Как только архивариус произнес имя Геербранда, студент Ансельм опять почувствовал, что он действительно студент Ансельм, а человек, перед ним стоящий, - архивариус Линдгорст. Равнодушный тон, которым говорил этот последний, в резком контрасте с теми чудесными явлениями, которые он вызывал как настоящий некромант, представлял собой нечто ужасное, что еще усиливалось пронзительным взглядом глаз, сверкавших из глубоких впадин худого морщинистого лица как будто из футляра; и нашего студента неудержимо охватило то же чувство жути, которое уже прежде овладело им в кофейне, когда архивариус рассказывал так много удивительного'. Ансельм пересилил себя и рассказал, как ему помешала ведьма. Архивариус дал ему склянку с едкой жидкостью, которая должна была привести злую бронзовую торговку к порядку, и отклонялся. ' 'Adieu, до свиданья, завтра в 12 часов'. Архивариус... пошел так быстро, что в наступившем между тем глубоким сумраке казалось, что он более слетает, нежели сходит в долину. Он был уже вблизи Козельского сада, когда поднявшийся ветер раздвинул полы его широкого плаща, взвившиеся в воздух, так что студенту Ансельму, глядевшему с изумлением вслед архивариусу, представилось, будто большая птица раскрыла крылья для быстрого полета. В то время как студент Ансельм вперял таким образом свои взоры в сумрак, вдруг поднялся высоко на воздух с каркающим криком седой коршун, и Ансельм теперь ясно увидел, что большая колеблющаяся фигура, которую он все еще принимал за удалявшегося архивариуса, была именно этим коршуном...'. Забавная фантазия, возникшая, вероятно, из бытового наблюдения. Гофман спешит смягчить все юмором, проявляя авторскую деликатность, такт, эlegantность. В конце концов, Ансельм не придавал этому особого значения. 'Но, может быть, он сам собственной особой и улетел в виде коршуна, этот господин архивариус Линдгорст...'. Гораздо более занимает его предвкушение встречи с изящной змейкой: 'Ах, Серпентина!..'. 'Вот скверное, нехристианское имя, - проворчал около него глухим голосом какой-то возвращавшийся с прогулки господин'. Студент Ансельм вовремя вспомнил, где он находится, и поспешил быстрыми шагами домой'.

Старуха ведьма хочет похитить золотой горшок из дома архивариуса. Вероника, дочь конректора Паульмана, милая девушка шестнадцати лет, хочет выйти замуж за Ансельма. Ведьма, превратившись в кофейник, подслушала ее разговор: из кофейника разливали... Вот как проникают ведьмы в дом: поосторожней со старыми привычными вещами!..

Девушка приходит к ней поворожить, когда она появилась в комнате, попряталась всякая нечисть. Ворон вспорхнул на круглое зеркало, в камине горел, мерцая, голубоватый огонь, противные летучие мыши носились под потолком, '...иногда пламя поднималось и лизало закоптелую стену, и тогда раздавались резкие, пронзительные вопли...'. Веронике охватила томительный страх. Ведьма в ожогах, студент Ансельм ее уже полил. Вероника, преодолев страх, сговаривается заняться ворожей ночью осеннего равноденствия. В ненастную темную ночь они оказались в поле. '...Дождь перестал, но буря стала сильнее; тысячи голосов завывали в воздухе. Страшный раздирающий сердце вопль раздавался из черных облаков, которые сливались в быстром течении и покрывали все густым мраком'. Если бы поздний путник, поехал в эту ночь, невзирая на уговоры, он мог видеть адское колдовство... он приблизился бы к блуждающему огню; почтаьлон затрубил бы рожок, и ведьма бухнулась бы в собственный дымящийся котел...

Ансельм позабыл Веронику из-за своей странной фантазии и таинственной каллиграфической работы. Внутри дома архивариуса - сад и пространство его раздвигается в бесконечное. Здесь птицы пересмешники и серый попугай в очках. Линдгорст же не такой злой волшебник: явившись в царственном величии, когда Ансельм совсем было собирался пасть на колени, господин тайный архивариус в следующее мгновение с невероятным проворством, быстро, словно обезьяна, поднялся по стволу пальмы в библиотеке и исчез в листьях наверху... А по окончании работы запросто пригласил студента покурить в Линковом саду, надев свою солдатскую шляпу и серый плащ. Когда они очутились на улице - 'Едва сделали они несколько шагов, как встретили регистратора Геербранда, который к ним дружелюбно присоединился. Около городских ворот они набили трубки; регистратор Геербранд сожалел, что не взял с собой огнива, но архивариус Линдгорст с досадой воскликнул: 'Какого там еще огнива! Вот вам огня сколько угодно!'. И он стал щелкать пальцами, из которых посыпались крупные искры, быстро зажегшие трубки. 'Смотрите, какой химический фокус!', сказал регистратор Геербранд, но студент Ансельм не без внутреннего содрогания подумал о Саламандре. В Линковых купальнях регистратор Геербранд - вообще человек добродушный и спокойный - выпил так много крепкого пива, что начал петь пискливым тенором студенческие песни и у всякого спрашивал с горячностью: друг он ему или нет? - пока наконец не был уведен домой студентом Ансельмом, после того, как архивариус Линдгорст давно ушел'.

Парадоксальное раздвоение Линдгорста, князя духов в солдатской шляпе ветерана - некий подвох, его самого разбирает внутренний смех. В самом деле, не забавно ли: прикурить трубки от первоогня, из которого произошла вселенная? А маленькие человечки повергаются в удивление как дети, или после сердито ворчат, что трубки зажигали так, что им прожгли шютук..!

В кружке друзей студента - конректор, регистратор, Вероника - напряжение по поводу внутреннего расстройств Ансельма. Возрастает и недовольство архивариусом, переманившим к себе их друга и способствующим наваждению, к коему студент проявил наклонность. Пропавшего Ансельма конректор повстречал на улице возле Пирнских ворот: 'Ну, идemте же, ведь вы ко мне шли!'. А там готовится пунш, развязываются языки, и все темное вырывается наружу в винном чаду. Происходит вакханалия. Паульман, выслушав безумные заявления студюозуса и регистратора, пытается перебороть всеобщее помрачение, романтические бредни - студюозус назвал его филином! - гремит на них: 'Вы с ума сошли! Вы взбесились!'. Внезапно, сам в отчаянном иступлении ревет: 'Саламандр всех одолеет, всех!'. Сам от себя не ожидал такого, и потому пришел в еще большее неистовство: 'И я обезумел! И я обезумел!'. И как всегда бывает у Гофмана, когда взвился вихрь карнавальнoй стихии, пляшущего хаоса - хватается парик - и летит навстречу вошедшему, вослед вылетевшему из дверей или

просто вверх - когда страстный порыв совсем невыразим, как в 'Золотом горшке'. Регистратор и студиозус в ликовании бьют посуду, Вероника визжит - 'от отчаяния и скорби', упав на диван... И в разгар веселья входит серый маленький человечек в очках, в парике из перьев: 'Доброго вечера, доброго вечера...'. Напомнить Ансельму, чтобы завтра не опаздывал... Здесь студент, охваченный безумным ужасом, бежал с вакханалии... 'Машинально нашел он свой дом, свою каморку'. Но так просто вакханалия не прошла, на завтра свершились все предсказания... Чернильная клякса упала на раскрытую волшебную книгу...

'Свистя и шипя, вылетела голубая молния из пятна и с треском зазмеилась по комнате до самого потолка. Со стен поднялся густой туман, листья зашумели, как бы сотрясаемые бурей, из них вырвались сверкающие огненные василиски, зажигая пары, так что пламенные массы с шумом за клубились вокруг Ансельма. Золотые стволы пальм превратились в исполкинских змей, которые с резким металлическим звоном столкнулись своими отвратительными головами и обвили Ансельма своими чешуйчатыми туловищами. Их разверстые зевы испустили огненные водопады на Ансельма, и эти огненные потоки, как бы сгущаясь вокруг его тела, превращались в твердые ледяные массы.

...Когда он снова пришел в себя, он не мог двинуться; он словно окружен был каким-то сияющим блеском, о который он стукался при малейшем усилии поднять руку или сделать движение. Ах! Он сидел в плотно закупоренной хрустальной склянке на большом столе в библиотеке архивариуса Линдгорста'. Гофман поражает и покоряет истинным волшебством! ...Утреннее солнце ярко и приветливо осветило библиотеку, а вот как чувствовал себя Ансельм в банке: 'Ослепительный свет плотно облекает тебя; все предметы кругом кажутся тебе освещенными и окруженными лучистыми радужными красками; все дрожит, колеблется и грохочет в сиянии, - ты неподвижно плаваешь как бы в замерзшем эфире, который сдавливает тебя; так что напрасно дух повелевает мертвому телу. Все более и более сдавливает непомерная тяжесть твою грудь, все более и более поглощает твоё дыхание последние остатки воздуха в тесном пространстве... его мысли ударялись о стекло, оглушая его резкими, неприятными звуками, и вместо внятных слов, которые прежде вещал его внутренний голос, он слышал только глухой гул безумия'. Но на это Гофман не останавливается; из сжатия внутреннего бытия духа в тесных пределах земных условностей происходит взрыв смысла, появляется новое измерение реальности, сопрягающее поэтическое и повседневное... Студент обнаруживает рядом с собой на столе еще пять склянок, в которых находились три школяра и два писца; они выражают недовольство его жалобами. Почему? Да потому, что они совершенно не замечают, что дух их заключен в стеклянную тюрьму... Ансельм возражает: 'Ах, милостивые государи, товарищи моего несчастья, - воскликнул он, - как же это вы можете оставаться столь беспечными, даже довольными, как я это вижу по вашим лицам? Ведь и вы, как и я сидите закупоренными в склянках и не можете пошевелиться и двинуться, даже не можете ничего дельного подумать без того, чтобы не поднимался оглушительный шум и звон, так в голове затрещит и загудит. 'Вы бредите, господин студиозус, - возразил один из учеников. - мы никогда не чувствовали себя лучше, чем теперь, потому что специесталеры, которые мы получаем от сумасшедшего архивариуса за всякие бессмысленные копии, идут нам на пользу...'. Школяры заявили ему, что на эти талеры они весело проводят время, наслаждаются крепким пивом, глазят на девчонок и вовсю благодушествуют. В глупости и пошлости они воображают, что свободны. Студент пытается вразумить благодушных обывателей: вы не можете гулять, потому что, закупоренные в банке, не можете даже пошевелиться... Его поднимают на смех: 'Студент-то с ума сошел: воображает, что сидит в стеклянной банке, а сам стоит на Эльбском мосту и смотрит на воду. Пойдем-ка дальше!'. В это самое время в библиотеку архивариуса проникла ведьма. 'Но внезапно с другой стороны послышалось какое-то глухое, противное ворчание. Он скоро мог заметить, что оно исходило от старого кофейника со сломанной крышкой, который стоял напротив него на маленьком шкафчике'. Прямо в склянке старуха хотела понести его Веронике. Фантастически настроенный студент заявляет ей, что не желает быть никаким надворным советником, умеренным чиновником, а напротив, хочет быть неумеренным необузданным художником, Гофманом. Оставив его, ведьма направляется к горшку и хватает его. Попугай закричал: 'Деррржи, деррржи, гр-рабеж, гр-рабеж!'. Старуха захохотала: 'Ну, так сиди тут и пропадай, а мне пора за дело, ведь у меня здесь есть еще и другая работа! - Она сбросила свой черный плащ и осталась в отвратительной наготе; потом начала кружиться, и толстые фолианты падали вниз, а она вырывала из них пергаментные листы и, ловко и быстро сцепляя их один с другим, и обвертывая вокруг своего тела, явилась как бы одетой в какой-то пестрый чешуйчатый панцирь. Брызжа огнем, выскочил черный кот из чернильницы, стоявшей на письменном столе...'. Появился Саламандр. Началось сражение. Старуха сыпала в него солью из горшка, волшебник же метал в нее молнии. Вывранные листы книг защищали ее; в конце концов архивариус просто снял свой шлафрок, домашний халат с огненными лилиями, и накинул на ведьму; повалил черный дым; в кусте огненных лилий она погибла: превратилась в свеклу, которую съел попугай... Гофман объяснял, что она как раз и возникла из воткнутого в свеклу черного драконьего пера... Перо, возможно, улетело... Но, так или иначе, зло с диким воем и воплями исчезло в адской преисподней. Ансельм получает свободу и поместье в Атлантиде, а в жены - прелестную змейку... 'А я, несчастный, скоро, уже через каких-нибудь несколько минут, сам покину этот прекрасный зал, который далеко не есть то же самое, что имение в Атлантиде, окажусь в своей мансарде, и ум мой будет во власти жалкого убожества скудной жизни, и словно густой туман, заволокут мой взор тысячи бедствий, и никогда уже, верно, не увижу я лилии'.

Гофмана пригласили в кенигсбергский театр, но он не хотел возвращаться на север, надеялся как-нибудь устроиться здесь... Однако во время репетиции спектакля произошла генеральная ссора с раздражительным хозяином. В театре было холодно. Гофман позволил пропустить незначительную арию. В антракте в присутствии всех взбешенный Секонда грубо набросился на него, выпучив глаза, заорал: убийтесь ко всем чертям!!!! Наконец, Гофман не выдержал: так можно обращаться со слугами, конюхами, но не с образованными людьми!..

Дома он размышлял, сможет ли продолжить службу после подобной выходки хозяина, но продолжать не считал возможным и сам хозяин - прислал письмо... Гофман был ошеломлен, вечером на репетиции он испытывал неопишемое чувство: полный провал, все сначала... Запись в ежедневнике: 'Мужество покинуло меня'. Здесь напала простуда, скрутила хворь: ломота в костях, боль в груди. Врач и аптекарь получили возможность хорошо заработать. 'Принимая 7840 средств'. Лягушка-пессимистка, попав в кувшин с молоком, утонула, а принявшаяся болтать в нем лапами, взбила масло и благополучно выбралась... Гофман взялся писать собственное истолкование фабулы готического романа Льюиса 'Монах'. Наступила ясность насчет карьеры художника. Написал Хиппелю и приложил прошение канцлеру Гарденбергу... Гофман решил больше не искать счастья в театре, он захотел прочного положения... Натерпелся, надоело...

Ему немного полегало, он вышел на улицу, встретил хозяина и разъярился. Запись: 'Мне теперь в высшей степени желательно, чтобы эти мерзкие отношения, уносящие покой и вдохновение, были прекращены'.

Гертель пытался уладить конфликт. Секонде внушили: ведь он сам не понимает, зачем распалился и

злоствовал... Гофман получил записку: хозяин сожалел о неприятной запальчивости, спрашивал о здоровье; театр вновь собрался в Дрезден; если господин музыкальный директор поправился, не угодно ли на королевскую сцену; контракт, разумеется, будет продлен, если Гофман захочет...

'А не угодно ли ко всем чертям?!!!!!'.

Бонапарт выигрывал все сражения, снова бил коалицию, но за его спиной сдали Париж. Император звал маршалов в горы: 'Мы их разобьем. Я один стою ста пятидесяти тысяч'. Но революция прошла, все устали... И он поехал в ссылку в средиземноморское поместье...

Союзники вернули Бурбонов Франции. 'Я пишу это рвотным порошком', писал Байрон.

Гофман же изъясил пылкую радость.

Из Парижа он вскоре получил письмо Хиппеля, внутрь было вложено письмо канцлера Гарденберга...

В бедной гостинице Гофмана навестил Рохлиц. Гофман стал рассказывать, 'переполненный сумасбродными идеями', по словам господина редактора... По поводу послания Гарденберга Гофман заметил изумленному редактору: 'Вот, я ведь не собака, которую бросают подышать, когда не до нее! И потом, разве господа не обязаны сделать все возможное, уж коли мы помогаем им вести их игру, хотя вполне могли поиграть и в свою собственную?'. Рохлиц помог ему деньгами.

Вскоре вышел первый том 'Фантастических пьес' и 'Берганца'.

Гофман начал писать для театра веселую сказку 'Принцесса Бландина', комедию в стиле Карло Гоцци, остроумный фарс, в котором пародировал романтические штампы.

Романтическая ирония превратилась в самоиронию метода. В ней действовали итальянские маски комедии дель арте на немецкой почве - дополнительные возможности комизма. Посол африканского повелителя рекомендует того в женихи: хотя весьма смугловат, даже темен с лица, но настоящий немец, несмотря, что родился на Ниле. Если предложение не будет принято, разъясняет посол, '...весь это ваш курятник будет разорен и предан огню, а вам... придется последовать за ним в его королевство и стать его игрушкой в веселые часы досуга'. Придворный Панталоне уговаривает ее высочество согласиться, потому что крепость заплевана вишневыми косточками - и башни и бойницы, из трех пушек четыре приведены в негодность, '...а скудный запас чугунных метательных снарядов... растаскан... и перепродан литейщикам, которые пустили его на утюги'. Романтический пиит Родерих предается любовным страданиям, стеная в пустыне, в диких зарослях - для вдохновения. 'Не оскорблю язык питьем и пищей,/ Пусть только боль страданью жизнь дает,/ Покуда на любовном пепелище/ Душа поэта вовсе не умрет'. Но заросли расположены комфортабельно, вблизи дворца и кухни. Прочитав возвышенные стихи, придворный поэт произносит в раздражении: 'Просто ума не приложу, куда подевался Труффальдино с завтраком?'. Труффальдино с подносом: 'Смею ли прервать вдохновенное неистовство вашего отчаяния?'. Родерих: 'Ты же слышишь, я тебя зову. Время завтракать'. Пьет и ест с большим аппетитом вино и жаркое. Находит в подливке мало остроты. Труффальдино: 'И как долго ваша милость намеревается пробыть в этой дикой жуткой местности...?'. Родерих: 'Покуда продлится мое отчаяние и хорошая погода'. Родерих является к мавританскому королю с берегов Нила, который не понимает, что есть такое придворный поэт, пиит? Родерих пускается в объяснения, что значит поэзия: Вы, говорит он, всего лишь фантазия, видение. Возмущенный африканец бьет его трубкой по голове, Родерих, убегая, кричит: беру свои слова обратно! Я не поэт! Не пиит!

Здесь использован и собственный опыт: Гофман, вероятно, не без удивления и озадаченности наблюдал за собой зверский аппетит, чередующийся с сокрушенными страданиями из-за Юльхен... Мавританский король тоже выигрышная роль; в пьесе он выходит на поединок даже не с пушкой, а со столовой вилкой, правда, больших размеров: я тебя одной вилкой подцеплю! Разнообразно обыгрывается сама обстановка театра: 'Одернула нас рыком преисподней та сила, что директором зовется! Идет директор! Вижу нос багровый. Он близится походкою медвежьей. Сверкают гневом стекла окуляров!'. Директор: 'Ведь я уж сколько раз вам говорил: не надо мне ничего эстетического, никакой эстетики я на сцене не потерплю!'.

Однажды в дверь постучали. Вошел Хиппель... Друг показался Гофману заметно постаревшим, он и сам выглядел не молодым... Хиппель обещал немедленно место в Берлине, подарил золотые часы с боем... Сколько они переговорили..!

Теодор продиктовал прошение по форме и забрал с собой, чтобы дать ему ход и способствовать продвижению...

Пришли деньги из Кенигсберга... Но после столь музыкального боя хиппелевых часов золотая фермата несколько затянулась.

Гофман забил тревогу. 27 июля 1814: 'Прости мне мою взволнованность, дорогой друг! Терзаемый страшным нетерпением, вконец раздраженный всем, что меня здесь окружает, я не мог дожждаться твоего письма. ... Как бы ни был убежден я в том, что все твои дружеские усилия наилучшим образом способствуют исполнению моих желаний, все же меня, столь гонимого до сих пор злой долей, нередко посещает мрачное предчувствие, будто и на сей раз осуществлению моих справедливых притязаний помешают какие-нибудь неурядицы и я вновь останусь без куска хлеба. Это было бы в самом деле худо, поскольку теперь я узнал, чего это стоит и как трудно пробиться в искусстве... Единственную свою надежду я возлагаю теперь на тебя! Считаю же впредь эту записку не чем иным, как свидетельством большого волнения и душевных опасений; утешь меня скорее несколькими строками... Ты представить себе не можешь, как тяжело здесь прокормиться; дороговизна растет с каждым днем, что составляет полную противоположность моим доходам'.

Хиппель хотел написать определенно и потому молчал. Наконец Гофман получил письмо министра. Был выбор: его просили разъяснить, хотел бы он быть советником или только секретарем...

В конце сентября Гофманы направились в Берлин.

Глава десятая
На королевской службе

АКТЕР. Бываем ли на сцене мы собой?

Да никогда! По прихоти поэта, что у себя в каморке пишет бредни... Долой зубрежку сих бездарных ямбов, что рождены фантазией глупца!

ГОЛОС ДИРЕКТОРА. Милейший! Вы выпадаете из роли!

АКТЕР. О, нет, тиран! Я из нее вознесся.
Гофман.

В Берлине первые два тома расходились хорошо; имени автора не знали, но поскольку книга автопортрет, находили, что написаны пьесы гениальным композитором. Надо было бы поправить: написал гениальный человек-театр. Непревзойденный пианист, дирижер. Но в музыкальной композиции он не достиг особенно многого.

В литературных кругах инкогнито автора раскрылось довольно быстро; редакторы популярных карманных изданий, альманахов, календарей наперебой просили чего-нибудь новенького, фантастического в манере Калло.

Опера 'Ундинхен' немедленно была принята в королевский театр.

Кирхэйзен, министр юстиции, предлагал полгода поработать без жалованья '...дабы ознакомиться с прогрессом в законодательстве за время, пока вы удалились от дел, а потом вновь вступить в подобающую вам должность советника'.

Гофман пошел на службу, выполняя обязанности советника *cum voto consultativo*, с совещательным голосом. Хитциг тоже вновь вернулся на службу, на тех же условиях; друзья вновь 'оказались сидящими лицом к лицу за столом судебных заседаний, как некогда в Варшаве', которая после наполеоновских войн вновь отошла к России.

Портрет Юлиуса написан во втором томе 'Эликсиров сатаны': не старый пронизательный следователь... 'Он был коренаст и для своего возраста полноват; лысина у него была во всю голову; и он носил очки. Он излучал доброту... не совсем закоренелый преступник едва ли мог бы ему противостоять. Вопросы он задавал как бы невзначай, в непринужденном тоне, но они были так обдуманны и так точно поставлены, что на них приходилось давать лишь определенные ответы'. Кто был другой коллега, '...маленький сухопарый человек, рыжий как лисица, с хриплым квакающим голосом и широко раскрытыми серыми глазами...', тоже, видимо, реальная личность, осталось невыясненным...

Гофман теперь, по его выражению, 'весело крутился вместе с ведущим колесом государства'.

Ему хотелось закрепиться в столице. 1 ноября он написал Хиппелю, начав с того, что 'постоянно вынужден заниматься делами, противоречащими собственным моим внутренним принципам. ...Сейчас пишу эти строки, обложившись со всех сторон папками с делами: надо набросать распоряжение, представить доклад и бог весть что еще!'. По главному вопросу обратиться к '...Кирхэйзену мне бы не хотелось, ибо, помимо того, что он считает сам факт зачисления в гвардейский корпус юстиции высшим отличием, получаемым лишь благодаря некоему мгновенному юридическому фейерверку, ему может показаться, что я домогаюсь этого лишь с тем, чтобы почаще бывать в комедии и тому подобное. Что... жизнь в окружении друзей искусства, таких же художников, как ты сам, с ее особым настроем, позволяет сносить все, отчего иначе бы ты погиб ...он, конечно, не имеет ни малейшего понятия'. Если бы Хиппель с его многочисленными связями дал хороший совет...

Ныне знаменитого писателя в первое время часто звали на эстетические чаепития в гостиных бомонда: хотели угостить собравшуюся публику, приглашали заранее на Калло-Гофмана. Но ему все эти обхождения и повадки большого света были в высшей степени противны. 'Притворство было ему абсолютно чуждо', писал Хитциг. Ему было невероятно скучно. Скучно не просто так. Скучно, значит, величайшее раздражение и величайшее гофманическое недовольство. Скучно есть род гофманического отчаяния, плавно переходящего в ярость, возмущение. Скучно - это подлинная трагедия; тогда в ежедневнике следовали записи 'смертельно скучал', 'невероятно скучал, болен'. На этих вечерах он предпочитал, чтобы его развлекали. И вовсе не собирался почитать им что-нибудь новенькое по рукописи, изобразить импровизации безумного капельмейстера на фортепьяно или сыпать остротами. На все попытки вовлечь его в приличное плоское веселье изящно изысканной публики он начинал корчить невероятные гримасы, громко разговаривать и нести несусветный вздор; он вводил их в смущение своими замечаниями и абсолютно несветским поведением, презрением к приличиям. 'Бывало, что его не удавалось образумить в подобный момент...', сетовал добропорядочный Хитциг. И тогда он вел себя манером, известным по Бамбергу... 'Обыкновенно он обращался тогда не к тем, кто любезно заговаривал с ним, а к третьему лицу, давая нечто вроде ответа на вопрос тех, кто к нему обращался'. В нем клокотала ярость: время бездарно потеряно. Вечер пропал; тогда как в каком-нибудь кабачке или винном погребке он мог бы просто выпить хорошего вина и закусить салат сервелатом, чтобы ночью в хорошем настроении сочинять... в 'Золотом ягоре', в 'Королевском кафе' Бейермана - 'Кафе рояль', у Мандерле, Пуппа, Шонерта...

Знакомство с баронессой Фуке вызвало скверное настроение, и не раз доводила она его до этого состояния. Почему?.. Жена его приятеля поэта тоже писала. '...Чтением плохого романа заставила меня невероятно скучать и прийти в плохое настроение. В омерзительном настроении направился к Мандерле и развеселился'.

Если писанием романов госпожа Фуке действовала на Гофманово настроение убийственно, то его портрет с натуры ей, несомненно, удался: 'Я давно уже с любопытством и удивлением наблюдала за маленьким, можно сказать, хрупким человечком, который в развевающемся коричневом сюртуке живо передвигался среди беседующих, прислушивался к разговору с поджатым ртом и лукаво смеющимися глазами. Засунув обе руки в карманы сюртука, он, казалось, придавал тем самым нечто вроде опоры и уверенности своему подвижному телу. Должно быть, он слушал и говорил одними лишь глазами. Мне никогда больше не встречалось столь тонкое и своеобычное лицо. Он был не стар, но и не молод; в миниатюрном его облике отразилась вся прожитая жизнь, целый мир страстей, испытаний, даже известная умудренность. Мне становилось почти смешно, когда этот странный человечек, кроша руками сдобный хлеб, заводил обычную застольную беседу с первым попавшимся... и

снова в центре разговора оказывался театр и актрисы. Под свежим впечатлением от спектакля он с тихой предупредительностью спрашивал об актрисе, при этом быстро кладя в рот маленькие кусочки хлеба... Вносили еду, каждый занимал свое место... Он мало ел и мало говорил. Чаще подносил стакан к тонким губам, и в это время его взгляд легко скользил поверх стакана, следя за сотрапезниками. ... Если он говорил, то по большей части о вещах незначительных... Однако во время разговора вокруг рта и на лбу появлялось множество полупечальных, полунасмешливых демонов, которые постепенно омрачали его лицо, так что под конец он делался совсем угрюмым: ему, мол, надоели шутки. Тогда он принимался много пить, а затем, достав с соседнего столика доску и мел, набрасывал фигуры и лица с такой ловкостью и быстротой, что окружающие сначала потихоньку, а потом все громче и громче начинали обсуждать это. Друг за другом протискивались к нему. Он делал карикатуры на всех присутствующих и, показывая доску тем, кто сидел вдалеке, спрашивал: 'Этого узнаете?'... Он очинил грифель и принялся что-то усердно штриховать, закрывая рисунок рукой; при этом глаза его горели все ярче и серьезнее; он что-то бормотал про себя. 'Взгляните-ка!' - воскликнул он, наконец, вытирая пот со лба'. ... Гофман нарисовал портрет баронессы. Некий военный взял его в руки и похвалил. 'Гофман забрал у него доску, положил на стол и равнодушно смахнул рисунок ладонью'.

Бывая в хорошем настроении, Гофман часами поражал слушателей фейерверком острот. Ни запомнить, ни записать такое никто был не в состоянии. После меткие его замечания разносились по Берлину.

Письменный стол его был постоянно завален бумагами, деловыми и литературными рукописями; над ними он работал одновременно, переключаясь в зависимости от сроков и настроения.

Первый том 'Эликсиров' пока не находил издателей: буйство страсти и фантазии изумляло.

В несколько месяцев он написал новый том 'Фантастических пьес', но качество письма снизилось; в нем лишь новелла 'Враг музыки' соответствовала ранее взятому высокому уровню. За исключением этого остроумного рассказа, в последнем томе не наблюдалось художественной интенсивности, изобретательности, прорыва, интеллектуального предела. Гофман отступил от предельных своих возможностей в легкость письма, он эксплуатировал тональность 'Фантастических пьес в манере Калло'; взяв тот же тон, невыносимо растягивал его, ничего не говорил, обманывал ожидания. Ранее был значительный спектакль, теперь же, словно заезжий гастролер, знаменитость, предлагал бенефис или капустник: довольно вам одного лишь счастья вновь встретиться со мной и лицеизреть...

Гофман использовал последний том, чтобы объяснить с публикой по поводу артистического аристократизма. Ведь заговорили о его презрении к немусыкантам, о своеобразном высокомерии; да и в predisposition Рихтер высказывал опасения, что позиция художественного аристократизма может в последующем привести автора к мизантропии, Тимоновой пещере, презрению, пренебрежению и ненависти ко всему, что не есть искусство.

Не совсем так или даже совсем не так: 'Я так же не способен затоптать цветочную клумбу, как и прервать только что зазвучавший вальс криком: 'Убирайтесь вон отсюда!''.

Все же надо было оправдываться: 'Ты знаешь, барон... что я сделался злобным и бешеным главным образом потому, что видел, как чернь оскверняет музыку. Но случается, что меня, совсем разбитого, раздавленного бездарными бравурными ариями, концертами, сонатами, утешает и исцеляет коротенькая, пустячная мелодия, пропетая посредственным голосом или даже неуверенно, неумело сыгранная, но верно, тонко понятая и глубоко прочувствованная'.

Гофман как прежде верен юмору, но из-за того, что смысловой заряд тома значительно меньше, вспышки остроумия не столь ярки. 'Не носите ли вы, милостивый государь, сюртук, цвет которого можно было бы назвать самым необычайным, если бы воротник его не был цвета еще более необычайного?'. Сюртук выдержан в *cis-moll*, воротник же в *E-dur*...

Фарс ему более удавался, как всегда. Скажем, павиан '...был серьезный мужчина, ни разу не пожелавший надеть сапог'. Обезьяна, научившаяся говорить, рассказывает о своем превращении в цивилизованного человека. В первую очередь, она, разумеется, принимается музицировать. 'Я уже договорился с одним фортепьянным мастером... Кроме обыкновенных струн, турецкого барабана и литавр, он должен пристроить к роялю трубу...'. Ни дать, ни взять - рок-поп... Все прекрасно, единственное: над ним тяготеет порыв вернуться в прежнее примитивное состояние. 'Недавно, изысканно одетый, я гулял по парку с друзьями. Останавливаемся перед великолепным, высоким, стройным ореховым деревом. Непреодолимое желание затуманило мой рассудок... Несколько ловких прыжков - и я на самой верхушке, качаясь на ветках и рву орехи. Мой отчаянный поступок был встречен возгласами удивления присутствующих. Когда я, вспомнив о приобретенной культуре, которая не позволяет подобной несдержанности, спустился вниз, один молодой человек, очень меня уважающий, сказал: 'Э, милейший господин Мило, какие у вас проворные ноги!'. Мне было очень стыдно. ...Недавно за одним званым ужином... я вдруг швырнул яблоко на другой конец стола и попал прямо в парик сидевшего там коммерческого советника, старого моего покровителя, что навлекло на меня тысячу неприятностей'. Помимо всего прочего, сия обезьяна считает себя гением...

Но обезьяна вышла несколько болтливой, и сатира получилась растянутой - плосковатой и малосодержательной.

'Музыкально-поэтический клуб Крейсера', местами яркая, но в целом бессвязная надрывная пьеса, полная намеков на внутреннее напряжение, подтверждала, что из внутреннего напряжения способна родиться художественная экзентивность...

Следы напряжения, не покидавшего Гофмана, видны и в нервно-веселой, местами взбалмошной, местами жутковатой сказке 'Приключения в ночь под новый год'. 'Точно безумный выскочил я (без пальто и шляпы) в черную выюжную ночь. Прорезанные флюгеры на железных флагштоках скрежетали, будто само время во всеуслышанье двигало свою вечную устрашающую зубчатую передачу, и, казалось, не пройдет нескольких мгновений, как старый год сорвется, словно тяжелая гиря, и с глухим ударом канет в темную бездну'. Гофман вступил здесь в художественное соперничество с Адальбертом фон Шамиссо, придумавшим человека без тени - проявляя фантазию более демоническую и жутковатую - у него появился ЧЕЛОВЕК БЕЗ ОТРАЖЕНИЯ.

В сказку проник образ Юльхен, из отдаления проступили черты колдовской соблазнительницы, Гофман хорошо запомнил взгляд в Поммерсфельдене...

Он так и не разгадал тайну ее голоса... 'В ее раскованном хрустальном голосе был какой-то таинственный накат, и никто не мог устоять перед его чарами'. И не только голос: 'Безумной страсти, которой был одержим Эразмус, она противопоставила ровную мягкость поведения. Лишь временами какое-то темное пламя вспыхивало в

ее глазах, и когда Эразмус чувствовал на себе ее взгляд, то из самой глубины его существа поднимался странный озноб' – интуитивная, глубокая догадка, что с женским началом связано нечто беспредельное и поглощающее, хищная тьма.

Всякие попытки углубиться в мистику Гофман здесь неизменно переводил в бытовой юмористический план, хотя карнавал кружился над бездной; хотя Гофман никогда не забывает о бездне, всегда пересиливает жизнерадостность. 'Мелодическое похрапывание... не смог противостоять гипнотическому воздействию этих звуков'. Магнетические тайны сна... Марципановый пряник: 'Марципановый советник юстиции добрался до моего галстука и стал затягивать его все туже и туже. – Ах, ты, проклятый марципановый советник юстиции! – громко крикнул я и проснулся'. Дьявол: 'Я велел подать бутылку светлого ячменного пива и большую трубку с хорошим табаком. Вскоре я пришел в такое блаженное состояние духа, что даже сам черт, видно, зауважал меня и оставил в покое'.

Бал Венского конгресса монархов длился почти целый год. Никак не могли насладиться самодовольством и спокойствием, празднуя победу над революцией. 1 марта вновь был бал. Вдруг придворные, окружавшие императора Франца, бледные и испуганные, побежали вниз по лестнице. Весть облетела остальных, все в панике покидали зал. Невероятное произошло! Вновь поднялся наполеоновский орел! Бонапарт покинул свой остров, с маленькой флотилией высадился на побережье Франции в бухте Жуан и пешком направился в Гренобль. Взял город без штурма. И двинулся в Париж. Гарнизоны переходили на его сторону, высланные навстречу войска вливались в походную колонну...

20 марта вечером сотни тысяч людей загрохотали ближайšie к Тюильри улицы, людское море колыхалось и ревели в восторге; императора словно по волнам на руках перенесли прямо во дворец; он поднялся по лестнице в свой кабинет и немедленно принялся отдавать распоряжения, готовить страну к обороне. Безоружный пошел он на Париж и взял его. Стоило захотеть, и произошла революция. Бонапарт показал грандиозный масштаб своего авторитета. Европа была поражена даже больше, чем его военными победами; подобного новая история не знала.

Франция испытывала небывалый подъем. Европа боялась и не хотела новой войны. Не хотел ее и Наполеон. Но европейские монархи не могли помириться с ним как человеком революции; сам его авторитет подрывал их права на власть, слишком формальные, чтобы выдерживать сравнение с реальным величием.

Гофман, немало напуганный, забросил ежедневник; потрясенный, более не возобновил...

Писатель завел слугу и не желал принимать незнакомых. Явился почитаемый им Клеменс Брентано. Слуга заявил, что хозяин болен, стало быть, разговаривать не расположен. 'Вот это мне и нужно! Значит, для визита самое время. Скажи ему, милейший, что у входа ждет доктор Дапертутто, который в случае необходимости может войти и в окна, и в закрытые двери'. Испуганный слуга поспешил доложить хозяину. Велено было принять немедленно. Гофман встретил Брентано в прекрасном настроении.

Стоит ли говорить, простой берлинский народ проведал, господин советник Гофман чернокнижник и знает со всякой нечистью, вроде писателя Брентано...

Хиппель привел в действие механизм своих связей. Но результат получился нельзя сказать чтоб очень приятный; у бюрократической машины своя логика. Хочет остаться в Берлине насовсем? Хорошо. Однако для этого ему придется пройти более длительный испытательный срок без жалованья. История с карикатурами на маскараде хранилась в его персональной папке, такого ни в какой иной персональной папке не было... Советник с совещательным голосом пришел в крайнее раздражение; он едва ли ни попрекал Хиппеля за то, что старый друг совратил его в бумажную машину на существование бумажного человека. Ежели его считают экзотическим продуктом, где гарантия, что спустя назначенный новый годичный срок оставят в должности полного советника.? Все эти испытания вызывали отвращение, раздражение и скуку... Но отступать было нельзя. В конце концов, бывало и похуже.

Положительные моменты преобладали. Полным ходом шла постановка оперы. Шинкель рисовал великолепные декорации. Дирижер Бернгард-Ансельм Вебер оказался милым человеком, добрым приятелем... Благодарение богу, небрежное упоминание о нем в 'Кавалере Глюке' господин редактор вычеркнул...

Наступил конец военным волнениям: повторная наполеоновская карьера совсем неожиданно, как и началась, завершилась единственным сражением в Бельгии. Бонапарт уже добивал английские войска Веллингтона, как невесть откуда появился старик Блюхер со свежими дивизиями...

Гофман переселился на театральную площадь. Государственный советник принялся расписывать фресками стены маленькой квартиры: он хотел жить в подводном царстве 'Ундины', среди таинственных призрачных видений опустившейся на дно Атлантиды. Странные эти картины обступали его ногами, когда он писал... Писательские его вигилии вытянулись в бесконечную ночь; плавно плыл поток времени, строчило перо, трещал камин, мерцали тени на фресках...

Осенью был напечатан первый том 'Эликсиров сатаны', дописывался второй, задуманы 'Ночные рассказы', сборник ноктюрнов.

22 апреля 1816 года королевским приказом Гофман был наконец назначен действительным государственным советником. Время, пропущенное им не по его вине, было зачтено в стаж. Годовое жалованье составляло 1000 рейхсталеров.

Спустя три месяца долгожданная премьера оперы. Необычайный успех. Автора вызывали на сцену. В нескончаемом плеске бурных несмолкаемых аплодисментов, как в море шампанского, купалась его слава. Настоящий фурор.

Апелляционный суд, в коем служил автор, счел своим неременным долгом посмотреть оперу своего высокоодаренного коллеги. И хотя министр юстиции Кирхэйзен стеснялся показать свое любопытство, его все же заметили в глубине боковой ложи...

Письмо Хиппелю: 'В апелляционном суде на меня, естественно, навалили множество дел; я тащу их за собой, словно каторжник колодки, и верую, что таково мне наказание за бесчисленные грехи, за то, что не выдержал испытание свободой и вынужден был вновь вернуться в тюрьму, подобно избалованной птичке в клетку, коей так долго подсыпали в кормушку корм, что она уже не может искать себе пропитание на воле. До сих пор на меня взваливали все самое неприятное: кассовую опеку, хранение документов, предварительные следствия по уголовным делам... А тут еще сенат по уголовным делам из-за летних путешествий, болезней, прр сократился с восьмью участниками до трех... Председатель Вольдерман также отбыл, вице-президенту пришлось председательствовать в сенате по предварительным следствиям; твой покорный слуга, как старейший советник, с достоинством и энергией черкал красным карандашом в сенате по уголовным делам. ... Дружья хвалят меня за то, что сии должности и звания

не сделали меня гордым и заносчивым и что в свободные часы я беседую с ними весьма доброжелательно и снисходительно'.

Романтическими писаниями своими и приятелей Гофман был недоволен. 'Золотой горшок' считал высшим своим достижением. Романтическая литература катилась по проторенной колее, используя старые приемы и формы, содержательно не открывая ничего нового...

Политика вступила в период европейского равновесия, верноподданного порядка... Героические времена прошли...

Осенью судьба заставила Гофмана скрестить шпаги с позабытым карикатурным генералом Вильгельмом фон Ц. Pour le mérite побитый в наполеоновских войнах, Цастров возродился ныне как птица феникс из пепла, чтобы внушительным полковым самоваром выступать в судах государственным обвинителем. В тот момент, говоря на добром старорусском языке, он катил бочку на известную журналистику Хельмину фон Штези, подругу Шамиссо. Раскрыв некие злоупотребления, сама же она и была обвинена в клевете; большие чины, названные ею, вывернулись и замели следы. Но привыкшие пользоваться властью ради личной выгоды, сии господа почитали задетой свою честь; для сей непристойной комедии позвали они заслуженного Вильгельма фон Ц. Дело попало в апелляционный суд к Гофману. На сей раз государственный советник вооружился не дубиной сатиры, а правилами юридического фехтования, в коих был немало сведущ. Благодаря внесенной им четкости, дело получило выверенный ход.

Первый допрос фон Штези был проведен Гофманом и очень благожелательным секретарем в здании суда. Затем судья Гофман для продолжения пригласил ее побеседовать об этом деле в более приятную обстановку к себе на квартиру, Таубенштрассе, 32.

Гофман предложил присесть. Возникла довольно долгая пауза. Они молча разглядывали друг друга.

Наконец фон Штези позволила себе пошутить, в каких странных ролях судьба свела их, двух писателей.

Тонкие губы Гофмана тронула едва заметная улыбка.

...Фонгенерал проиграл процесс.

Глава одиннадцатая
Ночной Гофман

Экзистенциализм в отличие от науки
занимается не проблемами, а тайнами.
Он стремится обнаружить (но не
познать) существование таинственного,
жить в атмосфере непостижимого.
Габриэль Марсель

Одной из немногих последовательных
философских позиций является бунт,
непрерывная конфронтация человека с
таящимся в нем мраком. Это не
устремление, ведь бунт лишен
надежды. Бунт есть уверенность в
подавляющей силе судьбы, но без
смирения, обычно ее
сопровождающего.
Альбер Камю

Со мной иногда творится нечто
странное; непобедимая тревога, страх
перед чем-то ужасным, перед далеким
потусторонним миром охватывает
меня...
Э.-Т.-А.Гофман

...Хельмину поразили тогда фрески, которыми были расписаны стены, фантастические и жутковатые.

В воспоминаниях она замечала, что хозяин был под стать своему искусству. Даже очень умные люди внешне часто ничем не выделяются. Незаурядность Гофмана была видна сразу.

Казалось, в нем дух преобладал над материальным.

Пристальный неподвижный взгляд. Горящие темные глаза. Тонкие губы, которые никогда не смеялись.

Он притягивал и в то же время вызывал тревогу. Во всей повадке была видна нервность и утонченность.

Гейне, видевший его в 'Кафе рояль', писал: 'Но кто это там за столом, вон тот маленький подвижный человек с вечно подергивающимся лицом, с движениями забавными и в то же время жутковатыми? Советник апелляционного суда Гофман...'.

Черные волосы росли низко надо лбом. Нос был узкий, с горбинкой. Рот плотно сжат. Если присмотреться, серые глаза лишь казались темными.

Смугловатый. Наподобие Данте Алигьери.

Видно был опален адским пламенем. Побывал.

Немец ли он? Или родился на Ниле? И подобно графу Калиостро путешествует в веках, мгновенно перемещаясь в пространстве вечности?

Вполне экзотическая внешность. Джин из сказок 'Тысячи и одной ночи'.

В благодушном настроении он подмигивал приятелям, и тогда выражение его принимало занятную народную хитрецу,

В мундире он напоминал итальянского генерала, отражение в зеркале придавало ему великолепное настроение.

В его поклонах-кивках могло показаться нечто насмешливое: 'Как же, как же! Узнал, узнал! Проваливайте, проваливайте! Скатертью дорожка!'. Если бы не его исключительно любезное поведение...

Когда начали множиться ночные произведения Гофмана, находили, что государственный советник абсолютно похож на Рюбецалля, горного духа непогоды и обвалов; дух этот появлялся в виде серого монаха; хорошим людям помогал, плохим сбивал с пути. ...Сатир, домовый, облюбовавший в качестве жилища пустую винную бочку.

Причудливый гений, живущий в сумраке своих произведений, похожий на своих призраков, временами выглядывающий из своей сказки и с недовольной искривленной физиономией скатывающийся в винное подземелье назад, поскольку перед лестницей улица так поката...

В Берлине Гофман раскрылся именно с этой стороны: писатель ночной мистики, призрачной демонологии, жутких тайн...

Обращение к готической литературе с ее раздирающими и потрясающими страстями было вызвано вначале непосредственно коммерческими соображениями. Литература ужасов, наводя сладостную жуть страха и любопытства, легче всего должна была захватить и увлечь читателя.

Гофман в 'Предисловии издателя' в 'Эликсирах сатаны' прилагал все средства, чтобы едва ли ни заворожить, даже загипнотизировать читателя, желая ему увлечься главной идеей мрачного фатума: '...горячо желаю тебе этого по причине весьма значительной', звучало двусмысленно. Ему нужны были деньги.

Склонный к лихорадочному возбуждению, подстегиваемый нуждой в ресторанном гурманстве, сам верящий в судьбу, настороженно ожидающий коварных вылазок, мистических подвохов, Гофман в ходе писания почувствовал потребность высказывания всех смутных импульсов, которые проникали в сновидения, фантастически деформируя реальность.

Немало он прочитал литературы, изыскивающей мистические основы бытия. Превратности собственной судьбы настраивали мрачно, тревожно. Но инстинкт вкуса, равновесия, меры вначале не позволял ему опираться на смутное и сомнительное.

Обстоятельства, в которых писались 'Эликсиры', послужили толчком. Огромная инерция внутреннего мрака сдвинулась и покатилась, нарастая. Инерция должна была исчерпать свою энергию - иного способа остановиться не известно...

В письмах к К.Ф.К. Гофман писал о музыкальности замысла романа; но это далеко не всегда означает первоклассный стиль в работе со словом; когда он его написал, выяснилось, что весь замысел построен как... опера. Некая натяжка тональности речи.

Гофманово внутреннее родство опере (неструктурная, качественная сторона звучания, окраска, тайны голоса) проявилось в выборе литературного жанра, схожего с оперой внутренней тональностью - мелодраматизмом.

Мелодрама, разновидностью которой являются и опера, и готический роман, стремится проникновенно заострить восприятие жизни. Но мелодрама имеет свои законы, в ней преобладает интрига и страсти. Необычайностью того и другого она и берет. Риск же состоит в том, что эта сторона сюжета может подавить интеллектуальную сторону.

Глубина содержания мелодраматического сюжета в конечном счете определяется интеллектуальным сдерживанием разгула интриги и страстей. Гофману не вполне это удалось. В финале интрига доходит до разнузданности, выходит из-под контроля авторского вкуса, впадает в бессмыслицу.

Нельзя сказать чтобы роман крепко сделан. Гофман хотел авантюрному повествованию придать философскую глубину, но именно философская сторона в нем плохо продумана. Ведь вселенная построена не по законам невротической морали, принимающей религиозную форму, а по законам физики.

Пока он повествовал о приключениях монаха, добивался изрядной выразительной силы. Но когда пытался разъяснить множество совпадений, притягивая их к совершенно надуманной схеме таинственного рокового предопределения, повествование становилось вымученным, навязчивым, скучным.

Таинственные связи психики с предопределением - замыслом вселенной - невняты и смутны. И представить отчетливую схему сомнительное предприятие: религиозную благонамеренность показать можно, но получится наивно пошло. Преувеличенные жуткие рассказы по поводу первородного греха и его роковой власти не имеют никакого отношения ни к глубине, ни космосу. Читателю предлагались не тайны бытия, а мелодраматические кошмары.

Поразительно, что Гофман не чувствовал музыкальной фальши в этих местах. Невозможно решить, следствие ли это выработанного чиновничьего педантизма, или нежелания задумываться в погоне за гонораром; но вместо того, чтобы отказаться от безжизненной схемы, он продолжал упорствовать в навязывании ее читателю, взвинчивая мелодраматическую экзальтацию, и, естественно, добиваясь лишь впечатления бури в стакане воды.

Придуманная им фабула оказалась несовместима ни с авантюрным повествованием, ни с философской глубиной.

В приключенческом романе возможно сколько угодно мелодраматических совпадений, если только между ними нет никакой связи, если они не складываются в систему. Интрига приключений в свободной игре случая. Но в Гофмановом романе оперный мелодраматизм вступает в противоречие с поэтикой авантюрного жанра. Никакой загадки не существует, никакой свободной игры - все сводится к плоской схеме.

Медардус происходит из рода, начало которому было дано в свободном нецерковном браке итальянского художника с прекрасной ведьмой. Известно, христиане переименовали греко-римских богинь в ведьм, а богов в чертей. Если в дохристианский период в результате незарегистрированных церковью соитий с богинями рождались герои, то в послехристианский период ничего хорошего из этого уже не получалось. В назидание и благонамеренное поучение читателю все потомки художника склонны к убийству и вступлению между собой в близкородственные половые отношения: судьба их сводит. Хотя им неведомо, кто есть кто – грех. В характере и поведении Медардуса все свойства проявляются в полной мере.

Подобную фабулу можно было бы рассматривать как дань жанру, некую условность: готический роман должен быть проникнут неким духом средневекового мракобесия и суеверий. Гофман же в силу впечатлительности, проникся вздорным замыслом, впадая в экстатическую взвинченность, сам начиная верить, оргиазматически переживая мистическую жуть.

Но способность к экзальтации не столь распространенное психическое свойство, поэтому на читательское сопереживание рассчитывать не приходилось. Экстазис остается не более чем самовозбуждением и самоубуждением... не обладая никакой доказательностью для читателя более здравомыслящего, чем невежда или дикарь.

Гофман должен был честно задать самому себе вопрос: для чего все это писалось? Для увеличения количества печатных листов? Для невежд и дикарей? Гофман, без всякого сомнения, не был религиозен; стоит вспомнить ПРЕДСВАДЕБНЫЙ МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ ЯКОБУСА ШНЕЛЬПФЕЙФЕРА и все написанное в 'Ночных бдениях Бонавентуры'. Но схема фабулы построена именно на христианской религиозной догматике, что вносило в разработку схемы невыносимую фальшь. Подключение же к этому авторского экстаза превращало посвященные этому страницы в какой-то почти безобразный восторг лжи. Ни о какой художественной правде мечтать здесь не приходилось.

Замысел сложился по английскому роману Метью-Грегори Льюиса 'Амброзио или Монах'. Гофманическое честолюбие не позволяло ограничиться немецким пересказом, сочинительская задача мыслилась им как соревнование. Гофман вознамерился написать жутче; он звал читателя последовать за Медардусом по мрачным монастырским переходам, чтобы вместе с ним испытать страшное, наводящее ужас, безумное и смехотворное. Но вместе, попутно и не по плану, получилось и нелепое – что не входило в расчеты, а было результатом просчетов и несколько беспечного дилетантского отношения к замыслу: типичная для дилетанта надежда, что наитие и вдохновение вывезут... Наития и вдохновение выродились в гофманическом романе в мелодраматический нажим. Глубины смысла не прибавилось.

Религиозный фон нужен для достоверности сюжета. Переживания Медардуса не могут не быть религиозно окрашены: все раздирающие страсти, безумие и помешательство происходит из-за невозможности следовать религиозным заповедям и запретам. Ведь Медардус натура страстная, преисполненная желанием испытать яркость и полноту жизни. В нем вспыхивают и разгораются даже сверхчеловеческие искры. В особенности им овладевает гордое дерзание, почти демоническое: попытаться не просто отдаться животной алчности жизни, но овладеть судьбой и случаем.

Но беда в том, что он не владеет собой, не способен совладать с иступлением, ввергающим в безумие. В конце концов он сломлен. Перед ним лишь два реальных пути: путь преступления и монастырь. В конце первого наименьшее – тюрьма, второго – добровольное заточение в обители смирения.

Гофман понимал слабость человека, затерянного в бездне пустого пространства, и настроен был религиозно в самом первобытном изначальном смысле слова: склонен верить в мистические основы бытия и настороженно относиться к судьбе. В предисловии высказана главная мысль романа: 'Я подумал, что обречен на гибель тот, кто вообразит, будто познание это дает ему право насильственно разорвать тайные нити и схватиться с сумрачной силой, властвующей над нами'. Над миром властвует не бог, а некая нечеловеческая тайна – вот гофманическое понимание проблемы... Назвать бога мрачной силой было бы в религиозном плане крайне неортодоксально и нецензурно. Но из-за философской невнятности прошло незамеченным.

Помимо тайны судьбы Гофмана занимала проблема связи сновидений с трансцендентной запредельной основой бытия – потусторонним бытием. Эти размышления и самонаблюдения умело были связаны с авантурной стороной повествования; вся приключенческая линия проходила по границе зыбкого смещения сновидений и яви, неразличимости физической реальности, причудливых видений, дремотных предчувствий, фантастических снов, одни словом на границе безумия, помешательства; появляется двойник... Именно эта линия самая выразительная, сильная, захватывающая. Гофман здесь достиг мастерства и глубины.

'Предисловие издателя' в основном соответствовало цели, хотя заметна некоторая изысканная восторженность в попытках настроить читателя грезить наяву.

Сия музыкальная увертюра настраивала не на суровый трагизм, скорее на мелодраму. 'Охотно повел бы я тебя, благосклонный читатель, под сумрачную сень платанов, где я впервые прочитал диковинное повествование брата Медардуса. ...С томлением неизъяснимым смотрели бы мы с тобой на синие причудливые громады гор...'

'Причудливое' и 'диковинное' здесь признаки стиля барокко, вообще характерного для смутных времен неуверенности и пессимизма, признаки, незаметно претворяющиеся в вычурность и перегибы мелодраматизма... 'Шепот и ропот каких-то дивных голосов слышится в деревьях и кустах, все яснее, яснее; словно невидимый хор и раскаты органа нам почудились где-то вдали'.

Прямо по Чехову о дилетантской манере: овладевший приемами писатель сдержан – 'на плотине блестело горлышко разбитой бутылки как звезда и чернела тень мельничного колеса' – и вот лунная ночь готова...; дилетант же пытается передать владеющее им изысканное томление неким изысканным многословием: 'трепещущий свет, тихое мерцание звезд, далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе'. Пожалуй, слов тут не больше, но какое-то притязательное эстетство, витиеватость создает впечатление многословия. Гофман пытался пронять сходно – невидимым хором и раскатами органа вдали.

'Молча, в ниспадающих широкими складками одеяниях шествуют по аллее сада величавые мужи с обращенными к небу благоговейными взорами. Уж не святые ли ожили там, наверху, и спустились с карнизов храма? ... Ты весь преисполнился таинственного трепета, наваянного чудесами житий и легенд, здесь воплощенными; тебе уже мерещится, что все это и впрямь совершается у тебя на глазах; и ты всему готов верить. В таком-то настроении ты стал бы читать повествование Медардуса; и странные видения этого монаха ты едва ли счел бы тогда одной лишь бессвязной игрой разгоряченного воображения...'

Мелодраматический тон выдержан, и опера может начинаться... Подробности местности близ монастыря, где

появился на свет Франц-Медардус: там не водилось ни ядовитой твари, ни вредного насекомого (не было мух, комаров, тли, блох, клопов), 'жужжание мухи, стрекотание кузнечика не нарушало ее [обители] благодатной тишины...'. Собственно, роман начинается в немецком городе Б [амберге] в Южной Германии, в семинарии, где учится Франц, посвященный богу, чтобы замаливать грехи преступного рода, затем в монастыре, где, отрешившись от света, в сумерках обители, получил монашеское имя Медардус.

В событиях последующего повествования невольно доказывается мысль, что моления бесполезны; природные задатки в человеке сильнее всего, не говоря о теологических несообразностях, неразрешимых теоретических противоречиях религиозной доктрины в истолковании предопределения.

Описывая порядки в монастыре и весьма симпатичного ему приора Леонарда, Гофман показал истинное отношение к проблеме греха. '...Покой и веселие духа, излучаемые приором, передавались всей братии. Не было здесь и тени уныния или той иссушающей душу отрешенности, которая так часто отражается в лицах монахов. Устав ордена был строг, но приор Леонард почитал молитву скорее потребностью духа, взыскующего горнего мира, чем проявлением аскетического покаяния за первородный грех'. В монастыре капуцинов устраивались совместные трапезы с мирянами. Приор внушал монахам мысль, что хотя мирская жизнь не выше служения богу, но формы ее возникли в силу внутренней необходимости и преисполнены значительного смысла.

'...Необычайный для монастырей жизненный уклад Леонард усвоил в Италии, где и церковный культ и все понимание религиозной жизни несравненно радостнее, чем в католической Германии. Как в архитектуре храмов Италии проступают античные формы, так мистический сумрак христианства пронизывается там могучим лучом, долетающим к нам из радостных, животворных времен античности и осиявших веру нашу тем причудливым блеском, который некогда озарил героев и богов'.

Семинарист Франц неистовая натура, буйного темперамента. Первая влюбленность и разочарование проявляются порывисто и дико. Потрясенный обидой и собственной реакцией, на грани безумия, он решает податься в монастырь. На бумаге мелодрама выглядит серьезно, на сцене выглядела бы тягостно...

'...Я схватил со стола забытую ей перчатку и в безумном порыве прижал к устам!.. Это увидела другая девушка и, подойдя к той, что-то шепнула ей на ухо; обе посмотрели на меня, захихикали, а потом язвительно расхохотались. Я был вконец уничтожен, ледяная дрожь потрясла меня с ног до головы, и я без памяти кинулся прочь, в мою семинарскую келейку. Там, в диком отчаянии, бросился я на пол... жгучие слезы лились у меня из глаз... Я проклинал эту девушку... и самого себя... и то молился, то хохотал как безумный! Мне чудились вокруг насмешливые, глумливые голоса! Я выбросился бы из окна, да, к счастью, на нем была железная решетка; мое душевное состояние было ужасно. Только под утро я немного успокоился; но я бесповоротно решил никогда не искать встречи с ней и вообще отречься от мира. Громче прежнего заговорило во мне призвание к уединенной монастырской жизни...'

Но поступив в монастырь, он не мог изменить внутренней сущности; гордый и яростный дух его нашел себя в проповедничестве.

'Кровь пылала и клочкотала у меня в жилах; я слышал громовые раскаты моего голоса под самым куполом храма, и мне чудилось, что огонь вдохновения озаряет чело мое и широко распростертые руки'. Порыв полета, ощущение превосходства духа, покоряющего массу.

Гордыня грех, добродетель смирение; приор и монахи избегают его. 'Молчаливый и замкнутый, снедаемый затаенным озлоблением, сидел я теперь на собраниях общины монахов...'

Однажды во время проповеди ему явился призрак Художника. 'Горькая насмешка... ненависть, исполненная презрения, застыли на его... высоком челе и в опущенных углах рта, от него веяло холодом... жутью'. На монаха нападает приступ ледяного ужаса, он выкрикивает проклятие и падает без сознания.

Наконец, дело доходит до эликсира в черной бутылке странного вида. Легкомысленные дворяне, путешествующий граф и его наставник, откупоривают бутылку, благополучно выпивают: 'Отличное, отличное сиракузское!'. Когда открывали, '...мне показалось, что вслед за вылетевшей пробкой мигнул и мгновенно погас синеватый огонек'. Монах, находившийся в подавленном состоянии, желая вернуть себе силы и бодрость, тоже захотел выпить запретного вина. Монолог гофманически двусмыслен: 'Что если этот волшебный напиток... придаст крепости душе твоей, зажжет погасшее было пламя, и оно, вспыхнув с новой силой, всего тебя озарит? И не сказало ли таинственное сродство твоего духа с заключенными в вине силами природы, если тот же самый аромат, который одурманил хилого Кирилла, так животворно действовал на тебя?'. Гофман испытал на себе множество эликсиров и уже не мог без вина; имел право на подобный монолог и подобный мистический сюжет.

Надобно заметить, озлобленный на приора Медардус хотел даже известить его... Не предствалена ли здесь в замаскированном бессознательном виде жизненная ситуация самого Гофмана?.. Леонард дядюшка, наследником коего он является, хранитель неисчерпаемых эликсиров - известить его и получить доступ к источнику радости и вдохновения...?

Но обошлось без этого: у него есть золотой ключик от старинного немецкого шкафа резной работы. Ночью монах направляется, чтобы выпить. 'Поднявшись со своего дощатого ложа, я, как призрак, заскользил по церкви, пробираясь в залу реликвий с лампой в руке... Казалось, лики святых в монастырском храме, освещенные трепетным сиянием лампы, оживают и смотрят на меня с состраданием, сквозь разбитые окна на хорах несутся ко мне в глухом шуме ветра предостерегающие голоса...'. Но все пустяки по сравнению с желанием выпить животворный эликсир... 'По жилам моим заструился огонь, я почувствовал себя неописуемо здоровым... Глотнул еще немного, и вот уже я радостно стою у преддверия новой - чудо какой прекрасной! - жизни...'

Здесь начинается переход гофманизма в... нищезанство! Первый признак, за которым последовали другие... Почувствовал себя неописуемо здоровым, сверхздоровым, все наново и наново здоровым... Неважно как, пусть с помощью эликсиров дьявола... экстаического самоопьянения... Главное - внутреннее ощущение силы! Неизмеримого могущества! Гордый дух, расправляющий крылья для полета..!

Вновь начались проповеди: 'Подобно огненному потоку стремительно несло мое слово...'

Словно зов прекрасной жизни является видение прелестной женственности - невозможно решить, реальное или призрачное... нечто является, чтобы свести его с ума признанием в любви.

Но он запертый в монастырской клетке зверь. Происходит беснование. 'Простершись на ступенях алтаря, я, словно охваченный безумием, испускал страшные вопли, от которых монахи приходили в ужас и разбегались объятые страхом'.

Приор изгоняет его из монастыря, чтобы не смущал покой братии. Посылает с поручением в Рим; словно постигнув его мысли бежать на поиски прелестного женственного видения...

Монах идет в горах. Видит выступ скалы, на нем сидит человек, спит, понемногу сползая... Монах, попытался спасти его. Но, проснувшись, тот потерял равновесие, сорвался в пропасть... '...Послышался треск разможенных костей, раздирающий вопль донесся из неизмеримой глубины; после почудились глухие стоны, но наконец замерли и они'.

Невероятное совпадение: погибший собирался проникнуть в замок, переодетый купуцином, но настоящий капуцин похож на него как две капли воды. Слуга принял монаха за хозяина.

Медардус невольно завладел и деньгами, и документами. И направился в замок. Здесь двойника ждала любовница.

Развертывается поединок самолюбия и сладострастия. Все проникнуто ницшеанской тональностью.

Это имело лишь одно объяснение: Фридрих Ницше был внимательным читателем Гофмана; благодарность его была такова, что не полил его грязью, как прочих, а просто никогда и нигде не называл имени Гофмана – самая высшая честь в системе психореакций Ницше; хотя он отрицал всякие системы.

Вот гофманизм – протоницшеанство: '...Возвыситься над своей судьбой; постоянно пробуждать и поддерживать в себе пламень более высокого бытия, дабы воспарить над скорбями нашей ничтожной жизни! И я не знаю... какая судьба могла бы сокрушить столь могучую, питаемую изнутри волно'.

Замок весь заряжен разрушительными страстями как взрывчаткой; готов в любую минуту развалиться. На слова, приведенные выше, юноша '... расхохотался с какой-то ужасающей язвительностью и воскликнул голосом, потрясши мне душу...!'

Какова же молодая баронесса, ждущая замаскированного капуцина, чтобы предаться похоти?

'Порой глаза ее загорались каким-то особенным пламенем... взор ее так и метал молнии; словно вопреки ее воле пробивался с трудом скрываемый блеск пагубного внутреннего огня. А на ее мягко очерченных губах скользила порой ядовитая усмешка, от которой меня пробирала дрожь...'. Она приняла монаха за того, с кем '...скрещивались их распаленные взгляды, в которых, словно пожирающий огонь, бушевало пламенное сладострастие и сквозила знойная тоска. ...Неописуемый взгляд, полный жара любви и томительной жажды наслаждения'.

Парадоксальное ощущение, питающее вождление монаха: 'Я тот, кем я кажусь, а кажусь я вовсе не тем, кто я на деле, и вот я для самого себя загадка со своим раздвоившимся 'Я'!'. Сладострастная жуть неузнанной безнаказанности, разнузданной свободы...

Гофман воспроизвел психологическую ситуацию распутства вакханалий, сатурналий, карнавального маскарада. Среди масок и личин, растворяется социальное начало, высвобождается бессознательное, темный инстинкт, сливающийся с жуткими нечеловеческими основами природы... из чего возникает восторженное безумие, демоническое ликование экстаза, ощущение власти над распахнутым простором, подобное чувству бессмертия...

Вникнув в гофмановское откровение, Ницше постиг: в вакханалии люди превращались в зверей, возвращались к истокам жизненного инстинкта, свободного от соображений стыда и моральных тормозов. Гофман прикоснулся к этому в новелле 'Дон-Жуан'; '...та могучая таинственная сила, что потрясает и преобразует глобачайшие основы бытия...!'

В этом скрыт метафизический смысл связи человеческого и нечеловеческого в глубине бытия. Из соединения предела и беспредельности, протомужского и протоженского начал, возникает взрыв вселенной, развертывается пространство, огненным потоком во все стороны выплескивается время...

Дон-Жуан ощущает грандиозный смысл, но выразить его нечеловеческое, физическое и метафизическое содержание не в состоянии; он сам пленник человеческих форм восприятия – и в физиологическом и в социальном смысле – он охвачен жадой наслаждения и презрением к общественным условностям. 'Без устали стремясь от прекрасной женщины к прекраснейшей, с пламенным сладострастием до пресыщения, до губительного дурмана наслаждаясь ее прелестями, неизменно досадуя на неудачный выбор, неизменно надеясь обрести воплощение своего идеала, Дон-Жуан дошел до того, что вся земная жизнь стала ему казаться тусклой и мелкой. Он издавна презирал человека, а теперь восстал и на то чувство, что было для него выше всего в жизни и так горько его разочаровало. ... Глубоко презирал он общепринятые житейские понятия, чувствуя себя выше их, и извил насмешкой людей... ...И бросал вызов неведомому вершителю судеб, в котором видел злорадное существо, ведущее жестокую игру с жалкими порождениями своей насмешливой прихоти'. Затевав дерзкую игру с нечеловеческой силой, правящей бытием, сам он ощущал в себе нечеловеческое демоническое начало. Донжуанская мечта это мечта о богине. В такой форме он желает слиться с тайной бытия, ощущая себя подобным богу.

В гофмановой фабуле романа родоначальник преступного рода художник Франческо осуществляет донжуанскую мечту как Пигмалион, изваявший прекрасную Галатею, которую богиня любви Афродита оживила, вняв его молитве. Франческо создал на полотне изображение нагой богини...

Монах, баронесса, слетевший в пропасть, все из одного рода Франческо.

В баронессе есть сходство с донной Анной. 'Огонь сверхчеловеческой страсти, адский пламень проник ей в душу... То сладострастное безумие, которое бросило Анну в его объятия, мог зажечь только он... Дон-Жуан, ибо, когда он грешил, в нем бушевало сокрушительное неистовство адских сил. ... Ненасытным пламенем бушующая в тайниках ее души любовь, что вспыхнула в минуту величайшего упоения, а ныне жжет как огонь беспощадной ненависти...!'

В романе Гофмана баронесса превратилась в Дон-Жуана женского пола, демонического сверхчеловека в юбке. В монахе она видит лишь средство наслаждения, не подозревая, что сама находится в ситуации двусмысленной, коварной...

'Дон-Жуан, нимало не таясь, раскрыл свою мятежную душу, свое презрение к окружающим его людишкам, созданным лишь для того, чтобы он, себе на потеху, пагубно вторгался в их тусклое бытие'. Дон-Жуан в юбке, в самосознании собственного дара властвовать, духовно господствовать надо всем, что ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО окружает, доверительно признается МОНАХУ, что выделила его в число избранных, способных постигнуть ее величие; а затем, испытав как полагается, сочла достойным роли ее 'венценосного супруга' и 'возвела на престол ее высшего царства'. Их высший тайный сверхчеловеческий союз есть прекрасный дерзновенный шаг, поднимающих их на позицию высокомерного глумления над жалкой ограниченностью будничной среды. 'Ты знаешь, как искренне я презираю с высоты присущего мне взгляда... всякие пошлые условности, как я играю ими по своему усмотрению'. Сверхженщина призвала Монаха вершить великие дела, то есть властвовать глумясь, глумлением утверждать свою власть, полагая, что монах в сем союзе будет находиться ниже нее... 'Что может быть выше такого состояния, когда силой своей жизни ты господствуешь над жизнью, и все ее проявления, все богатство ее наслаждений можешь по

своей властной прихоти подчинить себе могуществом своих чар?'

Барона же она отбросила как надоевшую заводную игрушку, потому что у игрушки оказалось мало завода.

'Господствуй вместе со мной над пошлым миром марионеток, что вертятся вокруг нас. И да расточает нам жизнь свои обольстительные наслаждения, не накладывая на нас своих оков'.

Монах проникся изложенной философией, но зная больше, он может все обозреть с более высокой позиции. Естественно, он не желает быть ниже в этой игре сладострастных самолюбий.

В ночных свиданиях с баронессой, которой все же, чтобы получить наслаждение, приходится исполнять отдающуюся женскую роль, монах, владея тайной, проникся сознанием собственного превосходства, что придавало его обращению с ней '...нечто дикое, разящее ужасом, что приводило ее в трепет'. Полагая неистовую разнузданность соединения с ней Монаха результатом действия на него ее распалющих прелестей, распутная особа продолжает взятый тон превосходства, не подозревая, какой жестокий удар приготовлен ей; она все строит планы сокрушения марионеток...

'Евфимия устремила на меня странный взгляд и в глубоком раздумье молчала несколько минут. 'Неужели, Викторин, ты не догадываешься... какая блестящая мысль, вполне достойная моего ума, меня осенила?.. Вижу, ты не догадываешься, но расправь живое крылья и следуй за мной в отважном полете. ...Ты, кому следовало бы вольно и царственно парить над всеми явлениями жизни... ' '.

Внутренний конфликт монаха и парадоксальная ситуация должны взорвать их отношения неизбежно. Евфимия, которой монах владеет как распутной менадой, приказывает ему убить барона, сбросив его с той самой скалы. Но он уже сбрасывал...

На ее ярость он отвечает вызовом и раскрывает все. Баронесса сокрушена. '...Я ощутил глубочайшее презрение к ее жалкой похвальбе; я громко расхохотался прямо ей в лицо, она мертвенно побледнела, затрепетав от охватившего ее ужаса, а я воскликнул с горькой насмешкой: 'Безумная, ты вообразила, будто властвуешь над жизнью и тебе позволено играть ей, но берегись, как бы эта игрушка не обернулась в твоей руке кинжалом и не покарала тебя!.. ...Ты со всей своей преступной игрой только связанный хищный зверь, судорожно извивающийся в клетке. Знай, злополучная, твой любовник лежит растерзанный на дне пропасти и не его ты обнимала, но самого духа мщения!.. Ступай же, твой удел - отчаяние и безнадежность'. Евфимия пошатнулась: дрожь пронзила ее, и она чуть было не упала, но я схватил ее и вытолкнул через потайную дверь в коридор... У меня появилась мысль убить ее. Но я, сам того не сознавая, тут же оставил это намерение, ибо, как только я запер за ней дверь, мне почудилось, что я уже умертвил ее!!! Мне послышался пронзительный крик и звук захлопнувшейся двери... Теперь уже и я возомнил себя на той исключительной высоте, которая возносила меня над зауздными человеческими действиями и поступками; отныне удар должен был следовать за ударом, и я, возвестив о себе как о духе мести, готов был свершить чудовищные дела... '.

Все же ей хватило самообладания, ради того, чтобы уничтожить глумившегося над ней монаха, казаться веселой и непринужденной, снова пригласить его к себе, отдаться ему, приготовив яд в бокале с вином... Он же прятал нож в рукаве сутаны...

'Затем она, как всегда, отдалась моим преступным ласкам, и я, преисполненный ужасающего, дьявольского глумления, как только мог, злоупотреблял ее низменной чувственностью, испытывая к ней одну лишь похоть'.

Гофман писал, что монах лишь притворялся, будто ест приготовленные ей фрукты, но на самом деле спускал их в широкий рукав сутаны... Комическая нелепость: или предавался разврату в сутане или - надевал ее, чтобы грызть фрукты и выплевывать их в рукав? По-видимому, он не один раз должен был приступать к трапезе: и что - каждый раз надевал сутану?.. Незаметно переставить бокалы с вином тоже вряд ли ему бы удалось, ведь она не для того их поставила...

Трагедия никогда не переходит в комедию; риск свалиться в комедию - особое свойство мелодрамы.

Невзирая на выразительную силу повествования, яркое проявление чувств, поразительное сверкание мысли, достоверные психологические черты, невзирая на то, что мелодрама способна захватить, ничего нельзя сделать с одной важной особенностью жанра: происходящие события и персонажи возможны только на сцене. Для театральных декораций и игры можно добиться предельного приближения к достоверности, но сцену нельзя перенести в реальную жизнь. Мелодрама - камерный жанр.

Но для романа идей он вполне подходит. Пример тому не только Гофман - Достоевский...

Готический роман с его инфернальным, адским мелодраматизмом и демоническими персонажами, несмотря на жуть, является разновидностью карнавала; внутренний двигатель карнавала - разгул, неистовство игры, в веселье ли, в ужасы ли; здесь нелегко сохранить - не меру, меры здесь нет изначально - но некую соразмерность последовательности событий: не зря у Гофмана вырывается опасение (словами баронессы), что им (с Гофманом!) следует быть осторожными, чтобы избежать опасности разоблачения, и не дать низвести гениально задуманную интригу до уровня пошлой никчемной комедии с переодеваниями... всякими неузнаваниями... перепутываниями масок...

Неутомимый монах из покоев баронессы направляется в спальню Аврелии, ведомый видением женственности, которое явилось ему в монастыре... Из спальни уже пахло спертым воздухом, одурманив его; вздымалось вожделение и расправляло крылья хищной птицей; но здесь на него напал стороживший монаха безумный Гермоген, молодой барон, тоже решивший податься в монахи; помрачился же у него ум из-за того, что его соблазнила Евфимия, жена его батюшки... Господи!..

Безумный вцепился монаху в затылок зубами; воистину нужно было иметь пасть крокодила, чтобы ухватить затылок. Но монаху размышлять некогда; несколько ударов ножом, и ему удалось вырваться из адской пасти. Гермоген упал с таким грохотом, что загудел коридор. 'Повсюду замелькали свечи, послышался топот людей, бежавших по длинным коридорам...'. Началась погоня!

'...Мне казалось, что я смогу, полагаясь на свою силу, с окровавленным оружием в руке открыто уйти из замка и что оробевшие, объятые ужасом обитатели его не посмеют меня задержать; теперь же я сам испытывал смертельный страх. Но наконец-то, наконец, я попал на парадную лестницу, куда шум доносился лишь издали... а здесь все затихло; три исполинских прыжка - и я внизу... Вдруг по коридорам прокатился пронзительный вопль, похожий на тот...', когда он вытолкнул Евфимию... Это подействовал яд, который она приготовила ему... Снова раздирающие крики: понесли труп Гермогена... 'Догоните убийцу!' - кричал Райнхольд.

Монах злобно расхохотался, и смех раскатами пронесся по зале, по коридорам. 'Безумцы, - громко закричал я, - неужели вы мните, что вам удастся связать карающий грешников рок?..'. Они прислушались и как вкопанные всей гурьбой остановились на лестнице.

Тут у монаха пропало желание бежать... 'Нет, двинуться им навстречу и громовой речью возвестить им, как на этих грешников обрушилась божья кара... Но... какое леденящее зрелище!.. Передо мной... передо мной вырост кровавый призрак Викторина, и это не я, а он произносил те грозные слова. Волосы у меня встали дыбом; я ринулся в безумном страхе прочь, помчался через парк!'.
Монах спасся. Сутану засунул в большое дупло дерева, переоделся в лесу во фрак (Гоголь: 'Нынче черт во фраке').

Гофман в новой главе показал, что ему удаются народные сцены. Задержание в деревне. Подкуп судьи. Монах заявил, что у него есть важные причины не разглашать, кто он такой: паспорта моего вам не видать, поостерегитесь задерживать хоть на одну минуту важную персону нелепыми формальностями.
'Ого-го! - воскликнул деревенский судья, доставая понюшку табаку из огромной табакерки, в которую пятеро стоявших позади понятых тотчас же запустили свои пальцы и взяли из нее сколько можно было захватить...'. Капуцин сменил гнев на милость. Попросил судью поговорить наедине. В пользу инкогнито он выложил веские доводы: несколько золотых монет...
'Доводы у вас, сударь... достаточно веские, но вы уж не обессудьте, чтобы все окончательно стало по всей форме, их надобно несколько округлить'. Монах добавил дукат...
'Ну, теперь мне вполне ясно, что я несправедливо заподозрил вас; поезжайте дальше, но лучше, как вы сами понимаете, перелесками, подальше от большой дороги, покамест вам не удастся сделать свою внешность менее подозрительной'.

Франц-Медардус знакомится с Белькампо - цирюльником, сходным с Фигаро, 'художником волос', как сам он себя величает, говорящим речи, похожие на 'Веселую науку' Фридриха Ницше, пожалуй, даже своим интеллектуальным искусством превосходя сию 'науку'.

О, Гофман стоил того, чтобы его замалчивать!..
'Но разве ты сам не держишь свой светоч под спудом, когда он мог бы светить всему миру?'
Мало поливать грязью, великий Фридрих, всех, кто мог бы светить вместо тебя. Особенно опасных соперников в величии надобно, фальшивым с самим собой, методически, систематически замалчивать... Искусство, в коем ты преуспел столько же, сколько в интеллектуальных провалах... В провалах тебе равны многие, а вот в искусстве систематического молчаливого заимствования не было тебе равных...
Монологи Белькампо, или по-немецки Шенфельда, особенно важны возможностью составить представление насчет остроумия Гофмана на пирушках в Бамберге и после в Берлине.
'Ловкость? - продолжал он тем же возбужденным тоном. - Но что вы называете ловкостью?.. Кого считать ловким?.. Не того ли, кто, раз пять примерившись, вздумал прыгнуть на 30 локтей в длину и шлепнулся с размаху в ров?.. Или того, кто с 20 шагов попадает чечевичным зернышком в игольное ушко?.. Или, наконец, того, кто, подвесив на шпагу тяжелый груз, и приладив ее на кончик своего носа, балансирует ей 6 часов 6 минут 6 секунд и еще одно мгновение впридачу?...'.
Сумасбродный островок разгадывает внутренний демонизм монаха. Нечто в антично-романтическом духе, смесь Каракаллы и Абеляра: 'Мир принадлежит мне!.. Я умнее, разумнее, богаче вас всех; вы отродье слепых кротов и потому преклоняйтесь передо мной!..'. И цирюльник в орлином разлете бакенбард монаха выразил присущий ему 'возвышенный образ мыслей'...

Монах затаился в городе, вел жизнь полупризрачную, мистически мнительную. '...Но вот я вновь обрел мужество, обрел решимость восстать против чудовища, готового прыгнуть на меня из таинственного зловещего мрака...'.
Ему не удалось вновь избежать встречи с призраком. В кабачке с друзьями сидел тот самый художник, смутивший его появлением во время проповеди в монастыре... 'А случилось ли вам, господа, видеть черта?'. Художник прямо показывает на монаха. Капуцину опять изменяет самообладание. Он в гнев вскочил и яростно выкрикнул - напраслина! Художник '...не сказал ни слова; он был нем, неподвижен, безжизнен, но от его взгляда, взгляда выходящего с того света, у меня дыбом встали волосы на голове, на лбу выступил холодный пот и такой обуял меня ужас, что по всему телу пробежал неудержимый трепет... 'Прочь от меня! - воскликнул я вне себя. - Это ты сатана, это ты убийца, совершил все эти злодеяния, но тебе не дано никакой власти надо мной!'. Все вскочили со своих мест, наперебой восклицая: 'В чем дело? Что случилось?''. Монах выхватил нож, а художник разразился ужасающим хохотом. Медардус хватается; он вырвался, словно разъяренный бык бросился на сомкнувшуюся вокруг него толпу, и, опрокидывая встречных, проложил себе путь к дверям.

Сцена преследования, ненависть к толпе, яростное желание проложить себе путь через толпу силой оружия, нанося удары во все стороны - подобное видение посещало Гофмана в мыслях и более всего, вероятно, во снах. В Кенигсберге он страстно желал пробиться сквозь строй людей-автоматов, людей-мошек; на опере Моцарта он был с Дон-Жуаном, в мощном громе музыки с обнаженным мечом бросавшимся навстречу врагам, прорываясь сквозь толпу черни, раскидывая всех и прорываясь на свободу. В романе сцена сражения с толпой, прорыва, преследования, погони повторяется словно навязчивое сновидение не раз.
...Медардус стремительно бежал по коридору, масса грохотала за ним, но открылась низенькая боковая дверь, кто-то втащил его в каморку, толпа пронеслась мимо... Примерно так же втащил Гофмана в карету Кунц: 'Вы, кажется, слегка погорячились, не так ли?...'.
Без долгих разговоров Белькампо протоницшеански объяснил ситуацию: 'Кто в силах овладеть решающей минутой!? Кто воспротивится велениям высшего духа!?'.

Художник (истолковывает итальянский Шенфельд) не более чем '...презренный призрак; и пронять его можно только раскаленными парикмахерскими щипцами, которые могут придать иное направление идее, какой он, в сущности, является, а нет - так искусной завивкой наэлектризованными гребнями неких мыслей, которые он непременно должен всасывать, чтобы питать себя как идею...'. Бесконечная ирония: мысли продляются в волосах... Глупость выражается в причесах... И какая пошлость таится под париками...
'Петер Шенфель, не будь ослом и не верь, будто ты существуешь; в действительности ты не кто иной, как я, Белькампо, а ведь я есть гениальная идея, но если ты не веришь, то знай, что мне придется сразить тебя своими острыми, как бритва, и колыми мыслями. Этому враждебному существу, по имени Белькампо, свойственны всевозможные пороки; так, например, он часто сомневается в действительно существующем, напивается в стельку, лезет в драку и предается распутству с прекраснейшими девственными мыслями. И этот Белькампо совсем сбил с толку меня, Петера Шенфельда, так что я, случается, делаю неприличные прыжки и оскверняю цвет невинности, садясь в белых шелковых чулках с песней in dulci júbilo (сладостно ликуя. - лат.) в кучу дерьма'.

Ницше тоже заявлял, что предается распутству с мыслями, буквально, и переписывал из Гофманова 'Дон-Жуана' весело отплясывающих на тонкой скорлупе, прикрывающей бездонную пропасть, немного изменив ее в 'раскаленный хаос, прикрытый тонкой яблочной кожурой'. Надобно полагать, раскаленная огненность появилась у Ницше потому, что у Гофмана 'из непроглядной тьмы огненных демонов протягивают раскаленные когти, чтобы схватить беспечных людей, которые весело отплясывают...' и т.д. И т.п.

Монах, покидая место, где его настиг призрак, преисполнен протоницшеанского дерзания - чем подтверждается происхождение ницшеанства из гордого романтического гениальничанья. 'Но разве чья-то необоримая сила вырвала меня из среды, некогда столь для меня дружественной, не затем, чтобы обитающий во мне дух мог беспрепятственно расправить крылья для какого-то неведомого полета?'.

В проливной дождь и бурю он сбился с пути и попал к лесничему. Здесь ему снится, что он спит, и в комнату входит незнакомец, который оказывается им самим в монашеской сутане. 'Ты вовсе не я, ты черт! - завопил я и всеми пальцами, точно когтями, впился в лицо призрака, но они ушли словно в глубокие впадины, а призрак разразился пронзительным хохотом. В ту же минуту я проснулся, будто меня толкнули. Но в комнате еще слышались раскаты смеха. Я рывком приподнялся с постели и увидел, что в окне уже забрезжил день, а возле стола, повернувшись ко мне спиной, стоит некто в одеянии капюцина'. Его двойник, полупризрак, получеловек - а кем еще может быть помешанный? - рылся в его вещах... Сброшенный в пропасть не погиб (хотя 'слышен был треск разможенных костей'...). Жуткое падение сделало его безумным. Поскольку он сам собирался явиться в замок в виде капюцина, он мнит себя монахом; в голове его даже сложилась достоверная легенда: как прежде жил в монастыре, склонный к мистическому уединению и глубоким научным занятиям... как попробовал эликсиры сатаны... Мнящий себя капюцином граф 'признается', якобы жизнь его стала, звено за звеном, цепью позорных преступлений: 'И несмотря на дьявольскую хитрость, с какой я скрывал свои проделки, я наконец был изобличен, и приор приговорил меня к пожизненному заключению в монастырской темнице'. Просидев несколько дней в темноте, сырости и тесноте, монах стал проклинать себя, свою жизнь, бога; тогда явился дьявол и вызволил его: 'Поднялся ураган, задрожали, как от землетрясения, стены, резкий свист пронесся по моей темнице, рассыпалась прахом железная решетка моего окна, и вот уже, выброшенный незримой силой, я стою посреди монастырского двора. Озаряя каменное изваяние святого Антония, воздвигнутое как раз посредине двора у фонтана, ясный месяц сияет среди облаков... Неопишущий ужас терзает мое сердце, я падаю ниц перед святым, отрекаюсь от лукавого и молю о милосердии. Тем временем набежали черные тучи, и снова зашумел вихрь; я потерял сознание; а пришел в себя уже в этом лесу, где, обезумев от голода и отчаяния, бродил в состоянии какого-то неистовства...'. Иногда он вспоминает, что он граф. Полагает, что Медардус - его двойник... Мнимого капюцина лесник направляет в приют для умилившихся в небольшом городе, княжеской резиденции. Тогда же поехал Медардус и был принят при дворе... Их жизни сплетаются в единой судьбе самым жутким способом, словно схватка отчаяния с безумием...

Впечатление Гейне было таково, что он назвал сочинения Гофмана 'ужасом в двадцати томах'.

Глава, повествующая о придворном существовании, выбивается из готической тональности. Монах, в коем мечется словно в клетке неистовый зверь, рассуждает об изящном, выказывает себя знатоком архитектуры, искусства - и критического мнения о герцоге: умен, но образование '...все же слишком поверхностно и он даже не представляет себе тех глубин, где зарождается дивное искусство настоящего художника...'. Непонятно только, какой стороной склонность к насилию и убийствам помогла монаху сия глубину постигнуть... или не помешала...

Романтически-демоническое настроение сохраняется введением в повествование карточного азарта.

Фараон, или шtos - для тех, кто желает схватиться с судьбой, для высших натур: 'Это изумительная игра... при всей своей простоте она как бы предназначена для людей с высшими способностями'. Ничтожный способ почувствовать себя сверхчеловеком, внутреннее ребячество подобных попыток самомнения.

Карточная дама напоминала монаху Аврелию; с ней он выигрывал, раз за разом ставя на нее, две тысячи луидоров, испытал жуткое ощущение: знак влияния таинственной силы... 'Пагубность этой игры заключается не столько в опасности оказаться в случае проигрыша в безвыходном положении, сколько в дерзком вызове, бросаемом некой таинственной силе, которая, ярко выступая из мрака, завлекает нас, точно коварный мираж, в такие сферы, где с глумливым хохотом она раздавит нас и сокрушит'.

В своих светских разговорах персонаж Гофмана недостоверен; непонятно, как внутренне мог измениться готический полубесноватый выродок, склонный к безобразным деформациям, чтобы вести изысканные речи трезвомыслящего скептика.

'Я полагаю, любое ограничение свободы, даже с целью предупредить злоупотребление ею, невыносимо, оно подавляет душу, ибо резко противоречит природе человека'.

Гофман сознавал, что разговоры монаха противоречат заданию романа; здесь он поддался соблазну высказаться самому. Невольно он извиняется, и все выходит неуклюже и, в смысле искусства, небрежно: 'Мне и самому было невдомек, как это я пошел на такую откровенность, ведь я никогда всерьез не задумывался над тем, что представляет собой азартная игра, и не мог составить себе о ней такого обоснованного мнения, какое я внезапно высказал...'.

Основной сюжет замедляется и практически останавливается, настолько, что появляется веселая комическая вставная новелла об ирландцах, не имеющая никакого отношения к готическому роману. Но пружина фабулы сжалась до предела, это затишье перед взрывом, и новеллу можно рассматривать как весело загоревшийся огонек спички, поднесенной к фитилю, тянущемуся в склад с порохом в готическое подземелье.

Гофман покида продолжил светскую тему. Однообразие в занятиях княжеского двора: '...могли показаться нестерпимыми человеку одаренному и привыкшему к безусловной духовной свободе...' (не совсем понятно, чем одарен преступный монах...?). Суждение о галантности: '...особый дар многозначительно болтать о пустяках и таким образом вызывать у женщин приятное расположение духа, в котором они не способны разобраться'. В то время как огонек ползет по фитилю в подземелье...

И наконец, дополняет... Оказывается, княжеский двор тоже впутан в измышленную фабулу греховного соития Художника с богиней Венерой, которая есть по-христиански не более чем распутная ведьма. Результатом сего чудовищного преступления являются все готические ужасы последствий.

Едва Гофман завладевает фабулой вновь, сразу же впадает в нарочитый мелодраматизм на грани пошлости, фарса, ведь он должен следовать немислимым предопределенным совпадениям.

Медик рассказывает монаху тайны княжеского двора, и тот постигает в озарении: 'Ясно было мне, что Франческо... поразил принца тем самым ножом, которым я умертвил Гермогена!'. Художник прошел с сим ножом через всю жизнь, раскаялся, и передал потомкам. А сии потомки передавали ножик по наследству, чтобы монах

наследник зарезал бедного Гермогена с крокодильской пастью... Весьма удачно совпало все.

Засим начинается второй том. Аврелия появилась в придворном обществе. 'Ты убедился теперь, Медардус... что ты повелеваешь судьбой, что тебе подчиняется случай, ведь он лишь ловко переплетает нити, которые выпрядены тобой самим, не так ли?'

Великий паук Медардус, внутри коего сатанеет вынашиваемый им яд...

Монах, кой любит ее неистово, впадает прямо посреди светского приема в помешательство. Но то, с какой выразительной силой Гофман описывал сие, искупило вздорную фабулу, подтверждая, что нет совсем плохих сюжетов и окончательно негодных жанров для гениальных писателей...

Когда с ней галантно беседовал какой-то военный, монаху почудилось, что это сброшенный им в пропасть двойник: он злобно, сатанински расхохотался: ' "...жаждешь овладеть возлюбленной монаха?..."'. Не знаю, вправду ли были произнесены эти слова, но мне действительно послышался смех, и я вздрогнул, словно от толчка во сне, когда старик гофмаршал, мягко взяв меня за руку, спросил: 'Чему вы так радуетесь, дорогой господин Леонард?'. Меня пронизала ледяная дрожь. ...В ответ я пробормотал что-то бессвязное. ...Я бросился бежать по освещенным залам. Должно быть, во мне было что-то зловещее, ибо все в страхе шарахались от меня в сторону, когда я опрометью бежал вниз по широкой лестнице'.

Немного погодя его остановил медик, взял за руку, проверяя пульс... ' 'Что это значит?', - спросил я в изумлении. 'Ничего особенного, - отвечал он, - но с некоторых пор в наших краях наблюдаются случаи легкого помешательства; втихомолку подкравшись, оно злодейски хватает человека за горло, и тот громко вскрикивает, а не то разражается вдруг бессмысленным хохотом' '.

Монах не понимает. Гофман достигает достоверности, напуская в речь медика немного юмора. ' 'Да неужели вы, дорогой господин Леонард, не понимаете, что на днях вы привели в ужас весь двор? Старшая придворная дама до сих пор еще трясется от страха, а президент консистории пропускает важнейшие заседания лишь потому, что вам вздумалось пробежать по его подагрическим ногам; он не покидает теперь кресла и то и дело вскрикивает от нестерпимой боли... Это пошло с того вечера, когда вы без всякой видимой причины вдруг так расхохотались, что у всех волосы дыбом встали на голове, а потом, словно в приступе безумия, опрометью выбежали из залы'. Тут мне пришел на ум гофмаршал, и я сказал, что отлично все припоминаю; да, в самом деле, забывшись, я громко рассмеялся, но мой смех едва ли мог оказать столь странное действие, ибо гофмаршал мягко спросил меня, чему я так радовался. 'Ну-ну, - продолжал лейб-медик, - это не имеет никакого значения, ведь гофмаршал у нас такой неустрашимый муж, что ему и сам черт не страшен. Он остался верен своей невозмутимой приветливости. Другое дело, упомянутый президент консистории, ведь он-то и вправду вообразил, что это хохотал вселившийся в вас дьявол. ...В то самое мгновение, когда вы... так мило рассмеялись, Аврелия воскликнула пронзительным, душераздирающим голосом: 'Гермоген!'. Ах, что бы это значило?...''.

Когда же медик предлагает ему что-нибудь прописать, монах просит: 'Яду!'

Монаха арестовывают, заключают в тюрьму, начинается следствие. И это самая лучшая часть романа, ведь Гофман пишет о том, что хорошо знал как юрист, профессионал. Все эти обстоятельства умело сочетаются с помешательством персонажа, которому приходится переключаться попеременно в сновидения, галлюцинации, физическую реальность. Все не просто перемешано, но зыбко, расплывчато, перетекает одно в другое, сливается в поток неукротимых событий, исключающих мгновение замедления, чтобы опомниться. Автор достигает подлинного мастерства. Повествование и захватывающе и реально, фантастика представлена в необходимых микроскопических дозах, но это капли эликсиров, волшебного преображения искусства в магию реальных восприятий...

Гофман сам боялся безумия. Но патологические отклонения были лишь переживанием пограничных состояний. Благодаря особенностям нервной системы получился особый психический опыт. Из бессознательного вторгались разрушительные импульсы... в конце концов, он справлялся с ними. Ядро личности - разумность - сохраняло прочность. Не патология владела им, но он патологией, включая ее в сферу рационального опыта и наблюдений.

Важное ощущение двойника не шизофрения; но по проявлениям этого ощущения он мог составить себе представление о свойствах шизофренического раздвоения, о характерном для некоторых душевных болезней разладе между волей, намерением и поведением. В тюрьме монаху снится, будто его привлекают к суду инквизиции. 'Я хотел с полной откровенностью рассказать о том, что учинил греховного и преступного, но, к ужасу моему, слова мои не имели ничего общего с моими мыслями и намерениями. Вместо чистосердечного покаянного признания я пустился в нелепые, несурзные разглагольствования'. Ему грозят пыткой. Сознаться, значит, избежать ее, ведь он действительно виновен. Но он ведет себя так, словно им управляет какая-то скрытая в глубине его существа чуждая сознанию сила, действующая вопреки разуму, интересу, пользе, ясному внутреннему волеизъявлению. 'Я снова попытался высказаться, как глубоко я раскаиваюсь. И снова жестокий разлад между моими намерениями и словами... Я говорил, раскаиваясь в душе во всем, испытывая гнетущий стыд, но все, что произносили губы, было плоско, бессвязно, бессмысленно'.

Характерно, что здесь представлен лишь опыт сновидений. В бодрствующем состоянии Гофман, по-видимому, такого за собой не наблюдал. Яркое художественное проявление безумия тоже представлено во сне: 'Мне захотелось пропеть гимн во славу святого, но меня то и дело яростно перебивали; пение мое перешло в дикий вой...'

Монаха освобождают, а в тюрьму вместо него попадает из сумасшедшего дома его двойник, помешанный, признающийся во всех преступлениях. Казалось бы, все сложилось благополучно. Но безумие есть сон разума. Безумие лишь затаилось, оно не прекратилось. Дальнейшее происходит как во сне. Реальность захлестнуло волной помешательства. Реальность, как тонущий корабль, заливают потоки абсурда. Все погружается на дно. Двойное помешательство связанных между собой двойников ввергает все в иступление, дикость, безумную жуть... Когда того, другого, везут на казнь, мнимый капуцин хохоча и завывая, вызывает, провоцирует монаха. 'Ужасный человек, чего тебе надо... чего тебе надо от меня?'. Монах не в силах с собой совладать. 'Стремглав бросился я вниз по лестнице, пробился сквозь толпу к телеге, схватил монаха и швырнул его наземь; но тут меня крепко схватили; я стал вырываться, размахивая во все стороны ножом... свободен... я размахиваю правой рукой, в которой зажат нож, а левой бью куда попало... вот уже я пробился к стене парка, что возвышалась неподалеку, вот чудовищным прыжком перемахнул через нее. ...Слышу позади грохот; это взламывают запертые ворота парка... бешено несусь вперед. Широкий ров между парком и лесом... могучий прыжок с разбегу - и я на той стороне!.. не останавливаясь, бегу, бегу через лес и, наконец, падаю в изнеможении под деревом. Была уже темная ночь, когда я очнулся... В голове, как у затравленного зверя, только одно: бежать! Я поднялся, но едва я сделал несколько шагов, как

зашелестели кусты, из них выскочил человек, прыгнул мне на спину и цепко обхватил руками за шею. Я отчаянно пытался сбросить его с плеч... бросался на землю и катался по траве или, разбежавшись, стремился с размаху размозжить его об ствол дерева, все напрасно! А человек то хихикал, то глумливо хохотал; но вот луч месяца прорвался сквозь темные ели, и я узнал мертвенно-бледное отвратительное лицо монаха... он устремил на меня в упор омерзительный взгляд, совсем как этим утром с телеги... Хохотал и выл этот жуткий призрак, а я, подхлестываемый ужасом, высоко подпрыгивал, будто обвитый кольцами исполинского удава тигр!.. (Фридрих Ницше 'почему-то' пишет о тиграх, расплюснутых гигантскими змеями...). Разъярясь, я колотился спиной о стволы деревьев, о скалы - если и не размозжить его, так тяжело ранить, только бы он свалился с меня! Но он лишь громко хохотал, и я один страдал от ужасной боли; я пытался разжать его руки, крепко вцепившиеся мне в шею, но чудовище с такой силой сдавило мне горло, что я чуть не задохнулся. Наконец, после отчаянной борьбы он вдруг свалился с меня, но едва я пробежал несколько шагов, как он снова вспрыгнул мне на спину и, хихикая, заикаясь, бормотал все те же страшные слова. Новое напряжение сил, новый прилив дикой ярости, и я вновь свободен! Но вот опять душит меня этот ужасный призрак... Я не в силах определить, сколько времени я бежал, преследуемый своим двойником, бежал через мрачные леса, без еды, без питья, бежал, как мне казалось, многие месяцы!..

Его нашли в беспмятстве, голого... Предел.

Из непроглядной тьмы постепенно возникало ядро индивидуальности... Светящиеся точки раздробленного самоощущения закружились вихрем, возник пламенный круг, '...по мере ускорения он все сжимался... принял вид как бы неподвижного огненного шара. Из него вырывались раскаленные лучи, и они метались и скрещивались...'

Монах очнулся в психической лечебнице. Рядом с ним сидел Белькампо, спаситель. Словно салют избавления из тьмы, рассыпается фейерверк гофманических парадоксов. '...Как попал я сюда, ваше преподобие, как же я попал бы сюда, если бы меня не выбросил, не вышвырнул злой рок, преследующий всех гениев!'. Излюбленные, облюбованные мысли, на кои великий Фридрих положил глаз, прихлебывая эликсиры Гофмана... '...И да будет тебе известно, Медардус, что я воплощенная глупость и повсюду следую за тобой, то и дело выручая твой рассудок; признаешь ты это или нет, но только в глупости ты обретаешь спасение, ибо твой рассудок сам по себе нечто весьма жалкое, он еле держится на ногах, шатается во все стороны и падает, будто хилое дерево; другое дело, когда находишься в обществе глупости, уж она-то поставит его на ноги и укажет верный путь на родину, то есть в сумасшедший дом, куда мы с тобой в аккурат и угодили, братец Медардус. ...На земле глупость подлинная повелительница умов. А рассудок только ее ленивый наместник, и ему нет дела до того, что творится за пределами королевства; он лишь скуки ради велит обучать на плацу солдат, которые, когда враг вторгнется в страну, и выпалить-то из ружья как следует не умеют. Но глупость, подлинная повелительница народа, отправляется в поход с трубами и литаврами - ура! ура!.. За ней валит восторженная, ликующая толпа... Вассалы выходят из своих замков, где их удерживал рассудок, и не желают более стоять, сидеть и лежать по указке педанта гофмейстера; а тот, просматривая список, бурчит: 'Полюбуйтесь-ка, лучших учеников у меня отвела, увела, с ума свела глупость'. Это игра слов, братец Медардус... но игра слов, это раскаленные щипцы в руках глупости, которыми она завивает мысли... Да... я прекрасно сознаю, что бываю изрядным сумасбродом, но на меня хорошо действовала атмосфера сумасшедшего дома, пагубная для людей, находящихся в здравом рассудке. Я уже начинаю разбираться в себе самом, а это, право же, неплохой признак. Если я вообще существую лишь потому, что сознаю себя самого (Рене Декарт: мыслю, значит, существую. - авт.), то стоит мне отвергнуть безрассудство, в кое облакается мое сознание, как в шутовской наряд, и, чего доброго, я сойду за солидного джентльмена... Шутовство, это щит от безумия, и смею вас заверить... что я даже при норд-норд-вест прекрасно отличаю церковную колокольню от фонарного столба...'

Именно в таком роде сверкал ум Гофмана на приятельских пирушках...

Медардус мнит, что исцелился... 'Эх, ваше преподобие! ...Много вы от этого выиграли! Я имею в виду известное духовное состояние, именуемое сознанием, его можно уподобить зловредной суетне проклятого сборщика пошлин, акцизного чиновника, оберконтролера, который открыл свою контору на чердаке и при виде любого товара, предназначенного на вывоз, заявляет: 'Стой... Стой!.. вывоз запрещается... остается у нас в стране...'. И алмазы чистой воды зарываются в землю, словно обыкновенные семена, и из них вырастает разве что свекла, а ее требуется уйма, чтобы добыть всего лишь несколько золотников отвратительного на вкус сахара... Ай-ай-ай! А между тем, если бы товар вывозить за границу, то можно было бы завязать сношения с градом господним, где все так величественно и великолепно... Всю мою так дорого обошедшую мне пудру... я швырнул бы в глубокий омут, если бы благодаря транзитной торговле мог получить с неба, ну, хотя бы пригоршню солнечной пыли, чтобы пудрить парики высокопосвященных профессоров и академиков, но прежде всего свой собственный парик!.. А впрочем, что это я говорю? Если бы мой приятель Дамон вместо фрка блошиного цвета нарядил вас, преподобнейший из преподобных, в летний халат, в котором богатые и спесивые граждане града господня ходят в нужник, да, это действительно было бы, в нарушение приличия и достоинства, совсем иное дело; теперь же свет принимает вас за простого glebae adscriptus (крепостного. - лат.) и считает черта вашим cousin germain (двоюродным братом. - фр.)'.

На этом интеллектуальный заряд романа оказался исчерпан. Повествование снижается в готический мелодраmatизм, который хотя накаляется до религиозной экзальтации, но не в состоянии возместить сведенное на нет интеллектуальное содержание, явно теряя в глубине.

Монах пришел в итальянский монастырь и начал покаяние, которое мало отличается от беснования. Жуть изуверского аскетизма и самоистязаний. Ему снятся кошмары. 'Вся потеха преисподней выплеснулась наружу'. Верная примета. Ведь карнавал возник из вакханалии, которая была чествованием богов преисподней, и в пародийном смысле сохранил свое значение даже в средние века, как пляска вместе ночными демонами, заодно с ними высмеивая святых и церковь. Вроде бы показано, как кривляются черти, сатиры, но настолько вольно, что заигрывание с адом становилось двусмысленным... Среди прочих сновидений явилась ему молодая баронесса...

'Чего тебе надо от меня, окаянная? Не властен надо мной ад!'. Тогда она распахнула мантию, но вместо ее пышного тела он увидел скелет, в коем кишели змеи... Готическая вариация Медузы Горгоны...

Монах был принят папой римским. Чем навлек на себя зависть.

Некий аббат упрекает его в смехе, застав возле кукольного театрала на рынке. На что проявляется гофманическая протоницщанская гордыня монаха: 'Поверьте, господин аббат... что у того, кто был отважным пловцом по бурному океану жизни, никогда не иссякнут силы; он вынырнет из беспроектной пучины и снова мужественно поднимет голову'. Из театрала ему вторит Белькампо: 'Скажу вам, дорогой мой капучин, что я вас так нежно люблю главным образом за ваше возвышенное сумасбродство; и вообще нахожу полезным, чтобы любой сумасбродный принцип жил и процветал на земле так долго, как только возможно; оттого я спасаю тебя от

смертельной опасности всякий раз, как ты на нее беспечно нарываешься'.

Гофман за сумасбродный принцип гордого романтического дерзания. Но нагнетаемая в финале религиозная экзальтация не имеет ничего общего с романтическим бунтарством, а является патологической деформацией психологического слома, фальшивым самовозничиванием истерического юродства, оставляя неприятное, безобразное ощущение некоего пароксизма...

Роман мыслился глубоким, серьезно музыкальным, но мелодраматическая фальшь обернулась невольным комизмом в самых патетических местах. Сбывается сон: монаха приглашают на суд инквизиции; но не в качестве подсудимого, а исповедника; голову рубят другому. Ему же предлагают выпить вина; он лишился чувств, видя страшную казнь. Подозревая, что в бокале яд, монах выливает вино в рукав сутаны - испытанный прием! Никто не заметил. Но яд был такой, что рука была сожжена. А что было бы если б выпил?..

Подобные приемы надо отнести к вздорным нелепостям. А все потому, что мелодраматизм в самовозничивности теряет последнюю меру правдоподобия, игнорируя реальность, всякий здравый смысл. Подобное повествование требует читательского простодушия и доверчивости, граничащих с идиотизмом.

Экзальтация романа вздымается все выше, а интеллектуальное содержание снижается все ниже. Экстатическое самовозбуждение религиозного исступления лишь усиливает впечатление умственного упадка, нарастания скудоумия.

Почему Гофман не сократил роман? Гульдены...

Монах болел и еле выжил. Прежде чем интеллектуальный свет в романе совсем погас, в его видениях, бреду и сновидениях последней искрой вспыхнула гениальность: 'Но когда я почувствовал себя окончательно разобщенным со своим умершим 'я', то убедился, что я всего лишь несущественная мысль моего собственного 'я' '.

Далее автор был уже не в силах совладать со своей экзальтированной эмоциональностью. Оставалось молиться во сне: 'Господи, спаси меня от темных сил, готовых ринуться на меня из открытых врат ада!'. Но демонические силы ринулись и ввергли повествование в окончательное умопомрачение.

Капуцин пошел назад в монастырь. Возле замка былых преступлений крестьянин рассказал ему, здесь убили монаха, и попросил преподобного помолиться за него. Монах пояснил: молиться незачем, мол, он самый капуцин и есть. Крестьянин кинулся прочь в лес, ломая ветки. Комизм напоминал рассказ Чехова 'Пересолит'.

Гофман полагал необходимым поведать, какие приключения постигли монашескую сутану, откуда она вернулась к Медардусу. Сие очень важно, захватывающе, но главное, глубокомысленно и до дрожи мелодраматично. Сутана словно соткана из нитей судьбы. В ней в самый раз во фрак финала.

В финале романа все окончательно, как в плохом романе.

Приор, оказывается, все знал! Сведения получал. Следил. Белькампо был агентом.

Настоятель монастыря поведал блудному монаху, что инквизиторы следили за ним, когда он пил вино, 'глазами Аргуса'. И не уследили! Вино попало в рукав сутаны! 'Взгляните же, - воскликнул я и, засучив рукав сутаны, показал... иссохшую до кости руку. Леонард отшатнулся при виде высохшей, как у мумии конечности...!'

Сходная сцена в 'Сатириконе' Петрония, там собеседник тоже отшатнулся, когда ему показали... хотя несколько иное... И здесь иссохшая рука намекала на то же самое, разве что произошла символическая инверсия в манере религиозного аскетического изуверства.

Гофман отвел множество страниц многозначительному раскрытию ничтожной интриги. Жуть становилась все нелепее и все смешнее. Из рассказа помешанного Викторина о сражении с двойником Медардусом: 'И когда мое второе нелепое 'я' непременно захотело вечно питаться моими мыслями, я швырнул его наземь, хорошенько вздул и отобрал у него всю одежду'.

Вроде бы исповедь безумного перед кончиной. И что же?.. 'Спустя час, когда уже заблаговестили к заутрене, он вдруг вскопчил с пронзительным криком и, как нам показалось, упал бездыханным. Я велел отнести его в покойницкую, чтобы после предать его тело земле на освященном кладбище; но можете себе представить наше изумление, наш ужас, когда мы обнаружили перед самым выносом и погребением, что тело его бесследно исчезло'. Сатана побрал или сам убежал? Приор полагал, умер... Следовательно, похитил диавол...

Собственное воображение действовало на Гофмана очень сильно, захватывающе; он почти верил даже во вздор, замирая: а вдруг...? В романе: 'Меня захлестнула такая пестрая сумятица образов, что можно было ожидать чего-то очень страшного'.

Все рвутся в монашество и покаяние. 'Аврелия должна была покинуть свет и, подобно мне, дать обет отречения от всего земного, обет, казавшийся мне теперь порождением религиозного помешательства...'. Оказывается, бывает помешательство и такого рода. Но на нем Гофман заквасил фабулу. В сем мракобесии понятней глубокий смысл слова 'свет': покинуть свет, значит, предпочесть темноту. Пожалуй, монастырское заточение подходит как раз больным и слабым духом, надломленным всякого рода. Сие разновидность психолечебницы, приют спасающихся от жизни. Абсолютизация религиозного выбора есть психологический пароксизм, оцепенение мысли в судорогах безумия. Не всем такое состояние приемлемо.

Медардус очень переживает. Кончает с бессмысленно нелепой тяготиной 'покойник' Викторин: выскочив, закалывает новую монахиню кинжалом. '...Монахи помоложе, схватив стоявшие в углу древки от хоругвей, устремились в монастырские коридоры вслед за чудовищем'. Хотя древки от хоругвей намекают на нечто патетическое, но так и хочется сказать: с дреколем... А то, что дреколья стояли в углу, тоже символично: символы неосуществленных земных вожделений, погребенных в монастыре... С ними они и хотят настичь чудовище: чем я тебя породил, тем и убью... Вполне логично, согласно логике неистовства, исступления, помрачения, беснования и абсурда.

На самом деле чудовище здесь вовсе не Викторин (не из сего ли слова нищевская ирония произвела 'моралин?'); чудовища по нелепости сама интрига, и винить кроме автора некого.

Фабула, задуманная в примитивной модуляции идиотически простодушной наивной религиозности, ничего кроме вырождения всякого смысла не могла продемонстрировать. И совершенно закономерно разрядилась скудоумным идиотским финалом.

Фабула, подобно Викторину, низринувшемуся на самое дно интеллектуального провала, после выкарабкавшегося из горного ущелья - одичавшая, ошалелая, очумелая, с всклокоченными волосами и безумными глазами - начинает бесноваться и крушить всякий смысл, ничего не понимая и лишь воя в исступлении...

В конце концов все подробности задуманной им фабулы находят своего рода разъяснение, если позволено подобное слово к самому благонамеренному мракобесию. Но экзальтация самовосторженного самоубеждения и лицедейства погрязает и тонет в болоте пошлости. Концы сведены с концами, но какой ничтожный жалкий

результат...

Гофман ставил задачу показать тайные связи, что сокрыты всюду в природе и способны блеснуть лишь иногда, в поразительных совпадениях; а у него столько совпадений, настолько ими перенасыщено повествование, что вместо трагедии рока выходит фарс. На сцене не одно, а сто ружей... Вдруг они, одно за другим, начинают палить, и вся музыка судьбы тонет в беглом треске. И палят все солью. И каждый выстрел попадает персонажам в филейные части, так что они корчат невероятные гримасы и скачут иступленно в дикой пляске. Они пытаются убежать от судьбы, но везде их настигают меткие выстрелы солью, в самый патетический момент: когда они разохотились как павианы. В религиозном смысле очень поучительно. Но как-то не вяжется весь этот беглый треск с мрачной темой судьбы...

Гофман, который и в собор-то никогда не заходил затем, чтобы помолиться, а лишь хоралы, мессы, fugи послушать, в финале романа, прозревая мистику, настолько проникся артистически восторженным ощущением религиозной святости, что - мало того, что Медардуса покаянного вернул в монастырь - в какой-то дикой экзальтации постиг откровение свыше, что в монахи должен поступить также мим и шут Белькампо, кривляка и лицедей. Вот это хорал! Вернее, финал. Конец всему... Монах-шут..! Йорик-Белькампо. Апокалипсис интеллектуального расслабления.

Никак в мистику проник господин Подвох?..

Роман в музыкальном отношении виртуозно скомпанован. Слов нет. Виртуозный финал: в fugи-вуги. Пляска скелета Йорика с монахом Белькампо, Гофмана - с Фридрихом Ницше, напившихся дьявольских эликсиров.

Эликсиры же были настояны на экзальтации.

Происходят экстазы. А они коварны. Исподволь могут подвести под литературный монастырь. Несуветный вздор переносится на бумагу потому, что в экстазе теряется всякое чувство меры и вкуса. Сплошной восторг по поводу восторга.

Гофмана подвела натура. Безразмерность, разверзается и поглощает финал.

Вместе с финалом проваливается во мрак средневекового подземелья и весь роман. Получилось как у любимого автором Шекспира: 'Сейчас пора ночного колдовства, / Скрипят гробы и дышит ад заразой'.

Нагнетаемая готическим экстазом тьма мракобесия поглощает все положительные стороны повествования. И хотя положительными сторонами роман опережал свое время, читателю нелегко было выделить их из нагромождения нелепостей.

'Эликсиры сатаны' не имели успеха, равно как и первый том 'Ночных рассказов'. Рецензий было мало даже критических. 'Всеобщая литературная газета' (? 179 за июль 1817 г.) писала: стремление автора 'при помощи разнообразной призрачной чертовщины навести ужас на читателя' не достигло цели; публика оказалась 'не столько уж доверчива'.

Сам Гофман писал: 'Всякая попытка нагромоздить без толку и смысла ряд сверхъестественных нелепостей, вроде превращения паяца в рыцаря и т.п., что, к сожалению, мы видим нередко, всегда покажется холодной и пошлой, не вызвав ни малейшего сочувствия'. Подобный прием не слишком отличается от превращения паяца в монаха...

Почему же Гофман допустил такой акробатический перекувырк возле алтаря под звуки торжественного хора...?

В совокупности его способностей наблюдался сдвиг в сторону экзальтации, наклонности к восторженному перевозбуждению; отсюда неадекватная взвинченность, вызывающая наваждения, сомнамбулические экстазы по поводу мелкого и ничтожного, потеря ощущения соразмерности явлений и вместе с ним - вкуса.

'Поверьте мне, я глубоко презираю жалкие продукты досуговой фантазии, выдуманные для забавы праздной толпы, где без конца появляются нелепые духи и чудеса громоздятся на чудеса без всякой связи и толку'. Сие разумное рассуждение осталось пустой декларацией, едва перед Гофманом забрезжил призрак 'музыкального романа'. Смутный экзальтированный порыв мнил ему 'музыкальностью', что привело к интеллектуальным провалам в замысле интриги и разработке фабулы.

Гофман пытался подменить роды искусства, литературу - музыкальностью, 'бесконечным несказанным томлением'. В результате просто смешал литературно-драматические жанры. Перепутал трагедию с мелодрамой. Потому что в результате подмены мыслил роман как оперу. Мелодраматический эффект получился закономерно, ведь опера по сути мелодрама.

Но правило всяких пиришеств, литературных и прочих, не смешивать разнородных эликсиров... Чтобы не оказаться смешным, когда вам захочется произнести патетическую речь... Смешав слишком несходные ингредиенты, вы рискуете нечленораздельно вырывать свою патетическую речь или мычать ее, вместо того, чтобы произнести нечто осмысленное; или даже хрюкать, а то и вовсе свалиться под стол, как случилось с хоралом 'Эликсиров сатаны', хотя вам будет казаться, что вы парите в экстазе.

С позиции магического реализма Гофман опустился в характерный немецкий романтизм. Стал похож на прочих немецких романтиков: их невнятные дилетантские программы и химерические настроения вырождались в нелепые потуги.

Вдохновенные импровизации превосходны, если вы готовы выбрасывать в корзину изверженные подобно вулкану патетические глупости, как полагается гениям, оставляя лишь то, что имеет смысл и выразительную остроумную форму. Но нельзя быть рабами собственного самолюбования и собственной экзальтированной безвкусицы - графоманами, записывателями банальных откровений.

Гофман испытывал мистические ощущения, слушая музыку, входил в сомнамбулическое состояние, приобретал способность чутко присутствия невидимых духов; возникало ожидание откровения заветного входа, томление пред ним, молитвенное чувство, предчувствие неимоверного, запредельного, скорбная тоска по бесконечному, пронзительно блаженному... Но несентиментальная реальность непреложна: все сии состояния не являются знанием глубин бытия. Мистика не метафизика. В глубины бытия ведет интуиция, помимо всякого пыла. Более того, проникновение интуиции в предел реальности исключает сильные переживания. Интуитивному пониманию необходим ровный нереактивный фон созерцания.

Гофман переоценил значение переживаний беспредельного посредством звучаний. Звуки не особый праязык бытия.

Гофман смутно догадывался, что в основе прекрасного нечеловеческая глубина, нечто неимоверное. Тревожное предчувствие будоражило воображение импульсами страха, панической жути, вызывая прозрение фантанистических деформаций.

Нечеловеческая глубина готова была раздавить ядро индивидуальности, раздробить. И потому Гофман, как он сам писал, '... принял человеческое начало за основу, которой надо держаться, спасаясь от пустоты бесформенного хаоса'. Его интуиция отступила перед неведомым в человеческие формы, в понятное привычное: любовь, ненависть, неистовство, ярость. Предмет оперы мелодраматические сюжеты. Здесь царство романтического, мнилось ему. '...Сталиваются и неистово борются страсти, растворяясь в невыразимой тоске...'

Романтики полагали, будто вся проблема выразить глубину тайны заключается в способности выразить пронзительность таинственной тоски. Критерием глубины мнилась взвинченная невыразимая возвышенность. Все это привело к примитивным результатам.

Гофман: '...В опере должно быть зримо (? - авт.) показано влияние на нас мира высших явлений, и она должна раскрывать перед нами царство романтического; понятно поэтому, что язык этого мира должен быть гораздо выразительнее обыкновенного... действия и положения, выраженные могучим потоком звуков, охватывают и поражают нас с гораздо большей, чем обыкновенный язык силой'. Поток звуков проявление непрерывности и беспредельности... и напор этого потока зримо может показать только некое перенапряжение в виде мелодрамы... Нельзя все свести к возвышенному, слова к пению, то есть по сути к воплю. Слишком бедная эстетика и никакой метафизики. Смысловая выразительность языка определяется не напором вопля, а его логической внятностью.

Пением, кроме томления бесконечным, выразить нечего. Пение должно томлением создать на сцене обстановку неимоверного, чудесного, волшебного, небывальщины; вызвать предчувствие таинственных призраков. Потому что в реальной жизни, проникнутой метафизической тайной, люди не поют. Вопль есть особый театралный жест, создающий повышенный тон драматизма. Нередко он совершенно пустой, искусственный, бурлит и бушует в ткане воды.

В сущности, все эти романтические требования вовсе не есть потребность в метафизическом познании. Это потребность испытывать экзотические томления, кои не ведут ни к какому знанию.

Главный смысл в том, что царство романтизма постигается экзальтацией, коя и является истинным содержанием оперной метафизики; вернее, романтической бутафории. Нагнетая экзальтацию, которая кажется ему мистическим владением тайной, Гофман обещает 'истинно героическое звучание, внутреннюю мощь характеров и ситуаций'. И патетически вещает: 'Таинственная мрачная сила, царящая над людьми и богами, открывается здесь перед глазами зрителя, и он слышит выраженные странными вещами звуками непреложные приговоры судьбы, стоящей выше самих богов. ...Не обнаруживается ли в этом факте требование более высокого способа выражения, чем может дать обыкновенная речь?'. Если попытка вырваться из банальности смысла достигается лишь воплем из внутренней деформации, из пасти бездны, а не открытием новых логических смыслов, подобная выразительность немного стоит...

Вместо обещанной глубины 'высшими явлениями' на оперной сцене оказываются 'духи', которые должны быть выведены на ней для всяких сладострастных судорог, переживания экзотической жути - 'героического звучания'.

Пояснение: '...В опере высшие существа должны зримо воздействовать на нас; перед наши взором должно разворачиваться романтическое бытие; сам язык должен возвыситься...'

Непременное глупо наивное желание, чтобы смутная тайна стала зримой, как раз и выводит на сцену сказочную демонологию, примитивную, предисторическую. И весь глубокомысленный тон оказывается совершенно неуместным. Вся эта серьезность не более чем инфантильная боязнь темноты. Вот предмет восторга: 'Милло, убивая ворона, словно стучится в железные врата мрачного царства духов, врата со звоном распахиваются, и духи входят в жизнь людей, запутывая их в сети чудесной, таинственной, царящей над ними судьбы. А теперь подумаем, сколь же энергичные, великолепные ситуации сумел вывести поэт из этого конфликта с миром духов'. Поскольку никакого мира духов не было и нет в помине, 'конфликт' является совершенным вздором. Но насколько Гофман впал в наивность: '...Во всем этом такое величие, о котором не имеют и отдаленного представления сочинители моральных драм, роющиеся в жалком хламе обыденной жизни словно в мусоре, выметенном из парадных залов и сваленном в тачку мусорщика'. Гофман предпочел оставаться в бутафорской парадной зале с духами и общаться с ними посредством воплей - возвышенно, величественно и героически замирая в экстазах.

Романтическая невнятность в понимании задачи и средств искусства закономерно разрешилась в 'мрачных невразумительных бесформенных творениях', говоря словами самого Гофмана в 'Песочном человеке'.

Немецкий романтизм, проплутав в лабиринтах мистических экзальтаций, вернулся к тому, с чего начал: к средневековому ретро, исчерпав возможности воображения в занимательной дьявольщине и таинственных парapsихологических ноктурнах.

'Мы пытались одной фантазией, и в отместку она наполовину пожрала нас самих', писал Клеменс Брентано.

Не желая иметь никакого дела с пошлой реальностью, они замкнулись в сказочной примитивности и интеллектуальной наивности. Им казалось, будто приложившись к эликсирам средневековой идеологии, литература обретет новую молодость, озарится мистическим светом таинственности. Но они хлебнули лишнего ретроэликсира, время направилось вспять, в результате они превратились в детей. Так прокомментировал сию метаморфозу Генрих Гейне. Их артистический иррационализм и индивидуализм слился с темными страхами, предчувствиями, суевериями средневековья, и застрял в них.

Инфантильным было их отношение к свету разума и системе науки, в логических средствах им мнилась несвобода. Закрывая глаза и затыкая уши, они не замечали себя рабами сумеречных предисторических представлений и обыкновенных обывательских пошлых сплетен насчет миропонимания.

Иоганн-Пауль Рихтер против склонности к сумеречности использовал яркий намек: 'Карты земли могут быть созданы лишь благодаря картам неба: только если смотреть сверху вниз... перед нами возникает целая небесная сфера, и сам земной шар плавает в ней, кружась и блестя - при всей своей малости'.

Но ситуация романтической потерянности уже повторялась во времена барокко, когда естествознание мыслилось на равных правах с магическими бреднями вульгарного шаманизма. Это закономерная извечная историческая ситуация разрыва интеллекта и непосредственной впечатлительности. Ситуация барокко извечная гуманитарная ситуация естественнонаучной некомпетентности. Отсюда нагромождение псевдопроблем и погрязание в них.

Гуманитарная 'духовность', предоставленная самой себе, игнорируя естествознание, вечно рискует впасть в архаические, отсталые, примитивные, квазинаучные, полудикарские представления о мире.

Гейне писал, что ненависть романтиков к науке и рационализму была похожа на ненависть безумных к общему врагу - психиатру.

Немецкие романтики погрязли в причудливой, нелепой, вычурной писанине, в 'неподвластных разуму мистических смыслах бытия'. На самом деле вся эта писанина хорошо укладывалась в примитивные понятия обывателя, на потребу его скудоумных представлений о таинственном. Примитивные дикарские извечные суеверия. Демонология непроходимых лесов, пустых домов, заброшенных мельниц, кладбищ.

Гейне в знаменитой остроумной статье, посвященной закату романтизма, писал: 'Гофман... всюду видел привидений; они кивали ему из каждого китайского чайника, из каждого берлинского парика; это был чародей, превращавший людей в диких зверей, а последних даже в советников прусского королевского двора; он способен был вызывать мертвецов из могил, но сама жизнь отталкивала его от себя, как мрачное привидение. Ахим фон Арним... вызывал еще более жуткие привидения, чем Гофман. ...При взгляде на самого Гофмана мне подчас казалось, что его сочинил Арним. Когда Гофман вызывает своих мертвецов и они встают из могил и пляшут вокруг него, тогда сам он содрогается от ужаса, сам пляшет среди них и корчит при этом самые безумные обезьяньи гримасы. Но когда Арним вызывает своих мертвецов, то кажется, что это полководец производит смотр, и он так спокойно сидит на своем высоком белом призрачном коне и пропускает мимо все страшные полки, а они испуганно смотрят на него снизу вверх и как будто боятся его. Он же приветливо кивает им головой'.

Подобной художественной ситуацией завладевает логика бреда; это уже что-то параноидальное, на грани безумного хохота. Вот один из сюжетов. Персонаж в почтовой карете. '...Мертвец в медвежьей шкуре, вышедший из могилы, чтобы заработать несколько дукатов, и нанявшийся в услужение на семь лет. Это жирный труп в плаще из белой медвежьей шкуры, от которой он получил свое прозвание. Однако он всегда мерзнет'. Бред, переходящий в занудное извращение. Пожалуй, вопрос о глубоких истинах здесь уже не встает. Остается лишь выяснить, насколько это увлекало; развлечение ли это? Более или менее здравомыслящий читатель, наконец, спрашивал: 'Вы в это верите? В реальность этих существ? Ах, вы меня хотели развлечь! А мне, признаюсь, скучно. До каких пор, господа романтики, будете вы продолжать громоздить этот вздор?'. Вот что подрывало изнутри поздний романтизм. Увлечшиеся литераторы сами начинали задаваться вопросом: что все это значит, кроме беспомощности и неуверенности перед реальностью..?

Переход в диковинности, завитушки есть признак истощенности метода и кризиса миропонимания. Возобладало странное, неправдоподобное - что бывает лишь в пустых книгах и занимательных бреднях. Смысл же бытия потерялся в запутанности направлений взгляда, позиций наблюдения и истолкования.

Проблема потери коррекции видения своеобразно отразилась в новелле Гофмана 'Песочный человек'. Знакомство главного героя с призрачным злодеем, чернокнижником, чертом Коппелиусом предваряется страшной сказкой о Песочном человеке: непослушным детям, которые не хотят засыпать, он швыряет в глаза горсть песка, крадет их, забирает на луну, где совы выклеивают им глаза. Страх за свое зрение, страх неведомой дьявольской силы, преследует главного персонажа; преследует его, словно оправдывая этот страх, призрачный колдун Коппелиус, наводя на него ужас безумия. Адское существо принимает личину продавца барометров Джузеппе Копполы; барометры есть гофманический символ перемены настроений. Однажды Песочный человек является к студенту Натанаэлю с оптическим товаром. 'Я не покупаю барометров, любезный, оставьте меня!'. Но тут Коппола совсем вошел в комнату и, скривив огромный рот в мерзкую улыбку, сверкая маленькими колючими глазками из-под длинных седых ресниц, хриплым голосом сказал: 'Э, не барометр, не барометр! - есть хороши глаз - хороши глаз!'. Натанаэль вскричал в ужасе: 'Безумец, как ты можешь продавать глаза? Глаза! Глаза!'. Но в ту же минуту Коппола отложил в сторону барометры и, запустив руку в обширный карман, вытащил оттуда лорнеты и очки и стал раскладывать их на столе. 'Ну вот, ну вот, - очки, очки надевать на нос, - вот мой глаз, - хороши глаз!'. И он все вытаскивал и вытаскивал очки, так что скоро весь стол начал странно блестеть и мерцать. Тысячи глаз взирали на Натанаэля, судорожно мигали и тарасились; и он уже не мог отвести взора от стола; и все больше и больше очков выкладывал Коппола; и все страшней и страшней сверкали и скакали эти пылающие очи... Объятый неизъяснимым трепетом, он закричал: 'Остановись, остановись, ужасный человек!' '. Проклятый двойник и выходец с того света Коппелиус подсовывает ему не столь призрачное, как очки: подозрную трубу, тоже вытащив несколько штук из кармана, на выбор, - не менее коварный дар... Посредством этой трубы студент восхищенно влюбился в механическую куклу, манекен, самодвижущийся, заводной; тут смутная догадка, что в экзальтации есть некая искусственность внутренней навязчивости, тяготение к автоматизму, маниакальность, проявляющаяся в своеобразном педантизме. Не в силах совладать со всеми наваждениями и безумием, студент, в конце концов, погибает из-за неспособности различить самообман наваждения и реальность. Гофман изобразил здесь положение, в котором оказался поздний романтизм, заблудившийся в смысловых туманностях инстинктивного индивидуализма.

Рассудочные попытки обоснования тождествами относительно невнятных предметов в сочинениях специалистов по трансцендентному, как Шеллинг и Г.-Г.Шуберт, ничего не обосновывали, за исключением самолюбования наплетенной в тумане и сумерках паутиной. Совы философии не могли внятно истолковать, что же им видится во тьме.

'Сова Минервы начинает свой полет ночью', сказал Гегель. Полет сей, вероятно, внушал восхищение, жуткое и трагическое чувство. Филины и совы не могли охватить распавшийся смысл бытия.

'Страшная великая мельница вселенной', выразил впечатление многих И.-П.Рихтер. На заброшенных мельницах водятся черти, ведьмы, вурдалаки, лешие, кикиморы...

Романтизм оказался захвачен кризисным мировосприятием. Свет загнал призраков тьмы в густые дебри, но не истребил их. Обновления человеческого рода не произошло. Сияющие дворцы свободы обрушились, сверкая среди ландшафта бесформенной грудой.

Разум призван '...подавлять и держать в узде беснующегося в человеке зверя', но это не очень получается. Вот о чем Гофманов роман. Человечеством управляют низменные инстинкты; история непредсказуема, катастрофична, бессмысленна...

'Что же осталось... после того, как обрушился внешний мир? Осталось то во что рухнул мир внутренний. Дух сошел внутрь себя, вглубь своей ночи...' - романтический пессимизм, в истолковании И.-П.Рихтера. Гофман перенес этот символ в повесть 'Майорат' - в 'Ночных рассказах'. Астрономическая или астрологическая обсерватория рухнула внутрь себя, обвалилась в собственное подземелье...

Поздний романтизм правильнее назвать романтическим вырождением в барокко. Повторением сходных черт. Восприятием барочных художественных форм.

Вычурность, причудливость и диковинки - признаки стиля барокко - вообще характерны для времен неуверенности и пессимизма, разрушения иерархии ценностей, неверия в возможности разума победить темные инстинкты и социальный хаос.

Барокко возникло в похожих исторических условиях: подавления ренессансной свободы, политической и религиозной реакции, разложения религиозной догматики, запутанности нагромождения схоластической учености. Знания о мире представлялись суммой поверхностных комбинаторных механических сцеплений. Научность не шла далее классификаций и каталогов. Тайна бытия непостижима; иерархическая система знания невозможна. Каталог – лабиринт мышления.

Смысл бытия был потерян. Не просматривалось исторической перспективы. Повседневность представлялась ничтожной суетой, отходами поверхностного скудоумия. Мир вызывал отчаяние и презрение своим глумлением над благородством и неподдельностью. Пляска над бездной, гофманический карнавал кривляния вырождков, парад адских масок...

Все напоминало Босха и Брейгеля. А навязчивые мысли о неразличимости сна и яви вполне были созвучны 'романтическому' Кальдерону. Ночные сумеречные настроения, прислушивание к иррациональным импульсам... Смешалось прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное... И почему бы было Гофману не громоздить трупы в замке Ф., если вдохновлявший романтиков Шекспир не скупился наваливать трупы на сцене... Развлекательность для посредственности, заполонившей все массы.

Исторически внутренняя поэтика романтизма иссякла. Поздний романтизм слился с барокко, литературой смятенного разума, грез наяву, причудливых фантазий, растворился, потерял особенность. Это была квазиромантическая бутафория: мешанина вульгарной мистики, банальной эклектики плоских сюжетных ходов, приспособленных к невнятным понятиям и безвкусице массового читательского спроса. Местами остроумная, литература романтикобарокко вливалась в море бульварной продукции низкопробного свойства. Не избежал этой тенденции и Гофман, все более становясь коммерческим писателем. 'Произведения вицеголовы', самоиронизировал он, признавая, что лепит поделки ради денег.

Романтизм был серьезным способом выражения, модой, глупостью и пошлостью своего времени. Но в истории ничто не попадает даром, разложившееся служит материалом.

Подобно тому, как барочная энциклопедичность, пестрая копилка схоластических словосмыслов, перемешанная с фантастикой сказок, сплетен и суеверий, логики с риторикой, биологии с демонологией, химии с алхимией, астрологии с астрономией, гипноза с колдовскими заклинаниями, недомыслия с опытом была преодолена в просветительской Энциклопедии наук и ремесел, так бульварный романтизм, запутывая авантурные сюжеты в мелодраматических и фантастических нелепостях с психологическими догадками и остроумными эскападами, породил гениев: Гоголя и Достоевского.

И один и другой относились к Гофману серьезно; тоже пользовались авантурными, карнавальными сюжетами.

...Оперная карьера завершилась фатальным пожаром театра в июле 1817. Писатель воспринял увиденное как грозную волю судьбы. Из-за жара пламени в его собственной квартире лопнули все стекла, с оконных рам и дверей текла масляная краска; едва удалось спасти свое жилище; зрелище собрало весь Берлин; в темноте полыхающий театр напоминал дворец саламандр из его оперы.

В конце ноября Гофман пришел в себя; наблюдая из окна почернелое здание театра с обвалившейся крышей, он писал Адольфу Вагнеру вполне юмористически. 'Я мог бы рассказать вам, как во время пожара в театре, расположенном на расстоянии всего 15 – 20 шагов от моего дома, мне грозила явная опасность; ведь крыша квартиры уже, можно сказать, горела; более того – пошатнулся государственный кредит, ибо когда загорелась кладовая и 5 тысяч париков взлетели на воздух, парик Унцельмана из 'Деревенского цирюльника' парил над зданием банка, словно опасный огненный метеор, – впрочем, обо всем этом волшебник расскажет вам устно, добавив, что оба мы – я и государство – спасены. Я – благодаря мощи трех пожарных насосов, шланг одного из которых я перевязал шелковым фартуком жены, государство – благодаря отважному гвардейскому егерю на Таубенштрассе, который, после того, как множество насосов безрезультатно нацелены были на поднимавшийся *ad altiora* (ввысь. – лат.) парик, метко сбил помянутое чудовище из ружья. Смертельно раненое, свистя и шипя, оно грохнулось в нужник питейного заведения Шонерта. После этого облигации государственного займа немедленно поднялись! Чем не матерьял для эпоса? Возможно, вы смогли бы создать его на подобном материале, для этого, однако, необходимо точно знать внутреннее расположение заведения, а посему прилагаю небольшой рисунок, который точно передает основные пропорции'.

Сатира. Изящный цинизм и остроумный фарс. Насосы, направленные на метеор, прозрачно напоминали тушение пожара Гулливером...

Но, несмотря на юмор, задетый злокозненностью судьбы, Гофман стал много пить... Начиная с той осени проводил ночи в питейных заведениях, внутреннее расположение которых так хорошо знал. Компанию знаменитому сатиру составляли актеры, журналисты, критики, чиновники, офицеры. Особенно сдружился он с талантливейшим актером Людвигом Девриентом, прозванным берлинцами Фальстафом; ему тоже было известно ощущение двойника... Местом пиршеств вольный клуб гофманического остроумия избрал кабачок Люттера-Вегнера, скоро заслуживший сомнительную славу притона Калло-Гофмана; воздух погребка был пропитан табаком, винными парами и сотрясаясь разбойничьим гоголем пьяной богемной ватаги. Поговаривали небезосновательно, что ближе к полуночи демонический государственный советник приказывал собутыльникам затаскивать в винный погреб случайных прохожих, заставляя их напиваться до полного изумления.

Весной Гофман сломался – заболел... Тиф, подагра, понос, жестокие боли в суставах, лихорадка, бред, горячечные фантазии... из коих возник великолепный замысел 'Крошки Цахеса'. Хитциг приходил каждый день, Гофман рассказывал ему: 'Подумайте только, что за проклятые мысли лезут мне в голову. Отвратительный глупый уродец делает все наоборот, а если у кого-то случается что-нибудь особенное, необычное, то это сделал он. Скажем, прочитает кто-нибудь в обществе прекрасное стихотворение – его начинают прославлять как автора – он принимает похвалы; и так всегда... Или, например, другой, у которого есть сюртук: только он его наденет, как рукава становятся слишком короткими, полы чересчур длинными'.

Врачи прописали ему всяческую умеренность и поездку на воды. Однако не получилось. Он так хорошо замещал своих коллег во время отпусков два года подряд, что его оставили заместителем и на третий. Хитциг, видя, что врачи с ним заодно, постарался выволить друга из лап Фальстафа, полагая, что тот плохо на него влиял.

Весьма кстати вернулся из кругосветного путешествия на русском бриге 'Юрик' романтик и натуралист Адальберт фон Шамиссо, загорелый, переполненный впечатлениями, рассказами. Привлекли его, личного врача Гарденберга – остроумного фон Корефа, нескольких приятелей, и создали литературный кружок 'Серапионовы братья'.

Поскольку в сказке министра Циннобера приняли за обезьяну, Гофману нужно было кое-что уточнить относительно классификации подобных министров. Научный запрос он послал Шамиссо, как человеку, много повидавшему...

6 ноября 1818 года: 'Уважаемый кругосветный путешественник и знаменитый естествоиспытатель! Любезнейше прошу вас дать мне следующую справку: Относятся ли так называемые цепкохвостые к виду обезьян или, скорее, к мартышкам? Как среди этого вида цепкохвостых называется особая разновидность, отличающаяся редкостным уродством, по классификации Линнея или какой-нибудь еще? Мне нужен именно такой субъект! Не могли бы вы, уважаемый друг, здесь ниже приписать все необходимое?'

Оказалось, эту породу обезьян с собачьими головами называли лемурами...

В конце того же года сказка была написана и представлена кружку.

Хитциг вспоминал: 'Говорил он невероятно быстро и чуть хрипловатым голосом, так что отдельные слова, особенно в последние годы жизни, когда он лишился нескольких передних зубов, трудно было разобрать... Рассказывая что-нибудь, он всегда обходился короткими предложениями; лишь когда разговор шел об искусстве, он воодушевлялся – состояние, которого он, судя по всему, избегал – речь его выливалась в длинные, красивые, закругленные фразы. Читая свои сочинения, литературные или деловые, он такой скороговоркой произносил несущественные места, что слушатель едва мог уследить за смыслом; зато те места, которые в живописи называются подмалевками, он выделял почти с комическим пафосом, складывая при этом губы в дудочку да еще осматриваясь вокруг, чтобы удостовериться, все ли поняли. Этим он выводил из терпения и свою публику, и самого себя. Сознывая, что читает нехорошо из-за помянутой привычки, он бывал необыкновенно рад, если кто-нибудь другой брался за такое дело; впрочем, это было довольно рискованным предприятием, особенно когда речь шла о рукописях: ведь любое неверно прочитанное слово, даже нерешительный взгляд, брошенный на неразборчиво написанный текст, были для него подобны удару кинжала; и он не умел этого скрыть'.

Его звал отдохнуть в свое поместье хороший писатель и путешественник Генрих фон Пюклер-Мускау. Гофман вынужден был извиниться: 'хваленый апелляционный суд прочно держит меня за полы сюжурка', и вместо себя послал книгу 'Крошка Цахес', о которой спрашивал Пюклер, рассказывая автору: на Аахенском конгрессе ходили слухи, что 'Циннобер, это настолько предел всему, что появиться на свет ему никогда не дадут'. Но жанр ее был волшебная сказка и придирается к ее скрытым политическим намекам, значило оказаться в смешном положении.

В конце 1818 вышли из печати 'Необыкновенные страдания одного директора театров', остроумное эссе по воспоминаниям о Бамберге. Отношение к этому периоду было пересмотрено. Здесь, писал Гофман, открылась гавань, где я мог хоть какое-то время спокойно стоять на якоре.

Гофманические настроения были исключительно переменчивы.

Хитциг: 'Сегодня его могло рассердить то, над чем вчера он смеялся или чему радовался. Никто лучше его самого не знал, сколь сильна была над ним власть настроения. ... Если друг хорошо его знал... он уже при появлении Гофмана в комнате мог сказать, под каким созвездием находится нынче его настроение и как следует его воспринимать, дабы избежать всплеск молний надвигающейся грозы; если с ним вели себя неправильно, последствия не заставляли себя ждать. Притворство было ему абсолютно чуждо; все всегда знали, в каком он настроении... Кто, однако, из сказанного сделает вывод, будто Гофман был начисто лишен природного добродушия, окажется неправ. Более того, он нередко проявлял таковое. Однако другие ярко выраженные особенности его характера так причудливо смешивались с проявлениями честности и прямоты, что тех, кто не знал его насквозь, он вполне мог сбить с толку'.

Хельмина фон Штези: 'Он хорошо чувствовал себя лишь в мире собственных идей, фантазий, проектов и трудов. Если он не работал, его тянуло наслаждаться жизнью. Он работал, напрягая все свои силы, и даже не сознавал, каково было это напряжение; затем он расслаблялся, и в такие мгновения все в нем и вокруг него было немым и безрадостным. Лишенный всех своих сил, он пытался как-то выйти из подобного состояния, совершая что-нибудь нелепое, и воображая, будто развлекает публику... Однажды у Хитцига, кроме его детей, собралось множество юных девушек, красивых, милых, цветущих. Гофман извлек из какого-то лишь ему ведомого домашнего закоулка винный спирт, принес из кухни несколько горстей соли и глубокую миску. Приготовив нужную смесь, он задул свечи. Как известно, даже самые румяные люди выглядят мертвецами, если их осветить такой смесью. Я громко вскрикнула от ужаса и выдавила затем глухо: 'Дети, уходите, уходите!'. Ибо иллюзия тления подавила меня, я долго не могла избавиться от увиденного. И, вместе с тем, никто не нравился детям так, как он; казалось, природа и гений одарили его самыми прелестными сокровищами, чтобы порадовать детей. Он никого особенно не ласкал, не покупал расположения; все приходило само собой, без всякой подготовки, без принуждения. И мы все внимали ему, тоже становясь при этом детьми.... Картины его были сделаны мастерски, каждая черточка дышала страстью и трепетной жизнью; они могли бы внушить страх, если бы не излучали любовь и естественную грацию'.

Хитциг: 'Черта он поминал кстати и некстати. 'Черт на все может наложить свой хвост', было его любимой поговоркой. Его вечно преследовало предчувствие тайных ужасов, которые могут вернуться в его жизнь; двойников, всевозможных жутких призраков; он в самом деле видел их перед собой, описывая их. Работая ночью, он нередко будил уже уснувшую жену; та, хорошо зная его и любя, покорно вставала с постели, одевалась и усаживалась вязать чулок рядом с его письменным столом, составляя ему компанию до тех пор, пока он не оканчивал работу. Именно потому описания такого рода были у него захватывающе достоверными, да и вообще, должно быть, мало найдется писателей, тождественных со своими созданиями в такой степени, как Гофман'.

Гофман со вкусом умел обставить свою квартиру, неустанно придумывая новое; он любил красивые вещи. Но не собрал большой библиотеки. Зато собирал марионеток; стеклянный шкаф был полон ими.

На его рабочем столе царил беспорядок. Если нужно было найти затерявшуюся рукопись или письмо, неизменно находила Миша. В служебных делах беспорядка не было.

Начальство было им довольно. Репутация безупречного делового человека. Вицепредседатель Фридрих фон Триюцлер-унд-Фалькенштейн писал в докладе министру: 'Председательствовавший здесь... во время моего отсутствия... советник Гофман... в особенности доказал, что достоин сей должности, способен прекрасно руководить целым, состоящим из весьма неоднородных частей, умело используя силу каждого. Потому что по возвращении, я вовсе не обнаружил застоя в делах. ...Выдающийся талант, проницательность и точность его работ известны вашему превосходительству, известна также их основательность и приятное словесное облачение, в котором он умеет передать даже самые абстрактные предметы. Писательские труды, которым он посвящает временами часы досуга, ничуть не умаляют его прилежания; пышная же, склонная к мягкому юмору фантазия, преобладающая в них, странным образом контрастирует с холодным спокойствием и серьезностью, определяющими его деятельность как

судьи'.

Одним словом, Гофман мог поехать на курорт. Несколько летних месяцев вместе с Мишей они провели в Хиршберге и Вармбрунне в горной Силезии. 'Письма с гор', написанные после, излучали юмор и здоровье.

'Истинная правда, обеды в галерее были так себе, можно даже сказать, то одно, то другое блюдо всякий раз оказывалось несъедобным. ...На руку хозяевам было и то, что кушаний редко хватало на всех... Иной посетитель и вовсе уходил несолоно хлебавши... Бывало и так: несколько нетерпеливых людей на дальнем конце стола узнавали, что все съедено, лишь когда кельнер собирал деньги. Удивленно глядя на него, они вопрошали, не осталось ли хоть чего-нибудь съестного. Подобные претензии здесь неуместны, все съедено, и вы обязаны заплатить, ворчал на них кельнер... ..Блюда здесь подаются так, что когда один ряд столующихся принимается за еду, другой ее уже заканчивает; процесс еды, таким образом, как хорошо поддерживаемая ружейная перестрелка, никогда не прекращается, и выглядит это весьма мило. Кельнер же нанимается лишь для того, чтобы сломя голову носиться туда-сюда за стульями, с размаху налетая то на одного, то на другого гостя, так что те рискуют свалиться под стол. Поскольку внезапный испуг обычно способствует пищеварению, новшество сие весьма похвально и производит удивительное воздействие, особенно на дам, коих грозный кельнер, носившийся вихрем по зале, развлекал еще одним, довольно забавным способом. В особые, торжественные дни он умудрялся то здесь, то там зацепиться носком башмака за оборку платья; когда же затем исчезал, волоча за собой блонды и кружева, вслед ему неслись вопли дам, возмущенные крики соседей! О, этот кельнер был замечательный человек! ...'.

И далее: '... Если когда-нибудь приедешь в Вармбрунн... насладишься великолепным, вечно меняющимся видом горы, что амфитеатром высится пред тобой. Здесь сидел я после дождя и мрачно смотрел на дымку облаков, окутавших горную грядку. Вдруг мне почудилось, будто сквозь вой и свист ветра доносится странный, глухой голос, потом показалось, что я слышу пронзительный человеческий смех. Вскоре я мог уже отчетливо различить слова: 'Перестаньте быть дураками, не тратьте усилий понапрасну! Все на свете - тщеславная суета да безумная насмешка, уж я-то доподлинно знаю. ...Безумный народ! У иного жемчужина в голове, как у старой жабы, но он осознает это не раньше, чем дивная раковина разобьется; вот тогда он запрыгает как сумасшедший, крича: кто бы мог подумать! ...Приходите ко мне в горы, я осчастливаю вас, как могу, в избытке одарю истинной глупостью, так что вы сумеете стать умными людьми. Добрый Робин, мой слуга, или капеллан Иеремия дадут вам Elixirium magnum (волшебный эликсир. - лат.), и вы будете жить до тех пор, пока не умрете, что с некоторыми и в самом деле случается - вещь довольно скверная. Но вы, дорогие приятели, должны вести себя пристойно и благородно, коль желаете иметь репутацию людей вполне разумных и сносных нравом, твердо веруя в то, что...'. Остальное разобрать было невозможно. 'Мил человек, что это за голос?' - спросил я у горца, который приветливо поздоровался со мной, проходя мимо. 'Господин хороший, - ответил он, - то Рюбецаль все ворчит да проповедует со своей кафедры!'. Я подивился звучному голосу Рюбецалья... Вдруг - о чудо! - прямо над вершиной горы небо прояснилось. Казалось, будто неведомая рука подняла занавес и распахнула окно, сквозь которое глядела чистейшая, яркая небесная лазурь. ...Темная тень легла на нее и раздался дикий, безумный смех. Потом я услышал громовые слова: 'Что это за смешной человечек сидит там под деревом и строит кислые рожи?'. Я затрепетал всем существом, ибо, без всякого сомнения речь шла обо мне. Затем вскочил, покорно поклонился и воскликнул, как мне кажется, с величайшей тоской: 'О Рюбецаль, дражайший мой Рюбецаль!'. - 'Заткни глотку! - перебил меня невоспитанный кобальд, - заткни глотку, знаю я тебя! Мне рекомендовал тебя архивариус Линдгорст; его друг Кюлеборн тоже неплохо о тебе отзывался - ну, погляди!''. С этими словами он захлопнул окно, занавес опустился, и вновь пошел сильный дождь. ...Хорошо все-таки иметь друзей!'.

Глава двенадцатая
Расследование происков

У него отваги на сто львов,
а ума на пару ослов.
Генрих Гейне

Великая Французская революция и наполеоновские войны сделали невозможной полную феодальную реставрацию.

Разгромленные Великой армией старорежимные государства восстановились благодаря национальным войнам за независимость. Но классу феодальной аристократии пришлось пообещать введение конституционного правления. Монархам не хотелось ограничивать собственное правление. Естественно, исполнение обещаний откладывалось ими повсюду неопределенно как несвоевременное или позабытое. Поскольку все было в их воле, им никогда и не полагалось стать своевременными. Феодальная верхушка не понимала главного.

Революционные войны подорвали средневековый политический строй.

Власть перестала быть тайной, а исполнение властных функций священной мистерией. Изменились понятия. Бонапарт выбивал пыль из королей, вытирал об них сапоги, смещал и назначал.

Вывод политического разума 18 века, что государство машина, а королей может и не быть, постепенно распространялся.

О невыполнении обещаний напоминали самые горячие и обидчивые. В остальных слоях общества им вторил то стихавший, то вновь подымавшийся ропот.

Недовольные в Европе, самых разных политических направлений, обсуждали, говорили, повторяли, настаивали на последовательности и справедливости. Некоторые готовы были действовать более решительно. Начиная с 1816 года, на самом крайнем Западе и Юге, в Испании и Италии до северной России, возникали тайные заговорщические общества. Логичный и закономерный ответ на ситуацию, когда отношения с политической

оппозицией находились исключительно в ведении тайной полиции... В 20-х годах революционные заговоры сработали: по Европе прокатилась волна вооруженных восстаний против феодальной реакции.

Но патриотизм был не только революционный. Складывался романтически неумный плебейский национализм; заострились его неблагоприятные низменные формы. Экзальтированное позерство, примитивные стадные инстинкты, сумбур в головах испытывали потребность в мелодраматическом самолюбовании, преступной подлой театральности. Новые персонажи рвались на сцену. На их пути оказался старорежимный драматург. Один из вожakov студенческих землячеств Карл Занд в марте 1819 г. со словами: 'Вот изменник отечества!', нанес смертельный удар кинжалом Августу фон Коцебу. Как писали в некоторых научных сочинениях, 'убил плодovitого, но не очень талантливого писателя'... Х-м... Следующий перл был еще прелестнее: 'убил по подозрению в шпионаже в пользу русского царя'... такой вот, понимаете ли, 'прогрессивно настроенный студент Занд'.

Для общественной безопасности и порядка нужно было предпринять решительные меры. Полиция действовала неуклюже. Власть пренебрегала принципами права. В общественном мнении возникло возмущение, недовольство. Бранденбургская власть не предполагала такой реакции.

По должности и службе Гофман оказался вовлечен в расследование 'антигосударственных связей и других опасных происков'.

Квалифицированные юристы легко обнаружили главную погрешность в действиях полиции. Доказательств преступных деяний не хватало. Задержания и, что особенно худо, длительное содержание в тюрьме производились исключительно по подозрению в заговорщическом мышлении - по подозрению в тайных умыслах совершить нечто антигосударственное. Юридически некорректно. Мысли неподсудны. И даже слова, высказанные не публично, а конфиденциально, даже весьма радикальные, не могут рассматриваться как призывы к свержению государственного строя.

Специальная следственная комиссия, в которую входил Гофман, сразу потребовала освободить несколько человек. В отношении других с полицией началась переписка. Некоторых выпустили, затем снова арестовали.

Сложность проблемы была в том, что среди арестованных были персонажи сомнительные. Вот только состава преступления не было.

К таким относился некто Фридрих-Людвиг Ян, энтузиаст физкультурного движения, кое мыслилось добровольным обществом патриотически настроенных воинов без оружия, но был строй, парады, команды, несколько напоминая штурмовые отряды.

27 сентября 1919 г. в апелляционный суд поступило его письмо: 'От его превосходительства министра фон Шукмана я получил радостное известие, что Его королевское величество изволил назначить вас, глубокоуважаемые господа, членами следственной комиссии по расследованию... демагогических происков. При полной моей невиновности я могу в любом случае положиться на вашу честность, тем более что вы являетесь судьями столь высокого и знаменитого суда и, стало быть, как таковые в совершенстве владеете земским правом и порядком судопроизводства, что полицейским горе-судьяшкам присуще лишь изредка. ... Мне ничего не известно о демагогических происках, я не понимаю даже, что значит сие выражение, и не знаю, какой языковой фальшивомонетчик чеканил это название. Но в чем я могу искренне и чистосердечно заверить вас, так это в том, что никоим образом не связан с тайным или публичным обществом, каковое имело бы целью перемены в государстве. Я не являюсь соучастником или сообщником какого-либо антигосударственного заговора. ... 13 июля меня арестовали, доставив сначала в Шпандау... Комиссия начала с того, что приговорила меня к заключению в крепости. 16 июля комиссия в Шпандау допрашивала меня относительно моей биографии. Потом до 14 сентября, то есть целых два месяца, о ней не было ни слуху, ни духу. А между тем я, находясь под следствием, вынужден был в течение сего времени отбывать весьма суровое заключение в крепости... Честно говоря, я в замешательстве: то ли мне следует удивляться пристрастию, то ли возмущаться искусством искажать факты... Из того, что в ноябре 1817 года на одном из публичных заседаний Берлинского общества немецкого языка я выступил с речью в честь Лютера, гения языка, сразу же делается заключение, будто я призываю к восстанию! ... Сегодня пошел 77-й день моего заключения. ... Кроме упомянутых безделиц, я так до сих пор и не услышал: за что я арестован; почему ныне нахожусь в заключении столь строгого режима; каких вообще доказательств ищут против меня; что дало повод для подозрения и недоверия ко мне; кто мои обвинители, доносчики и клеветники. Сейчас самое время поговорить об этом откровенно'.

Для профессионалов было делом чести проявить беспристрастность и юридическую точность. Хотя лично Ян был ему неприятен, Гофман тем более намерен был действовать честно и корректно.

Сразу после ареста Яна шеф полиции фон Кампц сделал по этому поводу заявление для печати: 'Как явствует из личных бумаг д-ра... Яна, конфискованных в Берлине согласно распоряжению... он, вопреки категорическому запрету и его собственным торжественным заверениям, не только проводил на спортивных площадках разного рода демагогическую политику, но и продолжал настраивать молодежь против существующего правительства, а также совращать ее, внушая революционные и иные опасные принципы, например, относительно правомерности предательского убийства государственных служащих, необходимости кинжала как украшения любого мужчины; у него их, кстати, обнаружено два. Поэтому он был арестован и заключен в крепость для строжайшего расследования'.

Кампц приписывал д-ру Яну преступления до суда и даже до завершения следствия. Гофман сказал подследственному, что он имеет право подать жалобу на шефа полиции по поводу сочинения и распространения пасквиля. Ян так и сделал. Гофман, получив заявление на незаконные действия должностного лица, возбудил расследование и вызвал фон Кампца в суд для дачи показаний...

Первое время в правительственных кругах царило замешательство. Никто не мог припомнить ничего подобного за всю историю бранденбургского государства. Чтобы высшего тайного государственного советника какой-то простой государственный советник именем закона призвал к ответственности за безответственные высказывания в газете!

Феодально-абсолютистское мышление не понимало, что такое право и законность. Порядок - это, чтоб было тихо, а смутьянов - в тюрьму. И - 'строжайшее им расследование', заменяющее сразу заодно и судебное разбирательство; и заранее знающее приговор, подгоняя под него следствие.

В комиссию поступило письмо министра юстиции Кирхейзена. В нем разъяснялось, что господин фон Кампц действовал не как частное лицо, но напротив, совсем наоборот: как лицо даже весьма официальное. Королевский апелляционный суд (карманный суд его величества) совершенно упустил из виду сей политически весомый факт! А такие, следовательно, лица - такие официальные (каждому ослу это известно) не подчиняются судам, но одному

только своему начальству. А тем более министерства (если суд попытается упустить это из виду) в своей служебной деятельности ответственны единственно перед особой Его величества. Министр фон Кирхэizen сделал судьям выговор. Подавать такие жалобы 'недопустимо!' И предписал дело закрыть немедленно.

Началась переписка, возращения суда. Пришлось вмешаться королю. В ходе почтительнейшей перепалки становилось ясно, что само существование абсолютной монархии противоречит закону.

Мысль проникла и стала тлеть в общественном сознании...

В частном письме некто утверждал, что канцлер 'вредная скотина'. Мятежник был арестован!

Карл-Август Фарнхаген фон Энзе в своих 'Записках' замечал: '23 марта 1820 г. Спор с королевским правосудием разгорается все сильнее. Публика хвалит и одобряет наши судебные инстанции! Если бы я мог сказать всю правду королю, все, что думаю о нынешнем состоянии вещей, все самое неприятное и жестокое, убежден: воспринял бы он это хорошо, поблагодарил бы меня за благие намерения и даже пожал бы руку, но на следующий день меня непременно арестовали бы. ... А может, мы на пути к революции? Мы идем этим путем как Испания, медленно и вяло, но неотвратимо... 1 апреля 1820 г. ...На комиссию здорово рассержены; господин фон Бюлов уже заметил как-то, что апелляционный суд надо бы точно так же привлечь к следствию, как и смутьянов'.

О верноподданности!

'7 апреля 1820 г. Как рассказывают, в низших классах ходят слухи о том, что Яну, наверное, стоит опасаться ядовитого зелья, ибо никто не знает, что с ним делать дальше (вина не доказана, а отпустить - спесь не позволяет. - авт.); должно быть, он очень болен. 'А разве, - спрашивают другие, - тюрьма не медленно убивающий яд?''.

Свидетельство автора 'Записок' показывает, как запутанно и нелогично массовое мнение, как мало оно может служить не только средством обсуждения, но даже избрания представителей, являя нелепицу и бестолковщину.

'30 мая... Все чаще слышатся жалобы на то, что общественная жизнь у нас затихает и разобщается; все немедленно объявляется происками'.

15 июня... Народ, особенно в харчевнях, много говорит о Яне; как только разберутся, утверждают одни, что он невиновен, ему предоставлять частичную свободу и 1000 талеров содержания; не так уж плохо быть изменником родины, за такую плату кое-кто тоже согласился бы; но все-таки должны же кому-нибудь голову отрубить (был казнен Занд. - авт.); Ян получил титул изменника родины, вот и все, говорят другие; он всегда был честен с народом, утверждают третьи; если он против королей, значит, он прав, хотя бы нам вовсе от них избавиться. Вот такие и даже более смелые речи имеют хождение в народе'.

Время самосознания демократии было временем идеализации ее возможностей.

'18 августа 1820 г. Некий государственный советник из провинции, человек бесхитростный и простой, так высказывался... в кругу своих новых знакомых (где лишь некоторые обеспокоенно возражали ему): 'Король должен дать конституцию, потому что он это обещал; если же нет, то должен пообещать теперь. Весь мир требует законности и порядка, а их можно добиться лишь благодаря народному представительству. Уж народ-то выберет хороших представителей, и чем меньше правительство будет вмешиваться в выборы, тем они будут правильнее'.

Недовольство консервацией устарелой системы распространялось...

2 февраля 1821 г. Вот высказывание офицера в солидном чине о нынешнем настроении и образе действий правительства: 'Кто проявил себя на войне, кто добился определенных заслуг, тех теперь не уважают; теперь в фаворе самые жалкие типы; двор ненавидит тех, кто совершил что-либо достойное; один их вид действует угнетающе на них, у кого нет никаких заслуг; эти люди терпеть не могут оригинальных мыслей, твердой воли, сильных убеждений; им потребны ничтожные душонки, согласные на все ради привилегий, а кто не таков, тех сразу безжалостно объявляют революционерами, опасными демагогами. Подобная репутация немедленно дает о себе знать и, наверное, долго еще будет числиться за ними, даже когда само дело будет закрыто'...

В мае 1820 года комиссия по демагогическим проискам (черновики постановлений писал Гофман) потребовала освободить Яна из заключения; или судьи в полном составе грозили сложить с себя полномочия, поскольку законность не соблюдается. Яну лишь ужесточили заключение, перевели в суровую крепость Кольберг.

Поступок судей был мужественный и благородный, но в нем было некое излишество демонстрации, выставляющей на передний план честь профессии: действовать неизменно строго по закону.

Правительство имело политические соображения. Было по-своему право. Внимательное чтение бумаг вызывало серьезные опасения, что Ян способен преступить закон и зайти в этом далеко. Судей поняли: состава преступления не было. Но основательные подозрения заставляли полицию затягивать следствие и содержать покамест подольше под вооруженной охраной человека, который мыслил себя вожаком и разлагал божество бог знает о чем.

Некий студент записывал его высказывания в тетрадочку, названную 'Золотые слова фатера Яна': 'Ни один народ не добился конституции бескровным путем, а также при помощи влаги, именуемой чернилами... Свое истинное призвание физкультура приобретает лишь при сословной конституции... Я живу не в то время, к которому принадлежу; мне следовало бы жить, собственно говоря, в эпоху Лютера и Гуса; все мы родились либо чересчур рано, либо слишком поздно. ... Я должен формировать свободных людей. ...Ни один полководец не нападает при помощи угроз. Если бы у меня был меч, я хотел бы вместе с Христом сойти на Землю. Каждое дерево до Шарлоттенбурга стало бы виселицей, да и в городе их было бы немало. Уж тогда бы я отвел душу'.

Ян утверждал, что студент плохо его слышал или переврал неизвестно почему. В его положении такое утверждение естественно. Даже если слова были записаны точно, это ничего не доказывает. Ян ссылаясь на контекст. И даже если контекст являлся столь же напыщенной позерской болтовней, обличающей не столько ясный разум, сколько брожение темных инстинктов в его голове, раз никаких преступлений не доказано, по форме закона его следовало выпустить. Быть просто темной личностью с большими амбициями не преступление.

Но здесь достаточно многозначительных намеков, вызывавших подозрения полиции, и не менее естественный инстинкт стражей порядка его попридержал. В результате Ян оказался наказан затянутающимся тюремным заключением в значительной степени по собственной вине.

'Подстрекатель против короля и государства, вооруженный двумя кинжалами для зверского убийства!?', - возмущался д-р Ян. Ну и что - коллекционировал кинжалы... Бывший командир батальона в 'Черном отряде' Адольфа фон Лютцова, не соблюдавшем законы войны и правила чести, находился на той грани, где он сам не знал, зачем сия буффория и зверская болтовня: для украшения мужчины или, в самом деле, пустить все в ход... и наделать великих дел...

Вот на каком историческом фоне происходило позднее творчество Гофмана вперемешку с такими

служебными делами.

Поправившись, отдохнув, осенью 1819 года Гофман вернулся к обычному, привычному образу жизни, не одобряемому врачами.

Серапионовский кружок распался. Кореф стал приходить все реже, Контесса скрылся в деревне. Споры завязывались в основном между Гофманом и Корефом, остальные позволяли себе кое-какие замечания. Кореф знал невероятно много, он был единственным, кого пылкий Гофман терпеливо выслушивал. Кореф позволял другу говорить сколько угодно, но выслушав, делал замечания более весомые, да и в юморе не уступал. В 'Ночных рассказах' запечатлелось: 'О! - со смехом воскликнул доктор. - Имейте терпение, сейчас он сядет на своего конька и поскачет ускоренным галопом в область предчувствий, снов, психических влияний, симпатий... и т.д. До самой станции - магнетизма, где он остановится и будет завтракать'. Гофман не желал расширять запас своих невеликих естественнаучных познаний. Схемы споров повторялись, диспуты постепенно исчерпали себя, всем приелись, надоели...

По понедельникам и вторникам Гофман заседал в суде. Остальное время работал дома. После обеда спал, потом шел гулять. Природа его занимала лишь в виде погоды. Интересовали же его подробности городской жизни, попадавшие ему человеческие типы, сценки, всякие занятные истории. Он внимательно прочитывал все афиши. Не пропускал по пути ни одного кафе, кондитерской, ресторанчиков, везде изыскивая литературный матерьял. Судя по новелле 'Пустой дом' - а Гофман всегда точен и автобиографичен в повествовании - у него неизменно была при себе маленькая подозрительная труба в кармане и зеркальце, чтобы незаметно наблюдать. Обойдя свои владения, он направлялся в любимый кабачок или оставался в приятельской компании в каком-нибудь другом ресторане, где заставал друзей. Писал он обычно ночью. Но часто из одной компании ближе к ночи попадал в другую, встречая рассвет на пирушке.

Хитциг писал: 'При этом, однако, не следует представлять его себе обыкновенным пьяницей, который любит вино ради вина и пьет, пока язык не станет заплетаться и он не уснет, - у Гофмана все было иначе. Он пил, чтобы взбодриться; пока сил у него было больше, требовались меньшие дозы, потом, конечно, побольше. Зато, когда он взбадривался, или, как он говорил, приходил в экзотическое настроение, для появления которого нередко хватало полштофа вина и хотя бы одного приятного слушателя, не было ничего интереснее, чем этот фейерверк остроумия и полет фантазии; Гофман мог непрерывно, по пять-шесть часов кряду блистать ими перед восхищенными слушателями. ...Часто он собирал вокруг себя остроумнейший кружок... вот если бы только возможно было устранить разрушительное влияние на его здоровье всех этих непрерывных ночных кутежей в сочетании с сильнейшим умственным напряжением днем; ведь он никогда не пренебрегал своей службой и вместе с тем писал книгу за книгой. ...Нельзя отрицать и того, что постоянное общение с людьми, собиравшимися обыкновенно в заведениях такого рода, постепенно лишало его умения достойно вести себя в окружении более благородном; в поведении его проглядывал некоторый цинизм, легко способный оттолкнуть тех, кто не был знаком с ним близко и не догадывался, какое сердце скрывается под сей грубой оболочкой'.

Бейерман, хозяин 'Рояля', королевского кафе, попросил знаменитого писателя придумать какую-нибудь завлекательную вывеску. Гофман немедленно написал рекламу, подписавшись: 'Клеофас Венцель, почетный член гастрономических обществ Берлина и Пекина'.

Понятно, чтобы вести такую приятную жизнь, нужно было немало денег, кои 'почетный член гастрономических обществ' в

элегантной манере Робин Гуда, вежливо, о! Подчеркнуто вежливо! Но без обиняков и весьма энергически вытряхивал из издателей.

Стиль был таков. В редакцию карманного издания 'Уrania', 6 марта 1816 года: 'Любезное обещание предоставить моему сочинению самые благоприятные условия... а также теперешнее мое положение принуждают меня покорнейше просить высокочтимую редакцию немедленно переслать причитающийся мне гонорар за рассказ. Засим, отдаю себя на волю любезной благосклонности, проявленной ко мне. Гофман'. Фердинанду Дюмлеру, 26 ноября 1816 г.: '...Не сможете ли вы прислать мне "Записную книжку любви и дружбы". Шютце пригласил меня в сотрудники, и мне весьма хотелось бы посмотреть вид печати и формат, дабы составить представление, какой можно потребовать гонорар'. Дюмлеру, 17 июня 1817 г.: 'Надворный советник Берендс только что вернул мне чек, потому что вы, уважаемый друг, не желаете принять его. Не нахожу слов, чтобы выразить, сколь ужасно я сконфужен, однако, полагаю, что так как вы любезно обещали позаботиться обо мне, дело объясняется всего лишь недоразумением. Я сейчас усердно работаю над книгой, дабы представить нечто солидное, и потому, принимая в расчет наши отношения, надеюсь все же, что смею просить вас, уважаемый друг, о сумме, которая при обеспеченном вашем положении покажется вам сущим пустяком, мне же сейчас была бы чрезвычайно к стати. Настоятельнейше прошу вас сделать на чеке, который я прилагаю, соответствующую пометку к срочной оплате. Тем самым вы поможете мне выбраться из весьма затруднительного положения, осложненного к тому же продолжающейся болезнью'. Хельмина фон Штези тоже получила изрядный заряд его деловой любезности, 16 октября 1818 г.: '...Затем, в качестве обычного гонорара я прошу четыре фридрихсдора (80 рейхсталеров. - авт.), притом немедленно по получении рукописи, количество печатных страниц в которой подсчитано мной самым тщательным образом. До сих пор мне везде платили быстро, и я принужден на это рассчитывать'. Он знал себе цену, и даже со знаменитым издателем Реймером держался на равных. Два послания 1819 года: 22 января. 'Вы были столь любезны, высокочтимейший друг, ответив на мою недавнюю просьбу по поводу благосклоннейше обещанных мне 50 рейхсталеров. Это приводит меня ныне в немалое смущение, однако, вынужден просить повторно, за что прошу любезнейше извинить меня!'. 11 марта. 'Не смогли бы вы, высокочтимейший друг, помочь своему больному автору хотя бы 50 рейхсталерами находящихся в обращении денег? Убедительнейше прошу вас сообщить мне завтра утром до 9 часов, сможете ли вы исполнить мою просьбу и когда. ...Нельзя ли мне посмотреть у вас 'Венский журнал по искусству, литературе и моде'? Вчера меня пригласили сотрудничать в нем с гонораром по 8 гульденов за лист, и я хотел бы знать, насколько приемлемо подобное предложение... 'Элегант цайтунг' платит по 6 фридрихсдоров'.

Литературные тексты он тоже писал решительно, без оглядки, не испытывая особенных сомнений, используя наработанные приемы; спешил ковать металл, пока горячо, не отходя от кассы, не заботясь ни об отделке слога, ни о композиции; выпекая во множестве бесформенные творения на коммерческой закваске; рукописи разбухали как на дрожжах...

В марте 1820 ему передали из Вены письмо Бетховена. Гофман испытал восторженную благодарность. Великий композитор решил поддержать бесстрашного судью и писателя в перепалке с политической реакцией.

Прочитав выписки из статей Гофмана о своих произведениях в записной книжке приятеля, он благодарил, воздавая должное столь богатому душевно человеку выдающихся качеств.

В апреле в разговоре со знакомой писательницей, побывавшей в Гамбурге, Гофман узнал о судьбе Юльхен: она развелась и вернулась в Бамберг; он был невероятно взволнован. Написал доктору Шпейеру. 1 мая 1820 г.: '...Скажите же, говорите, напишите, это правда?... Два дня назад в одном обществе я услышал новость, потрясшую меня до глубины души, так что я долго не мог думать ни о чем другом. ...Бесстыдные зверства ненавистного недоумка - все это глубоко взволновало меня, тяжело отозвалось в душе; ведь предчувствие всех этих ужасов поднималось во мне тогда, когда я, так сказать, бестактно, в пылком гневе страстного безумия высказал вслух все, что должно было остаться во мне навсегда. Как я стремился оскорбить других, будучи сам больно оскорблен! А теперь! ...Горькая насмешка неудавшейся жизни, бесчестье растроченной юности немилосердно разрушили душу Юлии'. В тоске и боли Гофман давал старому другу невозможное поручение: 'Скажите Юлии в светлый солнечный миг, что во мне жива память о ней - если можно назвать памятью то, чем полна душа, что в сокровеннейшие мгновения высшего подъема духа оживляет прекраснейшие мечты о восхищении, о счастье, которое не способны схватить и удержать человеческие руки'.

Но, как ни странно, затем его подвижная психика довольно легко переключилась на юмористические предметы.

'Обращайте хоть иногда внимание на мои литературные дела! Рекомендую вам в высшей степени мудрого и глубокомысленного кота Мурра... ..дал мне повод для гротескной шутки, пронизывающей, впрочем, вполне серьезную книгу. Надо сказать, книгоиздатели платят мне такие гонорары, от звона которых г-н Кунц немедленно упал бы в обморок'. Но если бы не господин К.-Ф.-К., бог знает, что было бы... Он открыл читателям Гофмана.

Гофман был неважного мнения о матерьяле, из коего слеплен человеческий род. Зашла речь о бамбергском актере Бадере; чтобы Шпейер составил себе понятие, на какой особе он женился здесь в Берлине, писатель предлагал приятелю воспроизвести пластически сие существо. 'Возьмите матерьял, которым пользовался Прометей (печную глину, воду и землю, исходной дряни для пластики достаточно, да и человек, венец творения, тоже создан из дряни); слепите из всего этого толстый шар, напаяйте его на маленькую пивную бочку; к тому же маленькое чудовище плодит маленьких бадерят одного за другим, словно пфенниги!'.

Гофман звал дорогого друга и старого соперника в медицине к себе в гости. 'Меня вы найдете в маленькой и скромной, но... мило обставленной квартире в лучшей, красивейшей части города... Нынешнее мое положение позволило бы ввести вас в круг интереснейших людей, да и в отношении жизненных удобств вы, полагаю, остались бы довольны. Что касается элегантности обстановки, тонкости и изобилии блюд, тут мы соперничаем с парижанами... Ваш покорный слуга ввел бы вас в маленький, но превосходный винный погребок, который недавно был весьма приятно расширен. Из чистой благодарности за то, что 'Скюдери' сильно увеличила сбыт 'Записной книжки любви и дружбы', братья Вильмансы из Франкфурта прислали мне ящик с 50 бутылками превосходного 'Хинтерхойзер Эйльфер' - это после того, как выплатили за рассказ изрядный гонорар. В одно прекрасное утро ящик подвезли к дому, и лишь с трудом удалось мне всучить слуге чаевые...'. Гофман приврал насчет марки вина: ему прислали 'Рюдесгеймер хинтерхаус' 1811 года. Он не мог перепутать, видно, вино 'Хинтерхойзер' было побогороднее.

Яркое переживание былой любви дало в мае толчок написанною карнавальной сказке 'Принцесса Брамбилла'..

Гофман хотел повторить удачный опыт итальянской сказки 'Сеньор Формика', в манере сказок для театра Карло Гоцци и оперы буф. 'Она мне нравится более всего, словом, в том виде, в каком ее создали горячие увлекающиеся итальянцы. В ней должны быть фантастические странности, вытекающие из характеров отдельных людей или из игры причудливого случая, смело вторгающегося в повседневную жизнь и все переворачивающего вверх дном'.

Итальянская тематика, итальянский темперамент, поразительно тонкое понимание национального колорита. В сущности, по такой же схеме разворачивалась интрига в 'Золотом горшке', 'Крошке Цахесе', 'Выборе невесты'. Правда, последние две новеллы уступают повести из 'Фантастических пьес', выделявшейся продуманностью и выдержанной иронией... В 'Циннобере' уже нет такой цельности и стройности. 'Выбор невесты' полностью написан в развлекательном плане, хотя здесь автору весьма удался правитель канцелярии Тусман. Гофман по-прежнему показывает неиссякающий фантастический юмор. Чего стоит хотя бы размноженный, превращенный в множество лягушек 'Правитель', как запросто называет его приятель, коммерции советник: каждому лягушачьему Тусману вручена метла; ночная площадь кишмя-кишит правителями канцелярии Тусманами, и все они кружатся в вальсе с метлами... Весьма вероятно, фантазия навеяна 6 ноября 1809 года, когда на балу в ужасной распущенности пьяный Гофман смотрел в увеличительное стекло на множество Гофманов и досадовал на их поведение рр.

Весь прием в сказках составляла карнавальная импровизация. Приводилась в действие свободная стихия юмора, прихотливое кружение фантастических причудливостей. Все взбалмошно, лихо скачет и пляшет, кривляется, корчит рожи. Все относительно и переменчиво, пестро; каждую минуту может произойти самое невероятное. 'Но вот влетает дух забавы и насмешки, и все спутывается - все предаются нелепой игре воображения, странным выдумкам и неимоверным гримасам. Необыкновенная звезда вззошла, случай расставляет петли, и в них попадают самые добропорядочные люди, стоит чуточку подальше высунуть свой нос. ...Начинается всякая фантастика - все, что действующие лица предпринимают словно в каком-то болезненном чаду... Эта фантастика должна производить на нас впечатление странности; словно некое безумие овладевает миром, ввергая нас в круг забавных издевок и насмешек'.

Запускался карнавал, происходили веселые нелепости, по ходу Гофман получал возможность остроумничать, иногда сделать меткое психологическое наблюдение, немного отвлечься на излюбленные темы театра и литературы; мелькали маски, происходили забавные переодевания, превращения, разоблачения. Но мысль необходимости глубины сказывалась плоско и нелепо в финале. Все фигуры застывали в аллегории, перегруженной мистическим символизмом, коего в карнавальных событиях не было - выглядело поверхностно притязательно натянуто. Этот прием внезапного останова абсурда вполне удался Гоголю в 'Ревизоре', поскольку был продолжением самого комизма, а не занудной притязательностью вымученного символизма.

В 'Принцессе Брамбилле' Гофман впервые применил аллегория, дополнив ею карнавал; но это только усилило впечатление бесформенности смысла, слабости бисфателя в композиции. Гофман не был уверен, что получилось хорошо. Посылая Адольфу Вагнеру пятую главу, он писал 21 мая 1820 г.: '...А что вы думаете, друг, о безумном каприччо? По замыслу это должна быть самая смелая из моих сказок, но боже мой! Вы ведь знаете, что в

силу несовершенства всего земного после сильного разбега так легко удариться носом в землю, вместо того, чтобы взлететь высоко! ...Но не покажется ли все это другим сумасбродной белибердой? Дочитав текст до конца, напишите мне несколько слов, хотя бы в утешение!... Замечу еще только, что картинки к 'Калло' должны получиться премилыми - одну я вам прилагаю, хотя она измята и с чернильной кляксой'. Подзаголовок итальянской сказки: 'Капричо в духе Калло'. Немного рекламы...

'Суть настоящей [опера-буффа] ...заключается ...в том, что фантастика входит в обычную жизнь и порождает всякого рода конфликты'. Вот только чего стоят забавно развлекательные сказочные 'конфликты'?..

Некоторые его персонажи в карнавальной импровизации действительно кажутся выхваченными из самой гущи повседневной жизни, но на сцене столько бутафорского картона, что в этой обстановке все кажется понарошку, и происходящему не следует придавать слишком большого серьезного значения; все в этом театре - игра в театр!!!!

'Нет ничего проще, как стравить директора театра и драматурга, чтобы, накинувшись друг на друга, они в лютый

борьбе пожрали один другого, подобно тем двум львам, от которых на месте битвы остались лишь хвосты - страшные памятники свершившегося убийства'. Великолепное остроумие гораздо больше выиграло бы в менее суматошном спектакле, если бы в машине повествования более подогнаны были бы детали; оно выглядело бы веселее, не терялось бы в вихре, переворачивающем все вверх дном. Гофман заставляет тех, кто его любит, ловить обрывки превосходного текста в этом вихре. 'Кипи, кипи, безумное веселье! Беснуйтесь, своевластные, проказливые духи дерзкой шутки!'. Здесь яркая фантазия: '...Он мигом ринулся в какой-то дом и с балкона выстрелил в меня из Труффальдинова ружья. Но, о чудо! Пламя выстрела повисло в воздухе, сверкнув тысячей алмазов'. Здесь мягкий лукавый юмор: '...Джилло ждала самая горькая нужда. Прежде это повергло бы несчастного в беспокойство и страх, но теперь он об этом не думал, витая в небесах, где в земных дукатах не нуждался'. Здесь любимая им итальянская сморфия - вдохновение и ярость, но никак не безумие... 'Сморфия - удивительно прихотливое, несколько дерзкое настроение молодых итальянок - обладает особым свойством. По крайней мере, знатоки единодушно утверждают, будто именно в нем заключено чудесное очарование и неотразимая прелесть, кои мешают негодующему узнику любви порвать свои сети, и он все сильнее в них запутывается: столь оскорбительно отставленный любовник, вместо того, чтобы сказать вечное 'Adio', еще жарче вздыхает и молит, как говорится в известной народной песенке: 'Поди сюда, прекрасная Дорина, брось блажить'. Неотступная тема двойника и раздвоения личности подана в юмористическом ключе: '...Психолог нейдет ничего лучше, как сослаться на вюртембергского чиновника... который в пьяном виде скатился с лестницы и потом соблезновал сопровождавшему его писцу, что бедняга сильно ушибся'. Есть и глубокое самоистолкование проблемы двойника: 'Я не могу проникнуть сквозь мое собственное 'я', а оно, проклятое, грозит убить меня своим опасным оружием. Но я заиграю его, затавлю на смерть, только тогда я стану самим собой и принцесса будет моей'.

Романтическая мечтательность и неистовая влюбленность бамбергского периода смягчены мудростью неисправимого старого романтика... 'И потому я спрошу тебя, неужели ни разу в жизни не посещало тебя сновидение, которое ты не мог бы приписать испорченному желудку, или воздействию винных паров или лихорадки? Милый чарующий образ, который прежде уже говорил с тобой только лишь в смутных предчувствиях, таинственно сочетавшись с твоей душой, овладел всем твоим существом, и ты, полный робкого любовного томления, мечтал и не смел обнять нежную невесту, которая в светлых одеждах вошла в темную мрачную мастерскую твоих мыслей... И в тебе зашевелилось, ожило, вспыхнуло тысячами ярких молний горячее стремление, чаяние, страстная жажда схватить неуловимое, удержав его, и ты готов был изойти в неизъяснимой боли, лишь бы раствориться в нем, в этом чудесном образе. Отрезвило ли тебя пробуждение? Разве не остался в тебе тот невыразимый восторг, который, едва ты очнулся ото сна, пронизал твою душу мучительной болью? Не остался ли он в тебе? И не показалось ли тебе все вокруг пустым, печальным, тусклым? Будто только этот сон был подлинной жизнью, а то, что ты принимал за нее, лишь ошибка твоего ослепленного разума! Все твои мысли как в фокусе сходились в одной точке, и огненная чаша эта, вобравшая в себя пламя высочайшего горения, замыкала в себе твою сладостную тайну от слепой, бесплодной, повседневной суеты. Гм! В таком мечтательном настроении натыкаешься ты на острые камни, больно ранив ноги, забываешь поклониться достойным людям, желаешь другу доброго утра в глухую полночь, налетаешь головой на первую попавшуюся дверь, забыв ее отворить, - словом, дух твой носит тело как неудобную, не по мерке сшитую одежду'.

'Не то сновидение, которое посещает нас, когда мы покоимся под мягким одеялом, нет! А то сновидение, которое мы проносим через всю жизнь, которое зачастую принимает на свои крылья все бремя земных забот; пред которым стихает вся горькая боль, вся безутешная скорбь обманутых надежд, ибо оно само - небесный луч, зажегшийся в нашей груди, - сулит нам вместе с беспредельной страстной тоской исполнение мечты...'.

Гофман в литературе питал надежды - испытывал иллюзии, заблуждения. Невозможно сочетать коммерческие цели с серьезными задачами: эти виды письма требуют разных способов работы; а он пытался...

Известное значение имели и общественно-политические условия; в письме Хиппелю он жаловался на отсутствие времени и юмора. Дружья серапионы разбрелись. '...Снова я разразился вздохами! Корефа почти не вижу'. Тому надоело спорить с неисправимым Гофманом относительно мистических туманностей. И какое значение имели взбалмошные карнавальные шутки в отношении суровой реальности?..

Немецкий романтизм давно потерял связь со всякой реальностью, переселившись в фантастическую Атлантиду с помощью причудливого воображения. Его уделом стала стилизация, идеализация, сентиментальные слащавости, мелодраматические натянутости. Романтизм впадал в ничтожность, был близок невольной самопародии; оставалось только дожидаться разгромной пародии извне. Серьезные, умные люди отвернулись от него; время требовало выдержанного реализма, более глубокой поэтики.

Творчество Гофмана находилось в кризисе, как и весь поздний романтизм. Гофману казалось, что не все использовано на этом пути, столь дорогом, выстрадавшем... к тому же становившемся столь приятным: сладкозвучно звенели гульдены... Выходили один за другим сборники 'Серапионовых братьев': осенью 1820 года - третий том. Сие было нетрудно, материал готовый: разбросанные по альманахам и календарям новеллы собирал он под одной обложкой по совету Реймера, вставляя их в оправу серапионовских бесед. Но роман Кота-Мурлыки... 'Муррр...' никак не клеился.

Задуман был быть составленным из разрозненных фрагментов. Намеренную разорванность биографии капельмейстера Крейсlera, вставленную между листами автобиографии самодовольного немецкого кота-филистера, хотел он нагрузить особым смыслом... Однако во фрагментарности 'Фантастических пьес' смысла

было несравненно более. Там было изящество, между фрагментами ясное пространство; здесь же фрагменты громоздились.

Временами в тексте бывает нужен диссонанс, но нельзя построить все на диссонансе; читать сие утомительно, тягостно. В конце концов, нельзя же заставлять читателя подобно царю Сизифу вкатывать в гору глыбы, которые скатываются обратно одна за другой в провал диссонанса... Зачем он упорствовал? Воли ему всегда хватало... Чиновничье усердие... Сказывались профессиональные навыки бумажного человека, его немецкая закуска, нравственная среда Германии, вырабатывающая навыки доводить начатое дело до конца.

И хорошее должно быть в меру, говорили древние. Что толку было от перестановок бессвязного? Пародия на кота исчерпала себя в первой же главе. Далее ничего нового. Выходов в новые пространства не получалось. На старые находки приемов насаивались лишь новые благоприобретенные недостатки... 'Житейские воззрения' были кризисной книгой.

21 марта 1820 г. Гофман писал Дюмлеру: '...В 'Литературном еженедельнике' помещена симпатичная, превосходная рецензия на 'Кота'; сажусь сейчас за вторую часть, к которой давно заготовлено множество тетрадей с записями. Только спаси меня бог от демагогических происков!'

Осенью же писал в Ригу редактору 'Цушауэр' ('Зритель. Журнал для поучения и размышления'. - авт.) немецкому писателю Иоганну-Даниэлю Симански: '...Знайте же, что именно в это мгновение я занят литературной работой, которую можно назвать самой что ни на есть труднейшей. Я только что окончил приводить в порядок бумаги кота Мурра, чтобы можно было издать вторую и третью части его удивительных житейских воззрений'.

Видите ли, любезный читатель, действительное затруднение в том, что пишет не Гофман, а его ученый кот...

'Хотя добряк и пишет весьма разборчивой лапой, но не может отказаться от известных привычек, погружающих отдельные места его рукописей в непроглядную тьму. Так же, как тщеславный, гордый поэт, если какое-нибудь место в только что сочиненном стихотворении покажется ему верхом совершенства, любит в сознании своего величия подниматься с кресла и устремлять глаза и нос в небо, так и Мурр, охваченный ... сознанием собственного совершенства, имеет обыкновение принимать позу, которую в будничной жизни называют 'низкий поклон'. В таких случаях несравненный кот самодовольно помахивает в обе стороны хвостом, часто размазывая именно то место, которым восхищался, так что оно заметно утрачивает ясность. Вы сочтете вполне естественной ассоциацию представлений, заставляющих меня при встрече с блестящей бессмыслицей в каком-нибудь новом поэтическом произведении, вызвавшей, очевидно, восхищение автора самим собой, невольно воскликнуть: низкопоклонничал! ... И вот я замечаю, как невольно проболтался о том, что великолепный кот Мурр находится как раз со мной. Да, это правда; сейчас он сидит у печки, зажмурил глаза, и мурлыкает. Бог весть, какое новое произведение он замышляет'.

Теперь понятно?... Что и говорить, разбираться в рукописях, которые царапают, по-видимому, когтями, а наиболее удачные места тут же размазывают пушистым хвостом, кропотливая работа... Так что приведя рукописи осенью в состояние, пригодное для печати, 5 декабря того же года Гофман почему-то вновь сообщает Фердинанду Дюмлеру: '...Над 'Мурром' действительно работаю, хотя сейчас, увы, медленно, впрочем, потом дело должно пойти быстрее, ибо я твердо надеюсь совершенно избавиться от демагогических происков'.

Хитциг и Хиппель не одобряли манеры поздних гофманических произведений. Юлиус был поклонником простого неприязнательного стиля Вальтера Скотта и пытался как-то повлиять на Гофмана. Предлагал почитать романы британского писателя. Гофман почитал...

8 января 1821 г. 'Вчера вечером приходил ко мне Корей и был столь любезен, что поздно ночью по моей просьбе прислал 'Астролога', которым я буду наслаждаться в ближайшее время и сейчас уже читаю запоем. Какая удивительная, великолепная книга, какая величайшая простота - и при этом живая, подлинная жизнь и мощная правда! Однако сей дух мне чужд, и я поступлю чрезвычайно скверно, если попытаюсь напустить на себя спокойствие, которого, по крайней мере теперь, мне не дано'.

В середине работы не мог он перестраиваться на иной лад. Надо было посмотреть, что дальше получится из 'Мурра', которого ведь уже хвалили рецензенты...

Изменить приемы, значило бы, прекратить писанину в погоне за прибылью, заняться внутренней работой, настраиваться писать в ином ключе, нежели для карманного формата. Изменить стиль, значит, не просто перестроиться психологически - но несколько переменить мировосприятие. Что потребовало бы времени и ничего не писать.

Но ни временем, ни прибылью, ни накатанной литературной колеей Гофман поступиться не хотел. Видимо, полагал, что в ходе работы над романом сами собой исчезнут особенности писанины для альманахов и календарей... Но роман не получался. Гофман не заметил, что взялся не за романный замысел. Фабула с вырванными из книги листами, используемыми как макулатурные, частью для просушки, частью для прокладки в собственной рукописи ученого кота, вполне годилась как сарказматическая шутка, забавный анекдот, замечательный именно емкой краткостью рассказа, но который делается занудным и натянутым, если растягивать его, распространять в многословную потеху. Возникло впечатление развлекательной суетливости. Фабула исчерпала себя, а многословие и похотывание продолжаются. Плоско и не смешно.

Замысел автобиографичен. Котенок, выдирающий листы из книг, есть сам Гофман, наобум роющийся в дядюшкиной библиотеке в поисках любопытного. Мистический наблюдатель Гофман мнил кота своим двойником. Пушистый красивый зверек был умен, сам выдвигал ящики письменного стола, спал на рукописях хозяина. Возможно, рукописи излучали некую таинственную энергию; он в ней грелся. Гофман представлял себя пушистым котом и его разбирал смех. Видимо потому задуманный им осенью 1820 автобиографический роман 'Предсвадебный медовый месяц Якобуса Шнельфейфера' изменил имя героя на Тимотеуса... Тимофея-Котофеевича... Шнель-шнель тру-ля-ля насвистывающий Котофей Тимофеевич Гофман, влюбленный в киску Мишку...

Остроумных юмористических моментов получилось немного: 'пунш из селедочного рассола', который пили коты бурши - студиозусы, и пьяные вопли и горланили песни; 'они были товарищами по разным походам и оба участвовали в покорении амбара', в котором засели крысы; раненый на дуэли кот был полит кошкой с ног до головы некой 'жидкостью... непохожей на одеколон': явно переключалось с Апулеевыми 'Метаморфозами', где фессалийские ведьмы проделали то же самое; 'скрылся в печке и запер за собой дверцу'; намек на членов студенческих землячества: 'лохматые, взъерошенные, с растрепанными хвостами'.

Единственный живой, симпатичный персонаж романа князь Виттельсбах Баварский с его аристократической выдержкой и добрым старонемецким крепким словом... Он реален и человечен, не мелодраматичен. Таков же он и в 'Крошке Цахесе'. Слушая разъяснение врача, почему министр умер 'гумористической смертью' - захлебнувшись в

ночном горшке – непосредственный князь просто и честно признавался: 'Будь я проклят, если что-нибудь понял!'.

Гофман в результате перебора склеил фрагменты и в начале осени 1821 издал второй том.

Хитциг: 'Однажды осенним утром он пришел к издателю и, будучи еще совершенно под впечатлением пережитого, поведаль: прохода по Жандармскому рынку, видел, как славная маленькая девочка из низов подошла к лавке мелочной торговли и попросила продать ей немного фруктов. Торговка грубо потребовала, чтобы девочка показала, сколько у нее денег, и, когда ребенок в блаженстве неведения показал ей три гроша, деньги были отброшены в сторону с криком, что за них никто ничего не продаст. Горько опечаленная малышка отошла. 'Тогда, – продолжал свой рассказ Гофман, – я подошел к старухе, которая, видно, заметила, что я наблюдал всю сцену, и сунул ей в руку монету в четыре гроша. Она... насыпала а маленький фартучек отборных слив. Вы представить себе не можете этой стремительной смены величайшего огорчения и огромной радости. ... Но тут, – продолжал он свой рассказ (и в этом был весь Гофман), – по дороге к вам меня стала мучить мысль, от которой я не могу избавиться. А вдруг из-за этих слив ребенок заболит дизентерией, и радость, которую я ему доставил, может стать причиной смерти'. Почти всегда Гофман испытывал настороженность...

Штефану Шютце, издателю, он говорил, что не хочет более писать рассказы, примется за романы. Пока же у него заказов карманных изданий было на несколько лет вперед, и он набирал новые...

Осень складывалась благоприятно, принесла радостные события: Хиппель надолго приехал в Берлин. Гофману значительно повысили жалование по выслуге лет и перевели в сенат апелляционного суда. Хитциг вспоминал: 'Гофман давно мечтал о такой должности; она освобождала его от юридических дел вне дома, сводя всю его деятельность лишь к составлению письменных донесений, которые затем, по мере готовности, следовало докладывать в определенный день недели. Это прекрасно сочеталось с писательскими занятиями Гофмана, которые раньше он вынужден был прерывать, так как обязан был не менее двух раз в неделю появляться на судебных заседаниях, да еще предварительно готовиться к ним. Теперешнюю свою жизнь он метко называл двойной авторской жизнью: ему необходимо было по службе сдавать рукопись в регистратуру, а по писательству в печать. Кроме того, благодаря прибавке жалования материальное положение семьи настолько улучшилось, что он уже подумывал снять еще несколько комнат, разместив в одной из них постепенно растущую библиотеку, а другую предназначив исключительно для часов отдыха и досуга'.

Глава тринадцатая Сатира на полицию

'Остерегайся политических намеков, Карл!
Со всей серьезностью советую тебе, Карл,
отправься как-нибудь поутру к моему
другу, советнику уголовной полиции
Хитцигу, и открой ему то, что в случае
необходимости я готов заверить
письменно: ты никогда сознательно не
позволял себе никаких сатирических
намеков на политические предметы...
Девриент! Альбрехт! Господин офицер!
Вы слышали, что сию минуту произнес
этот человек? Карл, ты еще наговоришь на
свою голову! 'Мысли свободны!' Чего
доброе, он, как маркиз Поза, потребует
свободы мысли в Берлине!'.
Выступление Гофмана на пирушке
в кабачке.

В 'Якобусе Шнельпфейфере', по замыслу автора, полиция конфискует время, снимает башенные часы, не понимая, что сама существует во времени...

Прежде чем приступить к роману, в основе которого была история с познаньскими карикатурами и любовь с Мишей, Гофман должен был сначала рассказать о недавних событиях.

В октябре Гофман начал писать сказку 'Повелитель блох'.

В начале ноября пять приключений, или глав, были посланы в набор в издательство Вильмансов, Франкфурт на Майне.

В повести Гофман вновь дал волю своему необузданному карнавальному юмору, дерзкому задору, иронической издевке, гиперболическому сарказму: 'Вы угощаете меня какой-то несусветной белибердой! – Да падет эта белиберда на вашу голову!'.

Гвоздь всей программы, несомненно, блохи, приобщенные к культуре. 'Блохи возили маленькие пушки, пороховые ящики, обозные фургоны; другие прыгали подле с ружьями на плече, с патронташами за спиной, с саблями на боку. ...Все войско обладало удивительным апломбом; полководец казался в то же время искусным балетмейстером. Но, пожалуй, еще красивее и удивительнее были маленькие золотые кареты с упряжкой в четыре, шесть и восемь блох. Кучерами и лакеями были еле заметные для глаза жучки, а что сидело внутри карет, того нельзя было и различить. ...Но только при обозрении стола в хорошую лупу искусство укротителя блох обнаруживалось в полной мере. Тогда только изумленному зрителю открывалась вся роскошь и изящество упряжи, тонкая отделка оружия, блеск и чистота мундиров. Казалось совершенно непостижимым, какими инструментами пользовался укротитель блох, чтобы с такой чистотой и пропорциональностью изготовить некоторые мелкие подробности, как, например, шпоры, пуговицы и т.д. И рядом с этим казалась уже сущим пустяком мастерская работа портного, состоявшая, ни много, ни мало, в том, чтобы сшить для блох по паре рейтуз в обтяжку, причем труднейшей задачей, конечно, была примерка'.

Блохи, конечно, смешны, но все это наводило на мысль о насекомой возне цивилизации. Гофман явно высмеивал мишурный апломб военщины. А заодно научную изобретательную изощренность, погрязшую, как ему

казалось, в ненужной детализации, упуская из вида суть предмета исследования: зачем блохам рейтузы в обтяжку?..

Здесь Гофман в своей стихии. Карнавал позволяет, не выходя из пределов пристойного, поддерживать атмосферу грубоватого гротеска. За дверью подслушивает старуха, чихает; не видя ее, персонаж с другой стороны двери громогласно произносит: 'Убирайся вон, подслушивающий сатана!'. Но Гофману мало, он умеет выжать из ситуации все, довести комизм до последней степени: 'Издатель может засвидетельствовать, что когда и он также заглянул в замочную скважину...'. Алина в сказке, по первоначальным подходам автора обещавшая явиться прелестным нежным существом, вдруг является в виде подвоха: полной старухой, которая для подкрепления тела не единожды пропускает стаканчик шнапса и нюхает табак, вынимая табакерку из-за пазухи, втягивая носом здоровенную понюшку, смачно, с треском. В принца пиявок, живущего в тинистой луже, во дворце, швыряют полной горстью соли: и гадина позорно издох в судорожных корчах. Но не совсем погиб, а издох лишь затем, чтобы появиться в виде брадобрея, пропащего алкоголика: 'Незнакомец тотчас впился в бутылку и, не отрываясь, высосал ее до последней капли. Потом без чувств повалился в кресло и оцепенел'. Исчезает брадобрей, благополучно нырнув в грязную лужу, скопившуюся после дождя меж камней перед самой дверью винного погребка.

Попутно мы узнаем кое-какие детали о наклонностях Гофманова воображения. Его в самом деле манил Китай, влекло все чудесное, причудливое, экзотическое, пестрое, что возбуждает фантазию. У его персонажа Перегринуса Тиса в доме на стене висела большая карта Пекина... Гофман презирал балет и жестоко высмеивал его. Несколько раньше, в другом произведении, плясун, подпрыгнув, выбивал ногой два зуба и бинокль, поднесенный к глазам главного режиссера. В 'Повелителе блох' он совершенно уничтожает балетного гения: 'Из жалкой глины и перьев, которые потерял глупый, неповоротливый страус, сделал тебя злой демон...'. Это была устойчивая неприязнь к мимическим и пантомимическим сценам, проявившаяся еще в 'Бергандце'.

Все великолепно дополняла новелла 'Тайны'. 'После того, как прославили новый дурацкий балет, безмерно восхищаясь его прелестью и совершенством, в зале воцарилась тишина, которую барон (все тот же фон С. - авт.) вдруг прервал, громко воскликнув, словно пробудившись после глубокого сна: 'Порох... порох насыпать в уши и зажечь... это ужасно... страшно... По-варварски!'

Видимо, одно из тех высказываний, которые вполне мог отпустить Гофман в приличном обществе - характерных высказываний, которые добропорядочный Хитциг называл 'нести несусветный вздор', из-за которых ему бывало стыдно за друга, кои он считал проявлениями цинизма, хотя на это предпочтительнее смотреть не со стороны морали, а со стороны остроумного фарса, искусства...

В 'Тайнах' и 'Заблуждениях', предшествовавших 'Повелителю', Гофман позволил себе предаться романтической самоиронии, пародированию романтизма. Мистика выродилась в звонкие невидимые оплеухи: 'Вы видите, я окружен невидимыми жуткими силами!'. И с тем же настроением он писал новую книгу.

Порывистость барона Теодора фон С. И стремительность исчезновений показал он в письме таинственной незнакомки: '...Облик молодого человека перед тем, как он умчался... было в нем нечто невесомое, словно он был вырезан из пробки'. Вполне вероятно, не без гофманических влияний получился гоголевский Хлестаков: 'У меня легкость в мыслях необыкновенная!'

В 'Повелителе блох' подобное настроение закрепилось. Сказка представляла собой вышучивание романтических литературных приемов. Мелодраматическая серьезность жутких страстей, позаимствованная в опере, переводилась в тональность водевиля. Внешние проявления страстей сопровождалась комическими комментариями. '...Взаимная любовь, которая сначала вознесла до небес, а затем для разнообразия свергла в ад'. Или чего стоил, скажем, 'мистический запах марципана и пряников'. Близость желанной возлюбленной производила такое действие, будто в голове у влюбленного закружилась ветряная мельница. 'Незнакомка уселась на ветхий, расшатанный диван и посадила рядом с собой господина Перегринуса Тиса, который теперь уже и сам не знал, действительно ли он есть это самое лицо'. Пустившегося на поиски прекрасной незнакомки, едва он открыл дверь, остановил полетевший ему в лицо шершавый парик, обдавший его густым облаком мучной пыли. Прекрасные возлюбленные имеют такой характер, что Перегринус Тис восклицает: 'Я сойду с ума, я помешаюсь!'. Романтический герой Пепуш 'дико захохотал'. А когда начинается любовная сумятица, ехидный автор замечает: 'Кого теперь могли занимать блохи?'. Блохами просто дурачат публику.

Если в 'Золотом горшке' выдержан магический реализм романтической мечтательности, то в 'Повелителе блох' проводится иронический реализм в отношении романтических наваждений. В финале повести символ романтизма, луна, светит в небе как фонарь, и влюбленный Перегринус относится к нему нормально, не впадая в неприличную экзальтацию, более подходящую гуляющим по крышам котам. Но хотя бы это и повредило господину Перегринусу Тису во мнении благосклонного читателя, особенно же во мнении благосклонной читательницы, однако справедливость требует сказать, что господин Перегринус, несмотря на все свое блаженное состояние, два раза так здорово зевнул, что какой-то подвыпивший приказчик, проходивший, пошатываясь, под его окном, громко крикнул ему: 'Эй, ты там, белый колпак! Смотри не проглоти меня!'. Это послужило достаточной причиной для того, чтобы господин Перегринус Тис в досаде захлопнул окно так сильно, что стекла зазвенели. Утверждают даже, что во время этого акта он довольно громко воскликнул 'Грубиян!'. Но за достоверность этого никак нельзя поручиться, ибо подобное восклицание как будто совершенно противоречит и тихому нраву Перегринуса и тому душевному состоянию, в котором он находился в ту ночь. Как бы то ни было, господин Перегринус Тис захлопнул окно и отправился спать'.

В тексте был художественно значительный фрагмент, который вполне допустимо было бы выделить как независимую относительно всего текста новеллу - рассказ о тайном советнике Кнаррпанти, которого словно черта ветром занесло невесть откуда в забавную развлекательную сказку.

Повествование здесь ведется в манере Свифта и немецких сатирических писателей времен Просвещения, юмористическим здравомыслием и остроумным реализмом близких Гофману.

Начинался достопримечательный фрагмент почти как позже в гоголевских 'Мертвых душах' одна из глав: 'Трудно, даже невозможно описать, как зарождаются разные слухи; они подобны ветру, который возникает неизвестно откуда и уносится неизвестно куда'. Поднялся ветер, закружилась пыль и возникла... какая-то чертовщина! Черт знает что! Путаница и муть... Абсурд, вздор, ничтожность, призрак. Но вот химера крепнет, набирает силу и реальное влияние на умы... Невесть из чего возник слух о дерзком похищении некоей дамы. Неизвестно даже не только кто похитил, но кого похитили. Переполох, тревога! Проверили - все женское население на месте, никакой убыли не наблюдается. Посетовали на недоразумение, даже начали его забывать... Как тут явился тайный советник Кнаррпанти, словно гоголевский черт во фраке, и представил бумагу с большой печатью. И заставил начинать заново расследование; над которым вдоволь издевательски потешается Гофман.

Представленная бумага - верительная грамота карнавольно замаскированного господина фон Кампца. Об этом легко догадаться, зная историю расследования демагогических происков. Сарказм лишь крепнет подчеркиванием несхожести каркающей фамилии Кнаррпанти и Кампца, а также таким ехидным различием: '...Зоркое око господина тайного советника Кнаррпанти...'. (Кампц пользовался очками для усиления зоркости). Господин расследователь - из тех интриганов и проходимцев, которые ради карьеры и самовозвеличивания способны ничтожное дело превратить в чрезвычайное расследование опасных происков, нагнетая вздорные бредни и слухи.

Кнаррпанти назвал подозреваемого в похищении и потребовал изучить его бумаги, дневники. Там он нашел много подозрительных фраз. На замечание, что в контексте они безобидны, ответил, что контекст есть способ скрыть действительные замыслы. 'Правоведы изrekli, что в обвинительном акте не хватает одного, именно corpus delicti (состав преступления. - лат.); но мудрый советник Кнаррпанти продолжал твердо стоять на своем, говоря, что плевать ему на delictum (вина. - лат.), иметь бы только в руках самое corpus (игра слов, здесь - тело), ибо corpus и есть опаснейший похититель и убийца, господин Перегринус Тис'. Комизм в том, что обвинение в насилии падает на человека, который боится женщин, а любит марципановые пряники. 'Проницательный Кнаррпанти имел наготове не меньше сотни вопросов, которыми он атаковал Перегринуса, и на которые действительно часто нелегко было ответить. Преимущественно они были направлены на то, чтобы выведать, о чем думал Перегринус, как вообще всю жизнь, так, в частности при тех или иных обстоятельствах, например, при записывании подозрительных слов в дневник. Думание, палагал Кнаррпанти, уже само по себе, как таковое, есть опасная вещь, а думание опасных людей тем более опасно. Далее задавал он такие лукавые вопросы, как, например, кто был тот пожилой человек в синем сюртуке и с коротко стриженными волосами, с которым он 24-го марта прошлого года за обеденным столом договорился о лучшем способе приготовления рейнской лосося? Далее: не очевидно ли для него самого, что таинственные места в его бумагах справедливо возбуждают подозрение, ибо все то, что им было оставлено ненаписанным, могло содержать много еще более подозрительных вещей и даже полное признание в содеянном преступлении?'.

Пегрегинус Тис решает воспользоваться магическим стеклом повелителя блох, чтобы прочитать в душе Кнаррпанти его истинные намерения. '...Мне бы только добиться, чтобы молодчик растерялся, и вырвать из него несколько заносчивых ответов. Тогда я живо подчеркну их красным карандашом, присовокуплю соответственные примечания и представлю в таком двусмысленном свете нашего молодца, что все только рты разинут. А из этого подымется дух ненависти, который навлечет на его голову всякие беды и восстановит против него даже беспристрастных, спокойных людей... Да здравствует искусство бросать тень на самые безобидные вещи!'.

Пегрегинус отвечал разумно и спокойно. Иезуитская затея с подлым крючкотворством провалилась. Хитроумие Кнаррпанти вызвало громкий смех публики. Он снискал лишь презрение и стал всеобщим посмешищем. При встрече с ним в знак отвращения зажимали носы. Никто не хотел сидеть с ним рядом за обеденным столом в гостинице.

Но мы поторопились бы на основании проявленного остроумного иронического здравомыслия заключить, что Гофман перешел на позиции реализма в литературе и жизни, избавившись от романтических причуд...

Пока Гофман писал повесть, любимый кот сильно простудился, гуляя по крышам, заболел; не помогли лучшие врачи; зверек умер... 30 ноября знакомые Гофмана получили извещение на открытках о печальном событии и глубокой скорби хозяина... Вечером, выйдя из дому по делу, издатель увидел впереди Гофмана, бредущего с поникшей головой, понурив плечи... Хитциг вспоминал: 'В то же мгновение Гофман заметил его и спросил: 'Вы получили мою открытку?... Тогда сделайте для меня доброе дело. Зайдем в кофейню... и спокойно поговорим обо всем'. Они вошли; Гофман стремительно потащил друга в заднюю комнату, огляделся, нет ли кого вокруг, и начал, попросив заранее правильно понять его, рассказывать... У потрясенного слушателя волосы встали дыбом'. Издатель проникся настроением Гофмана и был тронут доверием: 'Ваша открытка лежит среди бумаг, которые я собираю о вас, и это сердечное излияние тоже не забудется. Если я переживу вас, то напишу вашу биографию, и все это непременно будет в ней'. - 'Ах, вы непременно переживете меня!', проговорил Гофман. И потрясенные друзья расстались.

Гофманово мировосприятие под влиянием характерных настроений времени, чтения философических псевдонаучных романтических сочинений оказалось в плену доисторических представлений, истолковывая связи предметов неестественно, магически. В плену мистических представлений, близких паническому параноидальному страху перед неведомым, ожидая именно неестественных таинственных событий. Гофман относился к своему коту наподобие того, как дикири относятся к тотемическому животному.

Слишком большая впечатлительность, слишком глубокая вера в подобные таинственные связи вполне способна ожиданием неменных несчастий оказать опасное психогенное влияние на здоровье внушаемого человека... Что бы там ни произошло в дальнейшем, Гофман преувеличил значение сих событий, рассматривая их как свершение зловещих предзнаменований, что могло спровоцировать настоящую болезнь, тогда как при ближайшем рассмотрении неприятности вовсе не были катастрофическими...

Слухи о том, что он пишет сатирическую книгу и что в ней высмеивается полицейский директор Кампц, дошли до Карла-Альберта фон Кампца. Полиция подслушивала вое. Произошло сие в декабре. Гофман ничего не подозревал.

В 'Записках' Фарнхагена следовало: '10 января 1822 г. Господин фон Кампц с огромным неудовольствием заметил, что канцлер, не имея возможности полностью уклониться от следствия по демагогическим проискам, все же сильно повредил ему, поведя по неверному пути, так что дело кончилось ничем и, собственно, теперь его следовало бы начать заново. Советник апелляционного суда господин Гофман работает над юмористической книгой, в которой невероятно высмеивается история с демагогами при помощи почти дословных выписок из протоколов'.

14-го Фарнхаген записал, что Гофман должен держать ответ перед министром юстиции. Гофман по-прежнему ничего не знал...

16-го Кампц послал сообщение о предпринятых им мерах государственной безопасности. '...Отчасти в интересах всего Германского союза, а отчасти для королевской службы необходимо не только срочно обезвредить рукопись до ее выхода в свет, но и принять энергичные меры против ее издания, так как промедление в этом деле опасно...'.

18-го возле книжного магазина Дюмлера кто-то из знакомых, некий молодой человек, приветствовал Гофмана такими словами: 'Ну, скоро мы получим вашу сказку о судебном процессе, где встречаются такие милые портреты?'.

Вероятно, внутри у Гофмана словно нечто оборвалось. Надо догадываться, как посмотрел он на знакомого... Потому что всю ночь он не мог уснуть...

Здоровье Гофмана резко ухудшилось... радикулит, подагра, сильнее боли. Застарелые болезни. ...И как взялись! Так что еле мог двигаться...

24-го на день рождения собрались друзья. Он угощал их изысканнейшими винами. В недавние времена Гофман на праздниках сам потчевал гостей, подливал вина, подкладывал кушанья. На сей раз весь вечер просидел в кресле. Пил минеральную воду. Хитциг вспоминал: 'После ужина Хиппель и Гофман ударились в воспоминания юности. Зашел разговор о смерти. Один из гостей, издатель, должно быть невольно, вставил фразу, смысл коей сводился к шиллеровскому: 'Пусть жизнь не высшее благо...', и здесь Гофман возразил ему так резко, как не говорил в течение всего вечера: 'Нет, нет, жить, жить, только жить! Чего бы это ни стоило!'. Было нечто страшное в том, как он произнес эти слова...'

Рукопись арестовали. Фридриху Вильмансу автор написал: '...Но так как 'Повелитель' по содержанию своему является безобиднейшим зверьком в мире, не способным вызвать недовольство ни одного государства - ни большого ни малого, - то давний нелепый слух после просмотра книги должен будет опровергнуть сам себя.

...Неужели кто-то послан был ради этого во Франкфурт? Не могу поверить, ибо значило бы много визга и никакой шерсти'.

Фарнхаген в 'Записках': '...Говорят, что советник апелляционного суда Гофман стойко воспринял новость и весьма нелестно выразился о людях, что-то замышлявших против него: 'Пусть все они провалятся в задницу', - так сказал он'.

Фарнхаген называл повесть 'История одной блохи'; вероятно, он думал, что блоха и есть фон Кампц, предполагая, что Гофман рассматривает подобных господ под микроскопом как паразитических насекомых...

Книга попала к шефу полиции. Напрасно господин фон Кампц бил в набат. Ничто не угрожало ни Германскому союзу, ни королевской службе. Но отступать было некуда. Все страхи он додумал сам и составил обвинение против сказки, поскольку портрет его очень задел. Высший тайный советник Кампц очень обиделся за господина Кнарранти. Не быть похожим на сего господина он не мог, а исправляться не хотел. Прямо по сказке он стал строить козни и происки, вполне демагогические, возбуждая против Гофмана дух ненависти:

'1) имел намерение и - насколько это было в его силах - достиг публичного высмеивания предписания, учрежденного Его королевским величеством, к участию в котором сам он был допущен по высочайшему повелению. Сие предписание он представил как орудие низких личных мотивов, и с таких позиций изобразил руководство данным делом, порученное министерской комиссии;

2) использовал для этого выдержки из документов, доверенных ему лишь в служебном порядке, ход самого судебного процесса, предписания министерской комиссии;

3) изобразил члена министерской комиссии как чиновника, не соответствующего своим обязанностям и заслуживающего наказания'.

Говоря формально логически, первые два пункта выведены без достаточного основания, третий же выдвигался в качестве обвинения; при этом сознательно утаивалось, что чиновник действительно профессионально непригоден и его следует изгнать со службы. Шеф полиции признавал сим пунктом, что вел расследование подобно бесчестному интригану из сказки, но не понимал, что проявленная им недобросовестность вполне заслуживает названия злоупотребления и не оправдывается никаким верноподданым рвением. Господин Кампц занимался подтасовками и обвинял Гофмана в том, что тот подтасовки разоблачил.

Кампц руководствовался верноподданностью, полагая, что служебное рвение - залог безупречности. Но рьяная верноподданность как раз подловата в своем излишестве, заставляя подозревать, что чем рьянее, тем более здесь замешана корысть выслужиться за счет травли других.

Далеко за доказательствами ходить не надо. Вернемся к первому пункту. Чего стоит взывание к его величеству: скажите, величество, разве ж можно высмеивать предписания, исходящие из такого, как вы, величества?..

Где же допустить предположение, что предписания главы государства могут быть глупыми, некомпетентными, безумными, ведь и главы государств - люди: могут сойти с ума, страдать параноидальным расстройством мышления, власть получить волей случая, обманом; да мало ли что еще может быть! Но предполагать такое неверноподданно.

Но самое главное: ежели предписание его величества так похоже на то, что высмеял Гофман, то не виновато ли оно само, что до такой степени похоже? И ни в коем случае из высмеивания в сказке не следовало, что автор имел намерение заняться именно пародийной критикой королевского указа: высмеивал-то он не какие-то там предписания, а методы расследования.

Кампц занимался подменами и подтасовками смысла, тем, что было мерзко Гофману и что он подверг сатире.

'Имел намерения и насколько было в его силах достиг публичного осмеяния'. Видно, господин Кампц неким непостижимым способом постиг, что Гофман из всех сил выполнял злоумышление на высмеивание. Странно, Гофман ему вроде не признавался. Так по какому такому праву (по самолюбию о своей проницательности запускать инсинуации?) взялся он судить о том, что заведомо ему неизвестно?

Ежели судить за намерения и мысли, то при абсолютном бесправии подозреваемого, когда для 'следователя' ничего не значит ни логика, ни точные свидетельства опыта, гениальная получается коррупция: выносить обвинительное заключение на основании того, что сей исследователь додумывает за подозреваемого его мысли.

Надо всем этим витало обвинение в нарушении королевского доверия и в неверноподданности.

Возникал вопрос: кому служит государственный человек - стране или персонально 'величеству'?

Ежели б сие 'величество' представляло великую справедливость, знания, разум... Но когда несовершенное существо в весьма незначительной степени представляет сии качества, что делать честному государственному служащему?...

Всю эту верноподданную пачкотню и пакость, которую господин Кампц, с позволения сказать, вывел, затем он с патетической торжественностью в административном восторге свел: '1) нарушение надлежащей верности и почтения к Его величеству и вышестоящим начальникам, 2) разглашение служебной тайны и 3) публичное, грубое дискредитирование государственного чиновника в связи с исполняемой им службой'.

Пренебрег доверием выполнять сомнительные приказы бездумно и бесчестно - нарушил долг верности?

Разоблачил низменные мотивы и бездарное ведение дел начальниками - нарушил 'надлежащую' почтительность?

Что имел право даже на презрение - сие Кампц постеснялся написать: стыдно за Гофмана! Презирать

начальников! Неприлично!

Ведь подумайте! Изобразил высшего тайного государственного советника профессионально непригодным и злоупотребляющим служебным положением. А ведь чиновник сей, сановитый, поставлен королем! Что попахивает непочтительностью уже и к самому Его величеству; не дерзость ли сие?!! Чиновник ведь службу исполнял, верноподданничал изо всех сил, старался угодить, правдами и неправдами, даже юридическую фантастику развел в расследовании, такой преданный. Затравить готов всякого. И все из пламенных, благородных побуждений. Вместо того, чтобы восхититься таким ревностным... до неприличия... рвением, такой верной подданностью, его за то изображают натуральным негодяем: дискредитируют! И это в связи со службой! Служба ведь такая... верная! А изобразил заслуживающим наказания за такую верность! Сам негодяй! Сатир! Пи-с-с-с-атель!

Плохо обстояло с доводом о 'дискредитации' чиновника такого ранга; ведь он сам себя дискредитировал; подал бы лучше в отставку...

Но гораздо хуже было с 'разглашением служебной тайны'. 'Весь контекст недвусмысленно свидетельствует...', - торжественно возгласил Кампц, - а в доказательство смог привести только торопливое жалкое: '...это подтверждает, кстати, и то обстоятельство, что места, изъятые со стр.26 (заарестовал места из рукописи... - авт.) ... отчасти по смыслу, а отчасти дословно заимствованы из конфискованных бумаг'.

'Отчасти по смыслу!' - в этом весь фон господин Кампц: расследователь поднатужится и перескочит, отсюда совсем немного и до полного совпадения. Когда есть большое желание выдавать желаемое за действительное, при такой методе подмен и перескоков 'доказывать' легко, тем более, что места совпадают даже отчасти дословно.

В изящных перескоках избегнув всех проблем настоящего солидного доказательства, с помощью поверхностного абсолютно словесного измышления, фон Кампц ставит победную точку: '...Особенно место, изъятое со стр.26, строки 22-я и 23-я (скрупулезным педантством подменяя способность владеть логикой и прикрывая логическую несостоятельность. - авт.): 'СЕГОДНЯ Я БЫЛ, К СОЖАЛЕНИЮ, В УБИЙСТВЕННОМ НАСТРОЕНИИ!' - буквально заимствованы из дневника Асверуса'.

Фраза 'из дневника Асверуса' и слово 'буквально' Кампцем подчеркнуты. Сие единственное, что мог он реально представить в подтвержденные обвинения, что Гофман пользовался матерьялами из дела 'демагогов' в тексте повести. Но такая ли уж реальная эта фраза? Это призрак, блуждающий из дневника в дневник, из эпохи в эпоху, всех стран и народов. Маловато не то слово. Это просто смешно. Господин Кампц претендовал на роль героя комедии, как персонаж без чувства юмора и, благодаря этому с наибольшим сценическим успехом, с удивительным упорством претендовал, прямо-таки сам лез в сатиру.

Сей доклад шеф департамента полиции представил министру полиции господину фон Шукману. И ему же, фон Кампцу, по докладу Кампца предложил министр сочинить доклад, который министр Шукман должен был представить государственному канцлеру Гарденбергу. Кампц сочинил. Министр подписал.

Министр сказку не читал, несерьезно... Содержание ему было известно в вольном пересказе Кнар... Извините, читатель, разумеется, Кампца, многоуважаемого полицейдиректора: 'В пятом приключении он [Гофман] ближе подходит к предмету, причем, в завуалированной форме подробно распространяется насчет имевшего место следствия против доктора Мюленфельса (любопытное понимание природы следствия: следствие против такого-то... - авт.). ...После того, как высмеян имевший место процесс и весьма сочувственно описано поведение Мюленфельса, автор... вводит в роман Повелителя блох, вокруг которого вращается все действие, с его магическим стеклом. Через оное смотрит он в душу тайного советника Кнаррпанти, открывая в ней весьма позорные и подлые мотивы...!'

И министр великодушно предоставил тайному советнику сквитаться с Э.-Т.-А.Гофманом. Персонаж против автора..!

Кампц в маске фон Шукмана докладывал канцлеру, князю Гарденбергу: '...Проявил себя как позабывший честь, в высшей степени неблагонадежный и даже опасный государственный чиновник (...а вы его на обед приглашали! ...а он опасный! Ведь там приборы, вилки... - авт.).

Если с данным поступком... соотнести прежнее его поведение в следственной комиссии, к примеру, его решения, противоречащие документам (истолкователь документов знал, как их перетолковывать без противоречий... - авт.) в следствии по делу Редигера, равно как и его решения по делу фон Мюленфельса... если также принять во внимание то, как вел он себя раньше... в Познани, где создал пасквиль на целую коллегия, членом которой состоял: если присовокупить сюда также его писательскую деятельность (в высшей степени несерьезное занятие..! - авт.), то едва ли останется место сомнениям, не является ли сей человек недостойным в служебном и моральном отношении. А посему, в любом случае, как по причине здешних происков, так и чтобы лишний раз указать государственным служащим, что Его величество требует от оных сообразной с долгом верности, почитания, честных убеждений и достоинства, необходимым и оправданным является не только скорейшее удаление советника апелляционного суда Гофмана из Непосредственной следственной комиссии, но и лишение его службы и возможности проживания здесь. Вообще, следует поставить его в такие условия, в коих он, даже при легкомыслии своем, тщеславии, графомании и корыстолюбию не мог бы пользоваться лицами, руководствующимися недостойными принципами (видите ли в чем дело... существует большой демагогический заговор против достойных принципов господина Кампца-Кнаррпанти... Гофмана кто-то направлял, не иначе; при легкомыслии сам он никогда бы до свободомыслия не додумался, кой принцип плохой... Заговоры! Кругом заговоры! Против честных прин... А мы против них - честным следствием!!! С правильным толкованием документов!.. Заменять, подставлять и переставлять слова так, покуда не обнаружится полное совпадение текстов с разговором, в незначительной части по смыслу, в значительной части дословно, хотя и довольно условно..! - авт.), в качестве средства компрометации общественных авторитетов (господин Кампц полагал, видимо, что король вместе с должностью назначил его и общественным авторитетом. - авт.). Небольшая толика уважения, коей он до сих пор пользовался в обществе, в результате данного инцидента, который уже широко известен и получит еще большую известность, притом, по его собственной вине, и без того безнадёжно утеряна (в полицейском государстве под общественным мнением понимается комментарий верноподданных агентов к разговорам, подслушанным ими в харчевнях. - авт.). Однако, как бы по собственному моему убеждению (говорит маска фон Шукмана голосом фон Кампца - авт.) ни были бы в данном случае морально и юридически обоснованы официальное следствие и последующее наказание (но... как?.. как?! Неужели и наказание уже обосновано до самого 'обоснованного' следствия? Как такое возможно ЮРИДИЧЕСКИ - ладно уж, бог с ней, с моралью..? Нет! В отставку! Решительно, и только в отставку! - авт.), учитывая прежнее высказывания апелляционного суда по таким делам, я весьма сомневаюсь в успехе подобного процесса (значит, следствия в виде строжайшего осуждения не будет? Как жаль... - авт.). И напротив, наглядным предостережением против подобных происков другим было бы высочайшее решение Его величества о переводе

помянутого Гофмана... из столичного суда в отдаленную провинцию, например, в Инстербург, поручив его там строгому надзору надежного председателя Хойола (и на него имеется гофманическая карикатура в виде собаки без штанов. - авт.), ибо мера сия имеет под собой достаточные основания при выполнении служебных обязанностей, предписанных в ч.III, разд.III. Параграфы 4,5 и 18 судебного уложения'.

С той же реляцией, но уже в маске Гарденберга, вышел фон Кампц на короля. Фридрих-Вильгельм III приказал министру юстиции немедленно допросить Э.-Т.-В.Гофмана. Канцлер со своей стороны настоятельно просил Кирхэйзена проследить, чтобы допрос был произведен как можно скорее. Его величество уделяет этому делу огромное внимание!

А вы говорили, 'кого могли теперь занимать блохи?!'..

Фарнхаген записывал 8 февраля 1822 г.: '...Между тем, Гофман по совету друзей написал канцлеру: '...тем более удивляет меня, что... во всей рукописи нет ничего такого, что могло бы казаться предосудительным самой строгой и осмотрительной цензуре'. Его старый друг, господин президент фон Хиппель, все еще находящийся здесь, склонил на сторону Гофмана генерала господин фон Витцлебена и советника кабинета господина Альбрехта (Гофман и Альбрехт вместе не раз выпивали в Познании. - авт.). Впрочем, Гофман сильно болен и уверен, что ему вообще нечего бояться'.

9 февраля Фарнхаген пишет: 'Господин Гуфеланд в моем присутствии весьма резко высказывался по поводу нелепого преследования книги Гофмана; жаль, что ее нельзя будет вовсе прочесть или только в искаженном виде; правительство лишь позорит себя актами произвола по отношению к уважаемому человеку и писателю. ...Советник апелляционного суда Гофман смертельно болен (инфекция проникла в спинной мозг, начал развиваться паралич. - авт.); его дело вызвало всеобщее возбуждение; у него есть деятельные друзья'.

14 февраля: 'Д-р Шлейермахер вполне недвусмысленно заметил, что если приказом по кабинету советник апелляционного суда Гофман будет уволен, весь апелляционный суд вынужден будет подать в отставку; если же суд этого не сделает и будет отмаливаться, то он, по крайней мере, в любом случае отвергнет такой суд...'.

22 февраля тяжело больной Гофман продиктовал свою оправдательную речь. Относительно тайного советника Кнарранти писатель разъяснял: 'Чтобы возбудить интерес и оставить верным комическому духу всего произведения, этот герой должен быть изображен как человек ограниченного ума, начиненный самыми нелепыми предрассудками, до смешного себялюбивый. Ему следовало придать также некоторый оттенок исключительно фантастической манеры мыслить и действовать. Так возникла карикатура, которую я вывел под именем Кнарранти и которая извинительна лишь в перипетиях, допускаемых писателем в сказке, граничащей со сферой неукротимого юмора. Напрасно было бы искать ее первоисточник на этой земле'. Гофман не мог в обстановке гнусных нападок сказать: верно - карикатура, не господин Кампц; но я писал ее, комически развивая, акцентируя черты г-на Кампца до нереальности, до смешной фантастики; ежели г-н Кампц до такой степени находит свое сходство с шаржем, значит, дело с г-ном Кампцем еще хуже, чем можно было подумать; раз он в гораздо большей степени соответствует карикатуре, чем позволительно реальному человеку... ходячая карикатура, фантастический призрак, черт его знает, что он такое!.. 'Бессонной ночью я припомнил весь описанный процесс, размышляя, нельзя ли найти в нем намек на какую-нибудь известную личность. Мне пришлось в голову, что при описании надворного советника я вроде бы пользовался словом ПОДБОРКА; одновременно я вспомнил, что мой бывший старший коллега любил употреблять его; так что мы с одним молодым сослуживцем в шутку называли его подборщиком'.

Гофман знал многих, немало подмечал, с присущим ему комическим даром постигал достоинства и недостатки профессии, служебные повадки, нравы, характеры, позы, фразы, яркие эпизоды, повседневную атмосферу службы юриста.

'...Я использовал такую возможность для того, чтобы, как это невольно получилось, раскрыть две самые большие криминальные ошибки: во-первых, когда следователь, не выявив состава действительно совершенного преступления, проводит расследование наобум; во-вторых, если в душе у него утвердилось предвзятое мнение, от которого он не хочет отказаться и которое служит ему единственным руководящим принципом делопроизводства. Возникает вопрос, каким образом я додумался ввести эту юридическую казуистику в свою сказку? На это могу ответить лишь, что каждый писатель не только не перестает быть представителем своей профессии, но наслаждается, описывая ее. У старика Рабенера (Готлиб-Вильгельм, 1714 - 1771, немецкий сатирик эпохи просвещения. - авт.) юрист чувствует на каждой странице; юморист Хиппель (председатель городского совета и директор уголовной полиции в Кенигсберге) весьма охотно пускается в юридические объяснения; да и новая знаменитость - Вальтер Скотт... ...Писателю, имеющему дело с юмором, должна быть предоставлена свобода легко и вольно перемещаться в своем фантастическом мире. Неужели должен он... стеснять себя тысячами оговорок, мучительных сомнений насчет того, как могут быть превратно истолкованы его мысли? Как может он тогда писать остроумно, увлекательно, завоевывая сердца и души читателей? Я прошу не упускать из виду то обстоятельство, что речь здесь идет не о сатирическом произведении, темой которого является, скажем, мировая торговля и современные события, а о фантастическом создании писателя-юмориста, который словно в фокусирующем зеркале отражает образы реальной жизни, но лишь в юмористических абстракциях'.

Глупость политически настроена воспринимать себя неизменно на серьезный лад; она действительно представляет из себя страшную силу. Понимая это, председатель апелляционного суда И.-Д.Вольдерман, благоволивший к своему государственному советнику, посылая речь в министерство, почел необходимым прибавить в защиту него: 'Из ежегодных кондуитных списков (кондуит была книга, в которой государственным служащим выставлялась отметка по поведению. - авт.) ...известно, однако, я считаю своим долгом повторить, что советник апелляционного суда Гофман отличался превосходными, солидными трудами в наиболее важных уголовных делах, а также серьезностью и достойным поведением в служебных действиях, никоим образом не проявляя здесь своего таланта комического писателя'.

Что же фон Кампц?.. он опять явился пред Гарденбергом в маске фон Шукмана и представил велебную бумагу, размахивая единственным доказательством разглашения служебной тайны - что он, фон Кампц, занимался глупыми и коррумпированными подчеркиваниями. 'В дополнение к предыдущему письму, имею честь (честь имеет... - авт.) покорнейше представить... ЗАВЕРЕННУЮ КОПИЮ ТОГО МЕСТА (выделено мной. - авт.) из дневника Асверуса, которое ...Гофман использовал в своем пасквильном сочинении 'Повелитель блох', да еще с пометкой, будто в оригинале, как указано сие в 'Повелителе блох', место 'в убийственном настроении' дважды подчеркнуто красным (Кампц уже путает свои бумаги с бумагами расследователя Кнарранти и пытается тащить фавулу 'Повелителя блох' за собой. - авт.). Тем самым подтверждается (нотариально заверенная!... - авт.) связь указанного сочинения с предварительным следствием, которое Гофман вел... Стало быть, явно и недвусмысленно наличествует тенденция к

нарушению служебного долга (служебный долг есть чиновничья круговая порука и обязательство не разглашать и в ни коем случае не признаваться, что среди их начальников есть ослы. – авт.). Следовательно, я прав и даже должен ('я', это кто? Фон Шукман или фон Кампц? Или патетический хор чиновничьей непогрешимости, движимый исключительно задними мыслями, и размахивающий как знаменем протертыми на службе штанами в подтверждение своих прав на нагретые места..? – авт.) еще более настойчиво повторить свою точку зрения, высказанную ...прошлого месяца: все наши усилия пресечь среди государственных служащих тенденции, не совместимые с чувством долга, сохранить у них принципы и убеждения, соответствующие служебному уставу, будут совершенно напрасными, даже наказание более мелких проступков такого рода вряд ли будет совместимо со справедливостью, ежели столь явное нарушение верности служебному долгу и разглашение служебной тайны, а также выраженное тем самым сочувствие демагогам, безнаказанно сойдет с рук человеку, которому было поручено следствие против демагогов и который оказался способен в такой степени не оправдать оказанное ему высочайшее доверие, сделав общее направление и отдельные части данного следствия предметом гнусного пасквиля. ...Действия Гофмана стали предметом общего внимания не только в Берлине, но – благодаря газетам – уже повсеместно (чего же беспокоиться, ежели в результате данного инцидента Гофман утерял даже ту небольшую толику уважения, коей до сих пор пользовался? – авт.), а посему, лишь серьезность и сила вашего решения могут воспрепятствовать тому, чтобы не дать повода триумфу Гофмановых единомышленников'. ...Но Гарденберг отложил эту бумагу.

Гофман был слишком тяжело болен. Вот уже несколько недель не излечивались ревматические боли, горячка. Писать он не мог, диктовал. 28 февраля продиктовал переписчику, которого звал 'ученым клириком' (поскольку внешне напоминал знакомого клирика в Бамберге), финал 'Повелителя блох'.

Магическое стекло и 'ученый клирик', проницаемые сквозь стекло мысли, вновь навели его на размышления о бамбергских друзьях; он жалел о разрыве отношений с К.-Ф.-К. '...Не может разве какое-нибудь несчастное стечение обстоятельств, недоразумение, порожденное капризом случая, вызвать в душах... друзей мимолетную враждебную мысль? И в это мгновение вдруг я беру несчастное стекло, в безумном ослеплении я отталкиваю от себя истинного друга, и все глубже и глубже ядовитое сомнение подтачивает самые корни жизни и вносит раздор в мое земное бытие, отчуждая меня от меня самого. Нет! Прочь, прочь этот злополучный дар!'

Естественно, ему внушало опасение, что болезнь затянулась... Интриганы возбудили против него служебное следствие... Положение казалось хуже некуда... 'Не подошел ли я слишком близко к маховому колесу, движимому мрачными, неведомыми силами, и оно захватило и закрутило меня?'

В конце марта не только не наступило поправки, но произошел паралич ног. Гофман надеялся... Но остальные понимали... Он медленно умирал... Миша, Девриент, Хиппель, Хитциг – постоянно кто-нибудь находился возле его постели – и Миша более всех.

Гофман погибал как мифический Орфей: своим искусством он вызвал силы преисподней; адский карнавал растерзал его: демоны фантазии, персонажи, маски...

Хиппелю давно нужно было уезжать, он задержался, на несколько недель оттянув возвращение; более невозможно было. Простились они вечером. Это были горькие и тягостные минуты.

Однажды Хитцига вызвали прямо с заседания коллегии; стремительно взлетев по лестнице наверх, распахнув дверь, он ворвался в комнату... Но друга уже не было в живых...

Глава четырнадцатая Гофманический штрих

Был человек. Имел он очертанья,
Едва ушел, забыли их.
Его присутствие, едва заметный штрих.
Его отсутствие – пространство мироздания.
Федор Тютчев

Наиболее сильная сторона личности Гофмана, фейерверки остроумия на дружеских пирушках, нам теперь недоступна. Гофманический театр исчез. Но осталось литературное наследие.

Гофман не был силен в композиции, ни в музыкальной, ни в литературной. Он импровизатор. Яркое воображение, смелая фантазия, блистательное остроумие заслуженно прославили его как гениального писателя. Его любят иллюстрировать художники, тексты дают возможность развернуться их воображению.

Гофмана очень любили и ценили такие писатели, как Бальзак и Достоевский. Его тайком от собственного величия перечитывал Ницше. Влияние Гофманова художественного мира на литературу весьма значительное. Не Шлегели с их теоретическим туманом, философской сыростью и слякотью, а Гофман привлек внимание Европы к немецкому романтизму: его порывам, терзаниям, разорванности, трагическому гротеску – пресловутому романтическому двоемирию реального и идеального, остроумно переживанию социального абсурда, психическим деформациям неразличения фантастики и патологии общественной жизни.

Вместе с июльской революцией 1830 года во Франции начался бум Гофмановой славы: страна, пережившая реставрацию Бурбонов как бредовый сон, узнавала себя в гофманических видениях...

В России по сходным социальным причинам Гофман был понятен и близок. Увлечение им достигло такой степени, что позволило В.П.Боткину заметить: 'Гофман не умер, а переселился в Россию'.

В самой Германии до 90-х годов XIX века тон задавали авторитетные неприятели – Гегель и Гете.

Гегель не любил прозу, ему достаточно было собственной тяжелой невнятной рассудочности. И холодно относился к шуткам и всяческой наклонности к юмористическому.

Гегель тяготел к величию, солидности и обывательскому благорасположению. Гофман был сама противоположность – несолидность, нервность, издерганность, божественность.

Гегель комментировал: "Внутренняя неустойчивость, душевная разорванность... юмор по поводу мерзости и шутовская ирония".

Гофман прекрасно чувствовал себя в горах. Ясность и туманность дали, покрытые лесами скалы, переползающие через них облака, бодрящий воздух.

Гегелю же было неуютно в горах, громады матерьяльности подавляли его вместе с его Абсолютным духом.

Гете в разговоре назвал Гофмана ничтожным писателем. Публично он высказывался мягче: 'болезненные произведения страдающего человека'. Гете, преисполненный величия, возвещал истины, его разговоры, в основном банальные, почтительно записывали, а Гофманово искрометное острословие никто записать был не в состоянии, кроме него самого; кое-что сохранилось в текстах.

Патриарх немецкой литературы был единого мнения с Вальтером Скоттом, высказавшим претензии к Гофману в 'Эдинбургском обозрении', влиятельном литературном журнале: 'Здесь воображение пускается на все уродливости причуд своих и на создание сцен самых чудовищных и шутовских... Самые неожиданные и взбалмошные превращения вводятся здесь средствами самыми невероятными. Нелепость не знает границ'. Сам Гофман признавал: 'Безумный хаос сновидений и фантазий'.

В виде коммерческого борзописца он нередко доходил до ничтожности, а экзальтированная взвинченность собственной фантазии порою лишала его способности трезвой самооценки и писание забавляло его больше, чем читателя.

Но нельзя из-за этих отклонений записывать его в плохие писатели, относить к ничтожным литературным явлениям. В вину этому незаурядному остроумному человеку можно поставить лишь то, что он заставляет знатоков и ценителей его комического гения раскапывать жемчужины в мусоре. Несомненно, 'Фантастические пьесы' весьма значительное произведение, гениальность автора видна сразу.

Критики сами не всегда соблюдали столь дорогую им меру, впадая в предубеждение. Гете не смог прочитать 'Золотой горшок', заранее настроившись весьма брезгливо. В заметках он почему-то переименовал горшок в 'чашу'. А золотисто-зеленые змейки, мистические световые призраки, вызвали гадливость, ему стало плохо.

Это был не единственный случай в его пристрастиях. Из-за неприязни к Бетховену (за резко высказанное тайному советнику Гете осуждение его излишней благонамеренности) советник долго отказывался слушать гениальную музыку 'медведя'. Но, все же, поддавшись уговору, послушал и воскликнул: 'Необузданный человек! Нечеловеческая музыка!'.

Вполне возможно, олимпиец был задет замечанием Гофмана в 'Берганце', что взгляд милой девушки ему дороже всего собрания сочинений Гете, последнее издание.

Иоганн-Пауль Рихтер, написавший доброжелательное предисловие к 'Фантастическим пьесам', восхищался ими: 'Рисунок острый, краски теплые, а вместе - исполнено души и свободы'. Позднее он не одобрял Гофманово сочинительство: 'юмор превращается в настоящее сумасбродство'.

Надо сказать, Гофман позволил себе довольно некорректные пародийные замечания в 'Житейских воззрениях' относительно некоторых мест из романов Рихтера.

Писательские недостатки Гофмана подвергли его славу превратностям читательского восприятия. Когда русские писатели открыли для себя Гофмана, В.Г.Белинский, вспоминал П.В.Анненков, был удивлен: '...Отчего доселе Европа не ставит Гофмана рядом с Шекспиром и Гете? Это писатели одинаковой силы и одного разряда'.

Впоследствии отношение стало меняться: 'У Гофмана человек бывает часто жертвою собственного воображения, игрушкой собственных призраков, мучеником несчастного темперамента, несчастного устройства мозга'. После он высказывался более резко: 'В Германии безумец Гофман возвысил до поэзии болезненное расстройство нервов'. Нагромождение плоской мистики, вся расхожая бульварная демонология, дьявольские рожи, симпатические тайны и магнетизм вызвали настоящее раздражение: 'Фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе, и находится в заведовании врачей, а не поэтов'. В России к началу 50-х годов XIX века наступило охлаждение и к Гофману и к романтизму.

Генрих Гейне писал: 'Багровое пламя в 'Фантастических рассказах' Гофмана, это не пламя гения, а огонь лихорадки'.

Бальзак, перенявший не гофманическую манеру, а саму суть магического реализма, позже заметил: 'Я француз, и у меня есть ключи от замка, в котором опьянялся'. Он имел в виду острый галльский смысл, превративший романтизм в такие произведения, как выдержанно страстный роман Бейля 'Красное и черное' и собственную повесть 'Шагреневая кожа', шедевр, который один способен перевесить все томы 'Серапионовых братьев', как пушечное ядро горсть мелкой дробин...

Но магический реализм изобрел все же Гофман, причем, сделал это великолепно, не только в 'Берганце', 'Золотом горшке', но и в лучших местах 'Крошки Цахеса' и 'Повелителя блох'.

Музыканты, наделенные тонкой проникновенной впечатлительностью, были к Гофману не столь строги, как писатели; их чуткость (Брамс, Вагнер...) к эмоциональным оттенкам как-то созвучна его фантазиям... Роберт Шуман зачитывался им: 'Не отрываясь читал Гофмана. Новые миры'.

В конце концов место писателя в литературе определяется не исключительно законченным совершенством произведений, но и другим: яркостью и запоминающейся характерностью образов. Персонажей такого рода в главных и эпизодических ролях у Гофмана множество. Им свойственна психологическая достоверность. Делать маски живыми несколькими штрихами, несколькими сказанными словами, есть верный признак гениальности. Персонажи великолепны почти все: странствующий энтузиаст 'Фантастических пьес', вновь появляющийся в новеллах 'Церковь иезуитов в Г.' и 'Пустой дом'; дед главного героя, старый стряпчий Ф. в новелле 'Майорат', там же привидение в замке; продавец барометров Джузеппе Коппола в 'Песочном человеке'; сатанинский доктор Трабакио в 'Игнати Деннере'; старик управляющий в 'Пустом доме'; советник Кrespель в одноименной новелле; в 'Эликсирах сатаны' - монахи, призрак Художника, Белькампо, двойник, ирландец Эвсон и англичанин доктор Грин; правитель канцелярии Тусман, золотых дел мастер Леонгард в 'Выборе невесты'; портрет кенигсбергского дядюшки в 'Фермате' вместе с автопортретом самого молодого Гофмана; скрипач Сбьокка в 'Циннобере; крошка Цахес, управляемый фрак Фабиана.....

Но есть еще важное, что позволяет писателю занять место в истории литературы: это его собственное человеческое обаяние. История литературы превращается в роман, автор же - в притягательный персонаж этого романа...

Прочие романтики плутали в лабиринте невыразимости, страдали, и, не найдя оттуда выхода, застыли в позе непонятых гениев, пленников духовных противоречий времени. Гофмана же его интуиция, склад ума, сатирическая направленность и профессия вывели из лабиринта художественного индивидуализма и внутренних переживаний к реальности.

Именно потому, что он не просто писатель-романтик, но также не чуждый здравомыслия и трезвости психолог, пронзительный сатирик, насмешливым умом подмечающий комические, уродливые черты современности, Гофман преодолел пределы данной ему эпохи, стал собеседником поколений, персонажем истории, ее двигателем и продолжателем.

Гофманический магический реализм проявил себя не затухающей инерцией, но цепной реакцией. Огненные осколки фейерверка, сталкиваясь и рикошетом разлетаясь, вовлекая во вращение разные элементы, образовали новые художественные вселенные. И во всех них виден гофманический штрих: запечатлелся первоначальный импульс. Некий Гофманов росчерк на романтическом патенте. Появляется гиперболическое раздвоение реальности, внутренне логичная парадоксальная двусмысленность, из реальности вызывающая фантастическое отклонение, наваждение, забирающее власть над более реальным бытием.

Штрих гофманической полуреальной мистики проник в творчество Гоголя, Достоевского, Булгакова, Кафки, Маркеса. Многие влияния Гофмана не столь отчетливы, постоянны и характерны, но прослеживается отпечаток...

Пушкин оценил его сразу. В его библиотеке было полное собрание сочинений Гофмана на французском. Несомненно, маленькие повести 'Гробовщик' и 'Пиковая дама' результат того, что Гофман придал смелости Пушкину так строить рассказ. Пушкин имел вкус к грубоватому фарсу и склонен был к мистическому разгадыванию судьбы, проблеме вызова ей в карточной игре.

Гофман и Гоголь по мировосприятию гораздо ближе. Гоголевское 'ныне черт во фраке' весьма характерно созвучием с Гофманом. Чертом проскакивает всякая продувная бестия, вдохновенно лжет и словоблудствует всякое цепкохвостое в человеческом обличье. Всякое духовное уродство и недоумная хитрость делают чертом. Не зря Чичиков, не выдержав, кричит помещице Коробочке: 'Черт! Черт!', а та ему: 'Не поминай его, батюшка!', хотя он имеет в виду ее саму. Но благодаря тому, что Гоголь не выводил дьявольщину из ада, мистический штрих в 'Мертвых душах' сложнее и глубже, художественней и изящнее, чем у Гофмана. Гоголь преобразовал нередкое у Гофмана ироническое насмешливое отношение к обывательскому носу (нюх, различение запахов, быть может, самое животное из человеческих ощущений) в смелую фантастическую гиперболу, социальный гротеск в повести 'Нос'. В гофмановом 'Выборе невесты' нос одного из персонажей повел себя настолько беззаконно-авантюристически, что такое вполне могло навести Гоголя на мысль о петербургской повести. Гофманизмы очень подходили к петербургской проблеме города-призрака, вставшего из болот. Как ни покажется странным, возможно, чиновник Башмачкин из повести 'Шинель', несмотря на его внешнюю непохожесть, возник из тени Ансельма, переписчика: 'Его настоящая страсть была копировать трудные каллиграфические работы'. Как и двусмысленное имя Акакий Акакиевич было тенью гофманического горшка.

Достоевский тоже чувствовал духовное родство с Гофманом, писавшим о себе, что как писатель-сатирик он словно в фокусирующем зеркале отражает образы реальной жизни, но лишь в юмористических абстракциях. Внутреннему взгляду Достоевского тоже свойственна подобная особенность вогнутого зеркала, растягивающая психические черты и прочерчивающая их некоей фокусирующей огненностью в потустороннем зазеркалье, испытывающей их на деформацию человечности. Как и Гофман, он претендовал на то, что он реалист в высшем смысле: показывает скрытую сторону реальности. Достоевский, подобно Гофману, чувствовал в основе импульсивности прихотливую психическую неустойчивость, вызывающую странность, внутренний сдвиг, раздвоение... 'Старик вдруг очнулся от своего возвышенного забытья, и лицо его, чего уже давно с ним не бывало, ослабло в той странно-любезной то ли улыбке, то ли ухмылке, что находилась в разительном противоречии с исконным простодушием его существа и придавала всему его облику черту некоей даже зловещей карикатурности'. Это не Достоевский, это Гофман... '...Ехидная усмешка, следствие странной игры мускулов на впалых щеках, казалось, бросала вызов глубокой скорбной задумчивости, запечатленной на его челе'. Знакомый нам кавалер Глюк... Мучительно судорожная мимика, переходящая в сатанински изощренное злорадство, нередкая особенность героев Достоевского.

Видимо, сходная импульсивность немецкого и русского писателя предопределила их расположение к карнавальным схемам сюжетов. Тяготение к ним Достоевского показал Михаил Бахтин. Интересно, что издатели-современники считали Достоевского менее значительным писателем, чем Толстого, и платили ему в несколько раз меньше, причем, по тем же причинам, по каким Гофману платили в Германии очень много: фабулы построены грубовато, книги своими сюжетами напоминают авантурные парижские романы...

Лесков исключительно русский писатель. В его повести-сказке о тульском мастере показывается превосходство русской смекалки над 'немецкими чертежами'. Гофман, дескать, хотел поразить нас своей ученой блохой, мастером Фло с его волшебным стеклышком, а наш Левша взял да ихнюю немецкую блоху подковал; да ежели глянуть в 'мелкоскоп', то на самой подкове заметите гвоздики и на одном из них подпись: 'Левша'. Надобно, правда, заметить, ежели присмотреться гораздо внимательнее, то в точке, которую поставил русский мастер после своего автографа, можно прочитать: 'Гофман'. Как окончательно завизированную печать на гвоздике немецких чертежей... В повести возникает некое лукавое перемигивание с Гофманом. Текст чисто русский, но несколько нарочито перенасыщенный русским изогнутым элементом, который все навязчивее становится похожим на говорок диалектный, едва ли ни на акцент, словно это уже не просторечье, а какой-то немец применяется к нему: дескать, вы, Николай Семенович, 'большой насмешкин'. ...Эпоха подается гофманически сквозь преломление в сказочной механике. Помимо того, невольно, благодаря вычурной измышленной речевой церемонии, прочерчивается гофманический штрих, производящий характерную сатирическую деформацию: 'поглядел в мелкоскоп', 'пожалуйста, не порть мне политики'. И на все это выкаблучивается механическая блоха - автомат - в световом круге 'мелкоскопа', как на сцене, словно дразнит, в фокусе некоего 'изумления', проникающего всю повесть: необъяснимость гения и чудес никакими 'немецкими чертежами'. Мысль вполне Гофманова.

Своеобразно преобразилась у Франца Кафки проводимая Гофманом в 'Повелителе блох' параллель между сообществом насекомых и цивилизацией: 'Превращение'. Здесь человек регрессирует не то что в обезьяну - в жука... и Кафка описывает это с фантастической реальностью - омерзительной и жуткой.

Эдгара По называют американским Гофманом, но писатели сходны лишь профилем - одной мистической стороной творчества, причем, По даже превосходит Гофмана наваждением реальной жути, ее масштабом, грандиозностью: 'Низвержение в Мальстрем', 'Маска красной смерти'. Сходство в том, что оба романтика с разных сторон выходят к реальности: Эдгар По создает жанр детектива; Гофман наиболее сильно реализует себя в социальной и политической сатире.

Сказка Ханса Андерсена 'Новое платье короля' - некое зеркальное перевертывание - инверсия 'Крошки Цахеса'. В сказке Андерсена вообще нет волшебства, но взята и развита гипербола портняжного искусства. Но тема

та же: социальная фальшь, всеобщая ложь как род психического извращения, общественная болезнь. В сказке Гофмана волшебное наваждение, вызываемое Цахесом, сильно напоминает мошенничество и плутовство. В 'Новом платье короля' плутовство неволшебное, но довольно ехидное, заставляющее всех притворяться, что они умны, вовлекая всех в дурацкую игру социальной иерархии, смысл которой сводится к чепухе: одежде. Сказка Андерсена возникла из гофманического франа Фабиана, у которого рукава стали укорачиваться, какой бы длины ни были, а фалды непомерно удлиняться: после того, как - стоит заметить - волшебник Проспер Альпанус провел по рукавам поглаживающими движениями... Плюс к этому орденовая лента, специально изобретенная для министра Циннобера '...театральным портным, человеком чрезвычайно пронирливым и лукавым'. Длинные фалды напоминают мантию короля, а плуты 'портные', взявшиеся выставить короля во всем блеске величия, как Альпанус поглаживают и расправляют 'великолепное одеяние' из воздуха... В сказке Гофмана для того, чтобы ввергнуть в ничтожество министра Циннобера, потребовалось нечто вроде революции: в страхе он падает в ночной горшок и утопает в нем. В сказке Андерсена возвращение к правде происходит гораздо проще: достаточно прямого и честного взгляда малыша, чтобы всем стало ясно - 'Король-то голый!'. Пресловутая социальная иерархия - всего-навсего важничанье ничтожеств: парад без штанов. Держится же все на принуждении к притворству (якобы все прилично), на глупости и раболовной низости: инстинктах стадности, перешедших в социальное холуйство.

Гофман едва не создал детективный жанр; для этого нужно было бы отделить расследование от мистики; ведь это жанр совершенно реалистический, даже научно-реалистический. Примешивание мистики, вмешательство призраков делает всякое расследование бессмысленным. Гофман почти достиг этого, развел мистику и расследование, но под одним заглавием, в одной новелле, чем поставил под сомнение свое право на приоритет. В 'Ночных рассказах' есть повесть 'Майорат'. В первой части повествования появляется привидение ради захватывающей интриги. Нотариус Ф. Произносит заклинание и привидение с воем ретируется в преисподнюю. Старик Фетери здесь действительно хорош. Во второй части рассказывается о расследовании и как он познакомился с привидением. Повесть Гофмана напоминает шедевр детективной литературы 'Собаку Баскервильей' Артура Конан Дойла. Здесь та же суровая мрачная атмосфера, нагнетаемая в замке северной природой (у Гофмана: грохот прибоя, чайки, бьющиеся в окна, сотрясающий здание вой ветра, дребезжащие стекла)... пожалуй, еще отягощается присутствием Гринпенской трясины в английской повести. Есть дополнительный штрих, довершающий сходство: собаке Баскервильей соответствует большой волк, нападающий во время охоты на главного героя. Теодор убивает его охотничьим ножом. И позже у Мандельштама: 'Мне на плечи бросается век-волкодав'.

Из английских писателей Диккенс был почитателем Гофмана, конечно же, его юмора, его фантастического гротеска.

И на большом временном отдалении на прочной основе отменного английского романа возникает потребность протянуть нить к Гофману: 'Повелитель мух' Голдинга...

Латиноамериканский магический реализм, яркое и самобытное проявление художественной мощи, сплав африканской, древнеамериканской, испанской культур, причудливое переплетение мифов разных континентов в Южной Америке... Но ведь и этот сплав фантастики и реальности начал оформляться в значительные произведения не раньше, чем влиятельная европейская традиция признала смелое открытие Гофмана.

Германская литература заново открыла для себя Гофмана после того, как имела достаточно времени заметить его влияние на мировую литературу: неспроста, значит, было влияние. Иноземные авторы перевели немцам Гофмана с немецкого на немецкий.

Томас Манн и Герман Гессе воспринимали гофманическую художественность как неотъемлемый элемент германской духовности.

Михаил Булгаков считал себя учеником Гоголя, но, надо сказать, сатанинский иностранец Воланд появляется в 'Мастере и Маргарите' посреди повседневности скорее гофманически, смело и непринужденно, запросто. Разговор же его с Берлиозом напоминает беседу Леонгарда с правителем канцелярии Тусманом: 'Берегитесь, берегитесь, Тусман, - спокойно и с какой-то странной усмешкой остановил его золотых дел мастер, - вы сейчас имеете дело с мудренными людьми'.

Фантастический реализм оказался родственен научной фантастике. В одной из лучших повестей братьев Стругацких 'За миллиард лет до конца света' сохраняется достоверность характеров и ситуаций, невзирая на то, что засылаемые инопланетной цивилизацией разведчики ведут себя как оборотни и призраки; фантастическое сочетается с повседневностью и здравомыслием; это не посланники преисподней, а некое проявление естественнаучной загадочности вселенной. Фантастическая научность здесь ставит человека непосредственно перед великой тайной; постижение ее требует не только силы интеллекта, но и человеческого достоинства.

Смысл Гофманова метода, порожденный складом его ума, продолжает жить как самостоятельное существо, включается в сочинение новых текстов, и это создает поразительное ощущение присутствия в реальном времени его изобретателя.

- [Оставить комментарий](#)
- © Copyright [Ветчинов Константин Михайлович](#) (valentia56@hotmail.com)
- Размещен: 08/08/2011, изменен: 08/08/2011. 666к. [Статистика](#).
- [Глава: Проза](#)

Ваша оценка:

Популярное на LitNet.com [Н.Зика "Портал на тот свет. часть 2"](#) (Любовное фэнтези) [А.Ардова "Невеста снежного демона. Зимний бал в академии"](#) (Любовное фэнтези) [К.Федоров "Имперское наследство. Вольный стрелок"](#) (Боевая фантастика) [Ю.Резник "Семь"](#) (Антиутопия) [М.Атаманов "Искажающие реальность"](#) (Боевая фантастика) [В.Бец "Забирая жизни"](#) (Постапокалипсис) [А.Гришин "Вторая дорога. Решение офицера."](#) (Боевое фэнтези) [А.Вар "\(" Э\)сатори. Чертог Тура"](#) (ЛитРПГ) [О.Бард "Разрушитель Небес и Миров-2. Легион"](#) (ЛитРПГ) [С.Панченко "Ветер. За горизонт"](#) (Постапокалипсис) [Связаться с программистом сайта.](#)

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:

О.Батлер ["Бегемоты здесь не водятся"](#) М.Николаев ["Профессионалы"](#) С.Лыжина ["Принцесса Ильяна"](#)

[Как попасть в этот список](#)

